

КЛАД 84(2Р-Рус)6  
Г55

Олег Глушкин

ОБРЕТЕННЫЕ ПРИЧАЛЫ



**Олег Глушкин**

**ОБРЕТЕННЫЕ  
ПРИЧАЛЫ**

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КЛАДЕЗЬ»  
КАЛИНИНГРАД  
2005

Г 55 Глушкин О.Б. Обретенные причалы. Рассказы, эссе. -  
Калининград: «Кладезь», 2005—388 с.:

ISBN 5-901597-20-6: Б.Ц., 1000 экз.

Текст печатается в авторской редакции

*В книгу калининградского прозаика Олега Глушкина вошли рассказы и эссе, рожденные событиями жизни в самом западном регионе страны. Послевоенная шестидесятилетняя история края показана через судьбы лирических героев, которым автор щедро раздал свою биографию: инженера, моряка, писателя, путешественника, человека, остро и глубоко переживающего происходящие события.*

О.Глушкин, 2005

Художественное оформление, макет издательства «Кладезь», 2005

ISBN 5-901597-20-6

## **ОБРЕТЕННЫЕ ПРИЧАЛЫ**

*Порт с переплетением металлических хоботов кранов, с мачтами судов присел на берегу морского канала, опутал даль тросами, приманивая корабли в свои сети. Гудки буксиров, звонки погрузчиков, крики докеров едва слышны отсюда, с двухъярусного моста, по которому с грохотом мчат электрички. Нет никакого желания спускаться вниз, пройти знакомой тропой и очутиться у проходной. Растворились вдалеке суетные дни отходов. Плеск последнего швартового конца, сброшенного в воду и расширяющаяся кромка воды, отделяющая тебя от других людей, остались в дальних извилах памяти. Журчание реки внизу, наткнувшейся на опоры моста, лишь отдаленно напоминает шум корабельных винтов. Но и это журчание постепенно смолкает, когда ты мысленно уходишь в прошлое.*

*Погружение в тишину сродни глубокому нырку. Скрытый толщей воды, можешь, пока хватает воздуха, разглядывать мальков, мечущихся среди слизистых камней. Здесь не увидишь цветных кораллов и не найдешь причудливую раковину. Дно хранит куски металла и ржавеющие снаряды. Землеройка, прочищающая канал, громоздит коричневые холмы, где среди жижи и грязи обнаруживаются потерянные с кораблей диковинные вещи. Однажды там нашли серебряный портсигар со странной монограммой и готической надписью, которую не смог разобрать даже капитан немецкого танкера. Много позже*

*поэт из Вестфалии прочел и перевел: «Счастливицу, познавшему тоску расставания».*

*Только сейчас, глядя с двухъярусного моста на тающий в утренней дымке порт и вспоминая деревянный причал, на котором стояла тонкая, как стебелек, женщина с ребенком, начинаешь понимать эти слова. И отчетливо видишь доски причала, пропитанные солью и потому белые, словно кора берез. И еще видится город, растворяющийся в утреннем тумане. И вновь чувствуешь, как слился с кораблем, устремленным к свободе от утомительного поднадзорного быта. И через месяц ты уже был сыт этой свободой, и с фотографии на переборке каюты женщина с упреком смотрела на тебя. И после полугодового отсутствия ничего не было притягательнее своего порта. Того самого, который отсюда с высоты моста кажется глухим пауком, плетущим нити из металла.*

*После затянувшегося рейса твой корабль ранним весенним утром входил в морской канал, перед этим была бессонная ночь на рейде в Балтийске. Казалось, время остановилось, и люди, не замечая друг друга, бродили по палубе, нетерпеливо взглядываясь в дальние береговые огни. Когда траулер втягивается в канал, с двух бортов возникает земля, настолько близкая, что запахи ее заполняют все твоё существо и видны даже набухшие почки на ветвях деревьях. С трудом сдерживаешь себя, чтобы не спрыгнуть с борта, так хочется потрогать клейкие листья и опрокинуться в росистую траву, и услышать жужжание пчел и пение птиц. Канал словно испытывает твоё терпение, он все тянется и тянется, обнаруживая поселки на берегу, заброшенные фермы, яблоневые сады и красные черепичные крыши, выглядывающие из-за зеленых холмов. И траулер застыл, застопорил ход, повис в рассветной дымке, а берега текут ему навстречу, сжи-*

маются, трутся о ржавые борта зелеными мокрыми боками. Потом канал расширялся, становился устьем реки, маленьким заливом и разворачивал навстречу причалы порта, облепленные корпусами судов. И все застывало в ожидании - сейчас объявят: ни одного свободного места, надо вставать на якорь. И вдруг среди белых свежеекрашенных бортов обнаруживалась прогалина. И пыхтел у борта буксир, готовый отвести туда, в это чернеющее лоно порта. А там, у этой прогалины, различимо было броуново движение людей, и бинокли в рубке были нарасхват... Казалось, даже палуба мелко подрагивает в нетерпении. И длинный протяжный гудок, как вздох облегчения, вырывается из корабельного нутра ...

Сколько было таких рейсов, начиная с того первого, когда на морском охотнике возвращался сучений, чтобы прийтись к заводскому причалу в Лиенае. И этот небольшой город казался почти европейским портом, где в уютных кафе можно было даже увидеть негров, виртуозно играющих на саксофонах. Сколько было дано еще кратковременных стоянок - не сосчитать... Твой корабль заходил по каналам к причалам, которые в старинных ганзейских городах сливались с домами; несколько шагов - и перед тобой ратуша, а за ней кирха или костел, и колокольный звон встречает тебя. Сколько таких уютных городов запрятано в ихерах, ты так и не выяснил до конца. Время отнимает возможность путешествий. И только открытки, посланные друзьями из далеких портов, возвращают в просторную гавань Стокгольма или в уютную бухту Любека. Письма путешествуют вместо тебя... Площади городов живут в памяти и на экране компьютера.

Из водных путей остается лишь паромная переправа в конце Куришской косы; всего каких-то десять минут скольжения парома по воде дают возможность охватить

*взглядом другой берег, увидеть плавучий док, в котором когда-то стоял твой корабль, приземистые буксиры, прижавшиеся к пирсу, моряков на их борту; и вот уже перед тобой открываются улицы города и река Дане, похожая на канал, вдоль которого выстроились ровными рядами промытые дождями дома. Если бы захотел, мог бы жить в этом городе. Мог бы жить и в любых других портовых городах, в бухты которых входил твой корабль.*

*Но остался верен своему городу, и теперь, стоя на двухъярусном мосту, можешь оценить правоту своего выбора. И если обратить взгляд на восток, в сторону противоположную порту, то можно увидеть парад музейных кораблей вдоль правого берега реки, старинный собор с русалкой на шпигеле башни, и то взгорье, на котором стоял рыцарский замок, а главное - можно разглядеть дома, в которых ты жил в этом городе, твои причалы, к которым ты всегда возвращался...*

## ДОМ

Сколько домов вокруг! Они вырастают на пустом пространстве, словно по мановению чудотворца. Темными глазницами окон и застекленными верандами смотрят они на бегущие по проспекту машины, на спешащих по суетным делам пешеходов. Это днем. А когда стемнеет, в домах начинают зажигаться огни. Манящая желтизна света притягивает взгляд. Раньше, когда в моде были абажуры и торшеры, каждое окно отличалось своей расцветкой. Теперь только яркостью. Стандартные многоэтажные дома. За каждым окном своя жизнь, непохожая на жизни других и на мою жизнь. За строем домов из моего окна виден зеленый массив - это парк Макса Ашмана, вернее,

это когда-то был парк. Теперь вид красивый только изда- лека. В самом же парке запустение, грязные сточные ка- навы, заросшие воронки, мшистые траншеи и окопы - сле- ды войны...

Центр города, где я живу, снесла с земли английская авиация. Что не успели разрушить бомбы, довершили мы. Взрывали кирпичи, замки, расчищали место для новых до- мов, в том числе и для моего дома.

Война была давно, в моем детстве. И в этом детстве слово «дом» долгое время было для меня абстрактным понятием. Город моего детства был полностью разрушен. Три раза он переходил из рук в руки - и от него вообще ничего не осталось. Когда мы вернулись из эвакуации, то первым жильем нашим стала землянка. Добротная, вы- рытая солдатами, устеленная настоящими досками. С по- чти не протекающим настилом вместо крыши. Правда, в том углу, где были мои нары, после дождей скапливалась вода. Тогда это мало тревожило меня и лишь спустя годы аукнулось острым ревматизмом. Не одни мы жили в зем- лянке, как все, так и мы...

Первый дом, выстроенный в моем родном городе сре- ди развалин, поднялся на острове Дятленка. Красивый был остров, весь в зелени, яблони оживали от ран, корой обра- стали обожженные стволы. А дом был, как из сказки. Мы часто ходили на него смотреть. Черепичная крыша поблес- кивала на солнце, окна были занавешены, и там шла ка- кая-то таинственная жизнь. В первый раз привел меня туда мой друг-одноклассник, живший в соседней землянке, одноногий Филипп. Мы встали зачарованные у мостика, ведущего на остров. Дальше ходу не было. В другом кон- це мостика стоял милиционер и лениво шурился. На нас он не обращал никакого внимания. - Смотри, дом! - ска- зал Филипп. - Дом! - восторженно повторил я. Конечно,

думал я тогда, этот единственный дом в городе надо охранять. Ведь все могут захотеть в нем жить. А Филипп был недоволен, он всегда ворчал, с лица не сходила печальная гримаса несбывшихся желаний, жгла, наверное, обида, что не может он бегать вместе со всеми и играть в футбол — обречен стоять только в воротах. И сказал он тихо, так чтобы не расслышал милиционер: Вот жируют, суки!

Кого он имел в виду, я понял потом, когда узнал, что в доме этом живет самый главный человек разрушенного города - первый секретарь горкома. Какой-либо зависти или злости к нему я не испытывал. И его дом я даже любил. По ночам мне иногда снился этот дом - плыл он над рекой, словно сказочный корабль, светился малиновыми огоньками в окнах, и лилась из тех окон мягкая завораживающая музыка. И там танцевал Филипп, у которого еще не оторвало ногу гранатой. И воздушные феи в полупрозрачных платьях кружились по паркетному полу, покачивая головками и рассказывая друг другу про свои дома-дворцы...

А вскоре и у нас появился свой дом, вернее, не дом, а вагон. Его приволок трактор, и еще долго две черные колеса виднелись там, где он проехал. Вагон этот мой батя вместе с моим дядей-железнодорожником обшили досками, между досками и металлическими стенами засыпали шлак, сверху сделали настоящую крышу из дранки - получилось жилье - то, что надо. Семь человек нас там размещались свободно. Сложили печку - она разгородила вагон на две части, в меньшей была кухня, и стояла кровать родителей, в большей части - на самом теплом месте у печки - был сундук, на котором спала, свернувшись в калачик, бабушка, мы с сестрой спали тоже неплохо - на пахнущих сосной деревянных нарах, дядя-железнодорожник - на полу, подстелив под голову свою пропахшую мазутом шинель, а тетушка, контуженая в войну и потому

глухая от этой контузии, спала на настоящей кровати, которую ей подарили в госпитале.

Возле дома-вагона рос большой вишневый сад. Был у нас и приличный огород. Отец работал в заготконторе, там ему выделили персональную лошадь. И по весне на ней вспахивали мы свое поле. Сажали, в основном, картошку. К вагону пристроили просторный сарай, держали свиней, кроликов, кур. Весь этот квохтающий, хрюкающий, цветущий вокруг мир был истинным раем моего детства. Напуганные военным и послевоенным голодом, родители мои все запасали впрок, и в сарае всегда стояли кадушки с капустой, огурцами, грибами. Никаких пенсий тогда ни бабушка, ни контуженая тетушка не получали, всех кормила земля. За огородом был пруд, поросший ряской и тростником. Из него брали воду для полива грядок, для стирки. А за водой для питья и супа приходилось ходить к водокачке, стоявшей за железнодорожным мостом - путь длиной более километра каждый день совершали мы с сестренкой и мамой. Мы несли воду в бидонах, а мать в ведре. Этого хватало на день.

Никакой дороги и никакого транспорта через поселок не проходило. Школа была километрах в пяти, за вокзалом. И когда пришла пора идти в школу, то поначалу мать сопровождала меня, а потом и самому мне было разрешено преодолевать долгий путь вдоль железнодорожных рельс... Старшеклассники пешком почти не ходили. По примеру старших мы, конечно, тоже старались не шагать по шпалам, а ждали проходящих от станции поездов и вскарабкивались на ходу на открытые платформы. В школе мне все завидовали - все-таки я жил в отдельном доме-вагоне, большинство же моих сверстников, в лучшем случае, ютились в бараках, а то и в землянках.

Первые дома в городе начали возводить пленные немцы. Ходили они везде без конвоя. Голодали. Побирались. Мать всегда выносила им остатки еды, несмотря на ворчание бабушки и запреты отца. Были всем памятны те страдания, что принесли эти, сейчас вроде бы тихие, в обтрепанных шинелях бывшие вояки. Мы, пацанва, были к ним безжалостны, дразнили их, наполняли их котелки помоями. Они все сносили молча. Дома строили добротнo, с немецкой аккуратностью. Первыми заселялись в эти дома большие начальники и торговцы, умевшие дать этим начальникам соответствующую мзду.

Бедные мои родители так и прожили молодые свои годы то в землянке, то в вагоне, где и уединиться им было нeгде. И лишь, когда я перешел в восьмой класс, получили, наконец, комнату на улице Сибирцева в настоящем пятиэтажном доме, комнату в целых двадцать квадратных метров, правда, разместить там для всех кровати мы все же не смогли, и я спал на полу рядом с сестренкой. Но было в той комнате сухо и тепло, и не надо было топить печку. Зато лишились мы и вишневого сада, и огорода. А добавились в нашу жизнь соседи. Четыре хозяйки постоянно воевали за каждый сантиметр узенькой кухни - с грохотом летели со столов кастрюли, столы отодвигались по ночам, продукты выбрасывались из оконного пространства, служившего холодильником, скандалы возникали из-за очередности уборки. Муж одной из соседок - спившийся председатель охотхозяйства, подзуживаемый ею, лез с кулаками на отца. Начав скандалить вечером, он не мог успокоиться всю ночь. Стены в доме были не лучшей изоляции, и все было слышно.

- Я вас всех сгною, падлы! - истошно орал он. - У меня в горкоме все кореша! Все - охотники! Убью - и ничего мне не будет! Завалю, как вонючих кабанов!..

Первой не выдержала бабушка, я не знаю, что у них произошло, но этот сосед ударил ее. Тогда мой батя прижал его в углу кухни и начал душить. Сосед хрипел и извивался, как змея. Их едва растащили. Сосед ползал в ногах у бати и клялся, что будет тише воды, ниже травы. Но прошло всего несколько дней, и сосед забыл свои клятвы, и снова по ночам из-за тонкой стенки слышались непрекращающиеся угрозы. И закончилась эта коммунальная война только тогда, когда сосед получил квартиру в своем охотхозяйстве. И на его место въехала семья, где было пятеро детей, и легче от этого не стало...

когда я закончил школу, то твердо решил вырваться из родительского дома, вернее, не дома, а комнаты, в которой у меня не было даже кровати. Я окончательно решил, что даже если не поступлю в институт, то домой не вернусь, а попытаюсь устроиться там, в большом городе на Неве.

Мне повезло. Сдав почти все экзамены на «отлично», я стал студентом самого престижного вуза - корабелки. Здесь на шесть лет я обрел свой дом, свою обитель, - студенческое общежитие. Место в общежитии мне дали почему-то не сразу, нужна была справка о заработке моего отца, и пока я ее ждал, мне пришлось провести несколько ночей в домах своих сокурсников, и даже две или три ночи на Витебском вокзале, где спать приходилось, сидя на скамейке и очень чутко, чтобы не прозевать милицейского обхода. Для безопасности хорошо было иметь билет на какой-нибудь поезд. Но в ту ночь, когда я попался, у меня не было денег на билет даже до самой ближайшей станции. Дружинники, сжав меня с двух сторон, втолкнули в дежурную комнату милиции, где на длинной скамье жались, как бы сейчас сказали, бомжи. Небритые мужики, осунувшиеся женщины, старики в пропахших потом лохмотьях. Все они, молча, ждали своей участи. Меня вызвали к милицейскому началь-

нику одним из последних. Я до сих пор помню его угреватое лицо и оскал металлических зубов, и могу подтвердить, что внешность и даже слова бывают обманчивы. Он взял протянутый мной паспорт, долго листал его, а потом обрушился на меня с градом угроз. «Ты понимаешь, что нарушил советские законы? - сказал он. - Никто не может жить в нашем, да и в любом другом городе, без прописки! Если каждый захочет жить, где ему вздумается без прописки, что станет с нашей страной? Она превратится в цыганский табор! Ты будешь выселен из города в двадцать четыре часа!» Я долго объяснял ему, что сдал экзамены, что мне должны скоро дать общежитие... Он отпустил меня только под утро, взяв расписку о том, что я немедленно покину город...

Но следующий день был милостив ко мне, пришла справка от отца, и в ректорате мне дали направление в общежитие, сказали еще, что был звонок из милиции и что какой-то милицейский начальник просил устроить меня, как можно быстрее. Вечером я долго и безуспешно искал на вокзале своего заступника, чтобы сказать ему слова благодарности...

Я был тогда по-настоящему счастлив, я был на вершине блаженства - наконец-то я обрел свой дом. И главное - ленинградскую, пусть временную, прописку! Меня поселили на равных со всеми первокурсниками в общежитии! Светлая, огромная комната была уставлена кроватями, и среди них, в углу, слева от двери, была и моя личная койка, и даже тумбочка рядом с ней. Посередине комнаты стояли четыре стола с чертежными досками, которые мы всегда сдвигали в субботние вечера, устраивая пиры для окрестных девиц. В этой комнате, где обитало более двадцати человек, никогда нельзя было остаться одному. Не было такого дня, чтобы кто-либо не задумал одновременно с тобой не пойти на лекции.

Рядом с комнатой был обширный пятачок в коридоре, на котором почти ежедневно затевались танцы, и зубрить лекции под звуки радиолы могли только стойкие импотенты, ибо стоило приоткрыть дверь и сделать всего один шаг - и ты оказывался в круговороте, где тела льнули друг к другу, и манящие запахи и жар передавались тебе.

И можно было на глазах у всех заключить в объятия существо другого пола, казалось бы, недоступное тебе, и качаться под музыку, сплетаясь ногами и ощущая теплое дыхание совсем рядом, совсем близко - и все казалось таким доступным.

Общежитие - общее житие, все у нас было общее. Никогда нельзя было быть уверенным, что в твоей тумбочке сохранятся до утра припасенные тобой на завтрак булка и бутылка кефира, и совершенно не исключалось и было в порядке вещей, что кто-либо ночью, возвратившийся после любовного свидания и чувствующий потерю сил, не восстановит их с помощью твоих скудных припасов. Но ведь и ты тоже в очередную ночь мог опустошить чужую бутылку кефира. Стипендия была мизерной - мы все постоянно хотели есть. Денег хватало на приобретение талонов в студенческой столовой - это были комплексные очень недорогие обеды, да на проезды в трамваях до института. Общежитие находилось в Автово на проспекте Стачек, а институт на Лоцманской у Калинкина моста и пешком туда было не добраться. К тому же, в Северной столице была масса соблазнов - и театры, и балет, и филармония, и катки, и парки. И когда брал билеты на себя и очередную подругу, то вовсе и не думал, что молодой организм потребует утром хотя бы сайку и стакан чая.

С одеждой тоже не было проблем, собираясь на очередное свидание, можно было запросто позаимствовать галстук и даже пиджак того, кто в этот вечер продолжал зуб-

рить конспекты лекций. Любая твоя вещь могла стать общей для всех - начиная от зубной пасты и кончая теплой шубой в морозные дни, которая была в нашей комнате одной единственной на всех. Так, в этом огромном и шумном доме на улице Автово, зарождался в каждом из нас общежитский характер, соответствующий неписанному закону социализма: «твое мое, и мое твое, и все это наше».

Общими становились не только вещи, твоя личная жизнь тоже становилась общей, все было на виду, все знали, у кого и что творится на душе, знали о его любовных связях, вникали во все детально и, таким образом, даже твоя девушка становилась девушкой для всех, не в прямом, конечно, смысле, но ты никогда не мог быть уверен, что она принадлежит только тебе и не поселилась напрочно в голове твоего товарища, втайне готовящегося быть твоим сменщиком.

Жизнь на виду, не оставляющая даже тайных уголков в душе. И все же вспоминается она, как лучшее, как прекрасное время. Все были равны, и у всех целая вечность была впереди. За несколько лет совместного житья в этой огромной комнате мы почти сроднились. Даже и сейчас, по прошествии многих лет, мои соседи по общежитию кажутся мне ближе многих моих родственников.

Рядом с моей койкой стояла койка Толяна - талантливого художника, невесть каким ветром занесенного в наш сугубо технический институт. Мы стали с ним истинными братьями. Приехал он из неведомых казахстанских степей, из тех мест, где, зачисленные большевиками в списки врагов народа, расстреляны были его родители. Его сумела воспитать сестра матери, но ни средств и ни желания дальше ему помогать у нее не было. Я всегда делился с ним сайкой и кефиром, которые покупал в общежитском буфете. Он был слишком тонок и слаб, и не в силах

был подрабатывать на разгрузке вагонов, как это с разной степенью частоты делали все мы. Ему не давались расчеты по сопромату и теоретической механике, зато он умел задуматься над происходящим и жадно поглощал книги. Весь наш быт он запечатлел на бумаге. Почти у всех наших выпускников есть его картины, на которых люди и деревья очень схожи и в которых полно отчаяния, совершенно несвойственного нам в те годы. Он чурался знакомств с девицами и абсолютно не мог пить спиртное. Его всегда тошнило. Правда, потом он преодолел свое отвращение к водке и на последних курсах стал бурно наверстывать упущенное. А тогда, в начале учебы, чтобы как-то облагородить нас, он уговорил собрать деньги и купить проигрыватель. Все согласились, полагая, что музыка будет привлекать к нам девиц - и глубоко ошиблись. Толян накопил пластинок с классической музыкой и стал приучать нас к Баху и Шостаковичу. Он мог неделями не выходить из общежития, чтобы не тратить деньги даже на проезд в трамвае, и потом, накопив на входной билет, пойти в филармонию. Иногда билеты покупал ему я. И мы стояли у белокаменных колонн, наблюдая взмахи смычков и вслушиваясь в переливы мелодий. Толяна не любил наш староста - прирожденный математик, стерильный аккуратист и догматик. Он бесполезно пытался приучать Толяна застилать постель и не брать чужую зубную пасту. Скоро он понял, что это бесполезно, и сумел преодолеть свою неприязнь. Во всяком случае, я часто видел, как они вдвоем мирно сидели у проигрывателя и слушали очередную добытую Толяном пластинку. И это радовало меня, потому что староста тоже был моим другом. Мы вместе ставили опыты в лаборатории и были даже, по словам нашего профессора, близки к какому-то открытию новых методов сварки. Я, как и Толян, не часто бывал на лекциях, и

староста не ставил нам прогулов, не раз сохраняя нам стипендию. Оба они - и Толян, и староста - давно покинули сей мир, но продолжают жить во мне, как самые близкие мне люди. Можно было бы много рассказать еще об обитателях нашей комнаты, и каждый мог стать героем отдельного рассказа. А сколько еще было людей в соседних комнатах, на других этажах - и все они были связаны друг с другом, и готовы были всегда вне стен общежития выручить друг друга, как солдаты, принадлежащие к одному воинству. Помню, как в один из вечеров, когда мы праздновали Восьмое марта в соседнем общежитии педагогического института и после танцев разбрелись по комнатам, поцелуи и объятия были внезапно прерваны истошным криком: «Наших бьют!» И тогда из разных комнат всех трех этажей стали выскакивать полураздетые корабелы, спеша на выручку тому, кто попал в передрагу. Общежитие то было небольшим, издавна считалась вотчиной корабелки, но в этот праздник его избрали не только мы, но и курсанты мореходки...

Здание нашего общежития, наверное, было самым многонаселенным из всех, что выселись на проспекте Стачек. Оно было столь огромным, что можно было запросто заблудиться в его многочисленных коридорах, можно было попасть в любую компанию, можно было быть сытым и пьяным, не имея ни рубля в кармане, и можно было за ночь расстаться со всеми своими денежными запасами, напоив и накормив, порой, и вовсе незнакомое сборище.

А еще были под зданием подвалы, целый подземный город, заполненный теплом и паром. Здесь в огромных прачечных стояли чаны, заполненные горячей водой. Полутени, мелькание призрачных потных тел, манящие оголенные руки сокурсниц. Покрасневшие от пара лица, гортанные голоса, визг и раскатистый смех. Рядом с прачечными

были душевые - никелированные ряды рожков, теплая вода, смывающая усталость с тела. Здоровые, молодые обнаженные тела. Здесь же, в тайных подвальных закутках, назначались свидания. И те первые подвальные поцелуи кружили голову и наполняли тело сладким томлением...

От этих банно-прачечных подвалов были отделены другие не менее обширные подвалы. Здесь по субботам гремел джаз-банд, и золотая труба корабелки - Леша Киухидзе выводил пронзительные мелодии эллингтоновского «Каравана». А в полумраке подвала дергалась танцующая масса, менялись партнеры, кипели страсти, замешивались будущие судьбы, рушились короткие связи...

Были еще и другие помещения в этих бесконечных подвалах. Дальние угловые отсеки, куда вели узкие мрачные коридоры, оккупировали борцы. Тогда в моду входило самбо, и каждый уважающий себя юноша возжаждал овладеть приемами, сулящими помочь ему отстоять свою честь. Десятки тренеров обучали этим приемам, потные тела ворочались на матах, постеленных на бетонные полы. Пыхтели, надували щеки, проводили болевые приемы, старались уложить соперника, одолеть друг друга.

Это было не для меня. Я любил баскетбол, но, увы, рост не позволял мне занять достойное место в институтских командах. Зато по весне, я часто пропадал во дворе, где можно было бесконечно долго швырять мяч в корзину. Двор общежитский был столь же велик, как и само здание. Окна нашей комнаты выходили в этот двор, и сверху, с седьмого этажа, все мечущиеся на волейбольных и баскетбольных площадках казались головастиками, напуганными явлением в их пруд некоего невидимого, но грозного чудовища. Лучшим местом для занятий в нашей комнате считался подоконник, здесь можно было сидеть, обнажив торс и подставив солнцу тело, наблюдать спортив-

ные баталии во дворе или зубрить конспекты, одновременно впитывая телом загар.

Питерцы, имеющие свои квартиры, завидовали нам, общежитским. Им было скучно в своих уставленных мебелью комнатах. Им было не с кем посоветоваться, если не получались решения сложных задач по сопромату или теоремеху. В общежитии мы одолевали любое задание. Всегда находился тот, кто соображал лучше и знал путь к решению. Я помню многих из моих питерских сокурсников, обладателей отдельных квартир, которые буквально и дневали и ночевали в общежитии, таясь от бдительных комендантов и вахтеров.

Эти суровые и хмурые вахтеры постоянно сидели на первом этаже у лестницы. Были они, в основном, оставшие офицеры, строго выполнявшие поставленные перед ними задачи - не пускать. Провести, минуя их, девицу было почти невозможно. Надо было заранее выписывать пропуск, брать разрешение у коменданта, затем девица должна была оставить на вахте документ, которого зачастую у нее не было. А если и был - оставлять его не имело смысла. Оставленный документ связывал ей руки, она должна была покинуть общежитие до одиннадцати вечера, то есть в самый разгар танцевального веселья. Поэтому старые и умудренные опытом общежитские обитатели никогда не пользовались главным входом. Было множество и других дверей, которые, правда, запирались, но ведь к любому замку всегда можно подобрать ключ. Был еще потайной вход через подвалы. И еще более простой вариант - через окна первого этажа. Им пользовались все мы, если возвращались ночью. Главный вход закрывался в час ночи, и добравшись из центра до общежития, зачастую пешком, глупо было устраиваться на ночлег во дворе. Через окна затаскивали и девиц. Через окна они покидали

нас по утрам. Можно было проделывать это на первом этаже, но не исключались и пути с других этажей, для этого связывались простыни, и по ним карабкались они, как матросы по вантам. Таким способом пользовались наиболее бойкие девицы. Помню, как одна из них, очевидно после размолвки, среди бела дня, почти голая, скользнула вниз. Вслед за ней в узелке на простынях спустили ее одежду. Вахтер, шествующий на смену, заметил это. Узелок бросился в глаза. Это был непорядок. И он, задрав голову вверх, закричал: «Где пропуск на вынос вещей?» На вынос вещей нужно было разрешение коменданта, исполнительный вахтер не понимал, почему над ним смеются.

И, несмотря на все эти вахты, несмотря на различные рейды дружинников, врывающихся в комнаты в самый неподходящий момент, несмотря на частые проверки санитарной комиссии - общежитие было моим желанным домом в течение всех шести лет учебы.

Я возвращался в его стены и в холодные зимние ночи, когда уже не ходили трамваи, и надо было топать через весь город по скользким мостовым, и весной, когда царили над городом белые ночи, и в их отстраненном таинственном свете синие тени домов смотрелись в темные воды каналов, и осенью, в сплошную слякоть, когда вода чавкала в растоптанных старых туфлях... И всегда, в любое время суток - я знал: меня ждет моя комната, моя привычная койка, тепло и спокойствие, и сон рядом с двадцатью такими же, как я, однокурсниками.

Поиски любви и наслаждений забрасывали нас в самые дальние концы огромного города, но были и те, кто находил свою любовь в самом общежитии, ибо был там пятый этаж - женский. Корабелка - не женский институт, и все же студенток набралось на целый этаж. Это были в основном девицы, занимающиеся на экономическом фа-

культете, да еще и иностранки, в то время у нас в институте много училось парней и девушек из Польши, Чехии, и еще больше из Китая и Вьетнама. Связи с ними, правда, были опасны. За любовь можно было запросто вылететь из института. Но нет преград для любви, и в конце учебы почти все иностранные девушки обрели себе партнеров, и правдами и неправдами добились разрешений на создание семей. Хотя для этого пришлось не только в конце романа преодолеть чиновничьи барьеры, но и в начале своей любви испытать участь скрывающегося борца сопротивления. Охранялись иностранки и комендантом, и патрулями, и дружинниками и собственными сексотами из шибко партийных. Но нет преград для любви...

Да что говорить об иностранках, когда и собственные российские наши сокурсницы-невесты тоже были под двойной охраной. К ним на этаж не каждый мог войти, а только по вызову, заверенному комендантом. Но разве это препятствие, они сами спускались к нам, а потом вели к себе по черному неохраняемому входу.

В женских комнатах общежития был совсем иной мир, иной порядок, иной обволакивающий тебя дурмящий запах, идеальная чистота, так тогда казалось, ибо не с чем было сравнивать. Там, в их комнатах, всегда были аккуратно заправлены кровати, лежали на чистых простынях вышитые бисером подушечки, на столах были скатерти, а тумбочки были застелены белоснежными салфетками. Все это пленяло и завораживало. Но самым притягательным - были обитательницы этих комнат, в домашних халатах, такие близкие, такие доступные - стоит протянуть руку, положить на теплое вздрагивающее колено, потянуться губами... И не надо шляться где попало по ночам, не надо отыскивать случайных подруг в ресторанах и на танцах в клубах...

Были в общежитии еще одни очень приметные помещения - на каждом этаже имелся красный уголок, снабженный небольшой библиотекой и рядом длинных столов, места за которыми надо было занимать с самого утра, а то и с ночи. Сюда уходили из своих комнат отличники, чтобы решать сложные задачи и запоминать длинные формулы, вникнуть в которые невозможно в своей комнате, где кто-то поет песню, а кто-то делает гимнастику, где травят анекдоты и рассказывают о своих любовных приключениях, и в подтверждение этих приключений еще и приводят девиц - героинь своих рассказов и даже умудряются оставить их на ночь, выкрыв документы на вахте или проведя их по черной лестнице. Попробуй в такой обстановке хорошо подготовиться к зачету. И вот тебе в удел - красный уголок, где столы в основном заняты трудолюбивыми китайцами. Но иногда и здесь отличнику не удастся уйти в мир формул, попробуй - сосредоточься, если рядом сидит студентка в короткой юбке, и взгляд не может оторваться от стройных ног, более манящих и более загадочных, чем все биномы Ньютона вместе взятые. Еще помнится, что в этих красных уголках-читальнях были большие, настольные зеленые лампы, свет которых не настраивал на учебу, зато очень быстро усыплял даже трудолюбивых китайцев.

И еще в этих читальнях постоянно играли в шахматы, иногда казалось, что все общежитие превращается в шахматную Мекку, шелканье часов, стуки опускаемых на доску фигур, гортанные вскрики победителей, будто утрачены все слова и обретен некий праязык, выражающий только чувства шахматного игрока. Сидели с шахматными досками на подоконниках, играли даже на полу, занимали в комнатах пустующие кровати, и даже девицы были втянуты в эту игровую вакханалию. Обычно шахматная лихорадка

охватывала общежитие зимой, и к весне постепенно стихала. Ибо весной, даже самый заядлый шахматный игрок поддавался иным соблазнам, да и кто мог выдержать сидение за доской и пробежки с деревянной королевой по нарисованным полям, когда рядом бродили тонконогие и глазастые королевы, ходящие без всяких правил и неотвратимо влекущие в таинства любовных утех. Распаленное воображение игроков уже не могло трезво рассчитывать ходы и предугадывать сложные пешечные концовки. Самые интересные игры преподносила жизнь.

А к концу весны общежитие замирало - наступали дни экзаменационного суда, и за месяцы веселья и любовных утех, за все прогулянные ночи приходилось держать ответ, и чтобы не оставаться без стипендии, а ее давали только тем, кто не имел троек, все обитатели веселого дома, затаившись в своих комнатах, в красных уголках, в подвалах, насыщали мозги утомительными и многослойными формулами, запоминая их почти наизусть, чтобы тотчас забыть, выходя от экзаменатора.

Сегодня борцы за улучшение быта заключенных возмущаются тем, что в некоторых тюрьмах не выдерживаются санитарные нормы и на человека приходится менее трех квадратных метров. В моем студенческом общежитии мы тогда не думали о нормах, могу, конечно, подсчитать - комната наша была метров сорок квадратных, было нас там двадцать человек — какие уж тут нормы! А нам хватало!

Мы попали в общежитие не из отдельных квартир, а из землянок, барачков, и в лучшем случае, из коммуналок, мы были дети своего времени, с малых лет приученные к общему жилью, с малых лет уверенные в том, что человеку не обязательно вовсе иметь свою комнату, что самое главное - это иметь свою койку или, как говорил наш комендант -

койко-место. Зато платили за это койко-место чисто символическую плату - два рубля пятьдесят копеек в месяц, однако, и здесь было полно задолжников, многие умудрялись не платить по году, а потом не могли осилить накопившуюся сумму, и таким общежитским зайцам приходилось все время менять свои койко-места, чтобы скрыться от бдительного ока коменданта и его дружинников.

Были в общежитии и другие общие для всех места - кухни. Эти огромные, заполненные пряными запахами и паром помещения, размещались на каждом этаже, там варили себе пропитание в основном те, кто жил коммунами и у кого хватало денег только на макароны. Там же постоянно обитал кто-либо из китайцев; котел, в котором он варил супы для всего своего землячества, изрыгал такие ароматы, что впору было надевать противогазы. Кухня не была моей стихией, и я там появлялся весьма редко. Чайник и тот кипятил в комнате, сунув туда выдавшую виды спираль. Кухни были рассадником скандалов. Вечно там что-нибудь пропадало, и однажды, когда машфаковцы украли жареного гуся у корабелов, случилась самая кровавая драка в истории нашего весьма мирного общежития. Будь моя воля, я бы закрыл эти кухни. Но с другой стороны, они были, как я сейчас понимаю, полезной школой, ибо не только научали что-либо варить для себя, но и приготавливали к предстоящей жизни. Никого из нас не ждала отдельная квартира - и коммунальные кухни стали для моего поколения местом зарождения нашего братства - плеяды свободолюбцев, витийствующих там, где их не могли расслышать. Шипенье жарящихся котлет и картошки, биение пара в скороварке, шум воды, вытекающей из крана, были лучшей защитой против любых подслушивающих устройств. Но все это пришло немного позже. А пока, в общежитии,

было хорошо тем, что таиться не приходилось, каждый открыто заявлял о своем, все кричали одновременно - и постороннему трудно было понять, в чем заключена крамола. К тому же, это были годы первой оттепели, и все были уверены, что времена культа канули в лету - и вот теперь в стране свобода и полная демократия. И мы принесем мир всем странам. И вообще, скоро все народы в мире заживут единым человеческим общежитием, как сказал обожаемый в те годы поэт, считавшийся талантливейшим поэтом эпохи, так как из эпохи были изъяты все другие, о которых мы почти ничего не знали.

К тому времени я уже начал писать рассказы, и таинственный мир литературы заслонял сухость формул и уравнений. Я стремился остаться в комнате один - случилось это крайне редко, и было для меня небывалым наслаждением. Так, человек общежития, я впервые познавал, как необходимо иногда пребывание наедине со своими мыслями, как это упоительно жить своей жизнью, а не жизнью окружающих.

Литература все сильнее заманивала меня в свои густые сети. Мы с Толяном стали издавать студенческий журнал, ходили в литературные объединения, не пропускали почти ни одной дискуссии, что тогда бурно велись в клубе «Пятилетки» и в «Доме учителя». Там, словно очнувшиеся от летаргического сна, очарованные свободой, читали проповеди искусствоведы, ниспровергавшие соцреализм. Со всеми вместе мы кричали: долой! Мы яростно топали ногами и рвались к трибуне. Нам не давали слова, нас, студентов, даже не хотели пропускать в бурлящие страстями залы. Толпу, состоящую в основном из студентов и штурмующую вход, пытались разогнать мощными струями брандспойтов вызванные милицией пожарники. Но нас все равно было не остановить...

Но как же кратко было это время свободы, прерванное венгерскими событиями...

Нас с Толяном вызвали в деканат, рядом с испуганным деканом сидел узколицый человек в форме. Он говорил тихо, он ни разу не повысил голоса, но потому как краснел и вздрагивал наш декан, мы поняли, что человек этот обладает неограниченной властью. «Вы приняты в престижный технический вуз, - сказал он, - вас три года уже учат, на вас затрачены огромные государственные средства. Если вы не прекратите выпуск своего журнала, вам придется расстаться с общежитием, вы дурно влияете на своих сокурсников. Общежитие не место для словоблудия! Вы все поняли?»

Так мы едва не расстались со студенческой жизнью, едва не утратили свой общежитский рай. Я поначалу не хотел прекращать выпуск журнала. Толян сказал мне:

- Тебе хорошо, ты не знаешь, что такое лагеря и ссылки! Если тебя выселят из общежития, ты можешь пойти к Пановой, а куда денуться я?

Он был не прав, к Вере Федоровне Пановой я ходил всего несколько раз и искать приюта у нее не решился бы. Известной советской писательнице пришлось по душе мои первые рассказы, которые ей передал муж - кумир молодых писателей Давид Яковлевич Дар, руководивший молодежным литературным объединением. В ее просторной пятикомнатной квартире, окна которой выходили на Марсово поле, я впервые увидел кабинет писателя. Особенно меня поразили огромный письменный стол и специальное кресло на винтах с откидывающейся спинкой. На столе были аккуратно сложены стопки рукописей, и стояла посередине заграничная пишущая машинка. Видя, как зачарованно я гляжу на все это, Вера Федоровна сказала, растягивая слова и преодолевая мучившую ее отдыш-

ку: «Будет со временем и у вас такой кабинет, все будет. Но знаете, это не всегда помогает, свои лучшие вещи я написала, когда работала на телеграфе, прямо на работе под непрерывный шум и писк морзянки... Дело не в условиях... Все у вас скоро будет!»

Пророчества ее почти сбылись, правда, не так скоро, а в те годы вообще казались несбыточными. Снова вернулось время запретов, и мне пришлось согласиться с Толяном. Потеря места в общежитии была весьма тяжелой угрозой, к тому же, подступило время написания дипломов, и сложные расчеты конструкции корпуса и его остойчивости заслонили и отменили все литературные баталии.

После окончания института мое общежитское существование было продолжено в полуразрушенном городе на принадлежащей теперь нам земле Восточной Пруссии. И опять я очутился в комнате, населенной десятком человек, причем люди эти были далеки от меня и по своим делам, и по своим интересам. Единственной отрадой оставалось то, что вместе со мною в эту комнату был поселен Толян, мой институтский друг, увлеченный литературой и живописью. В этой комнате, пропахшей потом и алкоголем, мы поначалу держались особняком, а потом мой друг попал в страшную зависимость от бутылки, и я ничего не мог поделать с ним. Он тихо спивался.

Общежитие это было расположено в огромном доме, выкрашенном ярко-зеленой краской, и потому носило название - Зеленый дом. Принадлежало оно огромному судостроительному заводу, куда меня и Толяна направили по распределению. Завод и стал мне домом в этот первый год моей инженерной карьеры.

Я был назначен докмейстером и получил в распоряжение док - плавучее сооружение из бетона, в которое вводили корабли, чтобы поднять их из воды, почистить

и покрасить борта и днище, отремонтировать рули и винты, и все, что в обычном их состоянии скрывается под водой. В левой башне этого дока, если смотреть с пирса, были расположены каюты для команды и среди них самая большая каюта стала принадлежать мне. Там я часто ночевал после постановок кораблей - докований, которые обычно затягивались до глубокой ночи. До сих пор мне по ночам часто снятся те постановки, и я просыпаюсь от хруста клеток, сжимаемых весом корабля, или от шума вод, низвергающихся из корабельных пробоин. И всегда во сне я преодолеваю страх, также, как я преодолевал его в те годы, когда был докмейстером. Мне подчинялись люди старше меня по годам вдвое - сорокоты, они верили тому, что в институте я обучен на все случаи жизни. Я не хотел разуверять их. Было очень тяжело поначалу. Но я всегда вспоминаю эти годы, как лучшие из тех, что я прожил. Ведь док впервые подарил мне часы уединения.

Каюта стала первым в моей жизни отдельным кабинетом. Так как работа моя часто продолжалась ночами, днем никто не упрекал меня, если я не отвечал на звонки или запирали дверь каюты. Я имел право на отдых. Корабль, вставший на доковые клетки, становился добычей чистильщиков и маляров. Я плотно завинчивал иллюминатор, чтобы шум воздушных турбинок не проникал в мое бетонное убежище, включал лопаухий вентилятор, разгонявший спертый воздух, раскладывал на письменном столе белые листы бумаги и уходил в выдуманные миры. Со временем я заполнил деревянные стеллажи книгами, купил шахматы и считал, что в жизни нет человека счастливее меня. С грохотом двигались над моей головой доковые краны, шумел прорвавший прохудившиеся шланги пар, плескались волны о деревянный кринолин дока, тре-

щадя троса, которыми стягивали прикипевшие к втулкам винты - я старался ничего этого не слышать.

Кроме книг, которыми я заполнил полки, в каюте было много нужных и ненужных вещей: резиновые сапоги с длинными голенищами, в которых можно спуститься на палубу, когда еще не сошла вода, чтобы проверить клетки; спасательный жилет - хорошо, что он никогда не понадобился; бинокль в кожаном футляре, переноска... Вещей много, и часть их приходилось заменять или раздавать, или просто они куда-то исчезали. Что вещи? И хозяева в этой каюте часто сменяли друг друга, мне был отпущен срок - пять лет...

Постоянными жителями каюты были тараканы. Они очень пугливы и в то же время нахальны. Поиски съестного делают их быстрыми и ловкими. Несколько раз мы пытались избавиться от них, но не потому что уж такие мы тараканоненавистники, приказ был санитарной службы. К нам пришли женщины из эпидемстанции. Они принесли дуст в мешках, раствор и специальные машинки для разбрызгивания. Все рабочие вылезли на верхнюю палубу и начали дискуссию. Поймали таракана, положили в дуст, засыпали его, он выкарабкался и пополз, как ни в чем не бывало, оставляя на палубе белый след.

Женщины пошли по каютам, закрыв лицо марлей и покрывая стены желтыми пятнами. Всю одежду мы вынесли на верхнюю палубу, ставшую похожей на барахолку без продавцов. Сразу же обнаружилось, кто у кого что-либо позаимствовал в прошлом, но до скандала не дошло, слишком пекло солнце. Женщины быстро выдохлись и сели в дежурке отдохнуть, их старшая закурила и закашлялась. Из машинного отделения прибежал мой помощник и закричал:

- Бесплезно все это, ребята, тараканы из кают уползли вниз, их там целые армии! Я спустился с ним по узко-

му трапу, пролез через люк и увидел, что изоляция на трубах из светлой превратилась в коричневую, и вся колыхается. И я понял, что все напрасно, женщинам здесь не пролезть, а тараканы пересидят осаду, а через два дня, когда исчезнет едкий запах, поползут по прежним местам.

Через неделю я заметил в каюте первого таракана и поначалу даже обрадовался, но они плодились изумительно быстро и вскоре начали выползать группами, а потом опять их стало столько же, сколько было, и выводить их теперь, если найдется кто-нибудь, который затеет это, будет очень трудно, потому что выжили наиболее устойчивые, и от них пошла такая порода - дуст ей не страшен.

Прижились, любят они свое место. Тараканы не люди, у них своя ментальность. А мы все мечемся - и город не тот, и работа не та, о которой мечтал. Все, кто приехал со мной из Питера, мечтали о других городах. У них не было своей каюты!

А я был счастлив и не спешил по вечерам в «зеленый дом». Заводское общежитие отличалось от студенческого не в лучшую сторону. Толян, ставший начальником на корпусном участке, не просыхал. Я не знаю уж, как он там справлялся со своими бригадами. Иногда он заходил ко мне на док в поисках похмельной чарки, спирт у меня был всегда. Я оставлял Толяна в каюте, укладывал его на своем диване, накрывал плащом, давал ему возможность выспаться. Заходил ко мне и староста наш, его тоже распределили на этот завод в исследовательский сектор. В своей обычной манере он читал нотации. «Вот, - говорил он, - ты почти живешь в своей каюте, может быть в жизни у тебя не будет столь просторной площади никогда, это твой дом, смотри, и диван есть широкий. И умывальник, и душ, и приемник, и книги - но какой бардак! Давно надо постирать шторы, установить нормальную

вешалку, а то какие-то гвозди торчат. Нет, так ты и остался общежитским человеком. Никогда не поймешь ты, что такое уют!»

Он был прав, ни от кого бы я не стал выслушивать таких слов, но ему я был многим обязан, я ведь ни разу не был лишен стипендии за непосещение лекций. Да и наглядно он мне показал - насколько он прав. К тому времени мы оба женились. Но у меня жена доучивалась в Ленинграде, а его жена приехала вместе с ним. И родители у нее были из больших партийных деятелей, так что снабжали молодых деньгами. Так вот - никогда бы до такого не додумался, но староста наш решил построить дом, а пока снимал квартиру. И вот в этой квартире я и понял, что мне такой никогда не занять. Такая была там чистота, такая стерильность, что, даже сняв ботинки, я боялся оставить следы на блестящем паркетном полу. Можно было представить, что будет - когда он выстроит свой дом и как он его обставит. Дом он строил долго, сначала он соорудил дачу, тренировался на более легкой постройке. И собственность погубила его.

Это была первая утрата в череде потерь, которые приносят годы, страшно даже вспоминать обо всем этом. Он пришел на дачу, увидел, что там сидят какие-то алкаши и играют в карты, он был парень не робкого десятка - изругал их, вышвырнул из дома, наверное, потом все тщательно убрал, починил замок, который они сломали, а ночью эти подонки вернулись, подперли кольями двери снаружи и подожгли дом...

Мы с Толяном тщетно пытались разыскать убийц. Следователь с прыщеватым лицом и усталыми глазами жаждал нас утихомирить. Он говорил, что это не первый случай, что там, где не хотят знать, что такое частная собственность, всегда так происходит. Мы не слушали его.

Мы не понимали, что такое частная собственность. И будь она проклята, если из-за нее мы лишились друга...

И все же пришлось думать, где обрести эту частную собственность, пусть не квартиру, но хотя бы свой угол. К тому времени мне надо было срочно решать - где жить. Жена окончила институт, родила сына - и не мог же я привести ее в доковую каюту. С трудом я устроил ее в гостиницу. Сына временно мы отвезли теще.

Завод при приеме на работу обязывался обеспечить квартирой, но прошло уже больше года, и никто из заводского начальства и слушать ничего не хотел. Недовольных молодых специалистов собрали в конференц-зале и главный инженер, нацепив на грудь, сливающуюся с огромным животом, десятки своих медалей, зычным хорошо поставленным басом прочел нам мораль о подвиге и славе. «Мы, - сказал он, - трудились на стройках первых пятилеток, мы создавали заводы в тайге, и никогда даже в мыслях наших не было - требовать квартиру. Мы жили в шалашах и землянках. Нас согревали наш энтузиазм и наша сознательность! А вам все подавай на блюдечке! Нет, с такими мы никогда не построим коммунизм!» Мы разошлись пристыженные, а утром жена в гостинице долго плакала и решила уехать из этого города.

Потом все, конечно, разрешилось и все устроилось. Но немало нам пришлось поскитаться в поисках крыши над головой. Жили мы одно время в такой комнате, которую и комнатой назвать нельзя - не было там ни окон, ни дверей - и сырость была такая, какой и в землянке я не видел. Потом, хоть и ненадолго, хлебнули мы прелестей коммуналки - и, наконец, когда совсем отчаялись, и готов я был уехать, пришли на выручку мне мои доковые рабочие. Оказалось, что за тот первый год, в который я на заводе проработал с ними, успели они ко мне привязаться - и

другого докмейстера не желали. К тому же, и обстоятельства так сложились, что смогли мои доковики все решить в одночасье. Мой доковский помощник - ветеран завода, участник войны получил квартиру с удобствами в центре города, а в его, освободившуюся, не дожидаясь решений жилищных комиссий, привезли мои рабочие меня с женой и малым сынишкой. Подивились, что у нас даже кровати своей нет, приволокли металлическую койку с пружинами, два стула потрепанных поставили в пустые комнаты, и еще оставил мне мой помощник топор. И сказал: «Никого и на порог не пускай! Попыхтят, попыхтят, мать их ити, и сами в зубах ордер принесут!»

Так стал я, почти первым из наших выпускников, обладателем двухкомнатной квартиры. Ордер я на нее, правда, получил только через год, но разве в бумажке дело! Раем мне показалось место, где был расположен дом. Шпандинн называлось оно у немцев, а у нас говорили - рабочий поселок или Шпандинная. Квартира, дарованная мне, была на первом этаже старого немецкого дома, за окнами росли вишневые деревья, по утрам звонко перекликались птицы, в промежутке между листвой виднелись доковские краны, а между ними и домом было большое ровное поле, по которому пробежать до завода можно было за десять минут. Летом и весной жили мы в ладу с цветущей за окнами природой, а в осенние и зимние вечера топили две печки, облицованные кафелем, и грелись, прислоняясь к их теплым и гладким бокам. Приходилось, конечно, возиться и с углем, и с дровами, не было ни ванной, ни душа - но все это тогда казалось такими мелочами, на которые не стоит обращать внимание. И был еще один ориентир у моего дома: над сараем в саду возвышалась видная даже с моего дока зеленая башня. У прежних хозяев была в ней голубятня. Теперь она пустовала, и я забирался туда, что-

бы побыть в тишине и написать несколько строк в своем блокноте. Голубей не было не только у меня, я ни у кого в поселке их не видел. Много позже мне рассказал старик-сосед, что все голуби были уничтожены в сорок восьмом году по особому указанию. Тогда землю эту, освобожденную от прежних жителей, срочно заселяли переселенцами из разных российских и белорусских областей. Осваиваться на новом месте было тяжело. Жалобы на жизнь из писем переселенцев вымарывала цензура. Но голуби были не подвластны никаким ведомствам. Голубиная почта была свободна от цензуры. Могла эта почта остановить тех, кто сюда собирался переехать... Бедные голуби, если бы я знал об этой истории, я завел бы новых и впустил их в пустующую голубятню... Их воркование не помешало бы моим записям...

Печальную историю про голубей подтвердил и мой помощник, которому я был благодарен за квартиру. И ещё во многом я к его советам прислушивался. Образования у него не было, выручала смекалка. Так сложилось - до войны он едва успел окончить курсы трактористов, как пришлось взяться за винтовку. Пятнадцатилетним пацаном ушел в партизаны и там прославился как ловкий и незаменимый разведчик. Его схватили в родной деревне по доносу полиция и, приговоренный к расстрелу, он провел страшную ночь в подвале комендатуры, а под утро нашел силы выломать решетку и, протиснув свое истощенное тело между сломанных прутьев, бежал. Обо всем этом я знаю смутно, потому что мой помощник не любил мрачных воспоминаний. Охотнее он рассказывал о наступлении в Пруссии, о том, как им однажды досталась цистерна спирта, и как после легкого ранения его оставили в тылу комендантом небольшого хутора, где на полях работали женщины всех национальностей, а из мужиков был он один.

Он, стармех, боцман, да и многие другие доковики были в числе первых переселенцев, и на заводе именно они наладили оставленное немцами хозяйство. Рассказывал мой помощник, что когда пришли они сюда - все было цело, в раздевалках даже пакеты с бутербродами лежали. Вот ведь чудно, говорил он, город англичане разбомбили, растелебахали, как бог черепаху, а завод не тронули, для чего сберегли? Для меня в этом тоже своя большая загадка. Ведь, знали, что город к нам отойдет... Центр города - сплошные руины. Мстили за Ковентри, так я читал в одной книге... Да и мы не спешили здесь ничего восстанавливать. И реку вот загрязнили. Когда мой помощник сюда приехал, прямо с доков можно было нырять - вода чистейшая была. А теперь бревна, щепа, мазут. Дежурные наши постоянно с баграми ходят вдоль пирса. Мой помощник по вечерам их проверяет, может даже ночью нагрязнуть. На все его хватало. Новую свою квартиру он отделал, словно игрушку, но не сиделось ему дома.

Он скучал по рабочему поселку и иногда забредал ко мне вечерами с бутылкой в кармане. Однажды, когда мы уже заканчивали трапезу и вышли во двор покурить, увидели мы дым, тянущийся узкой полосой к темнеющему вечернему небу. И мой помощник точно определил - доки горят. Ах, как мы бежали с ним через поле, наверное, рекорд поставили. И успели вовремя, только - только занялся пожар в трюме корабля, стоящего в доке. И сварщика из трюма смогли вытащить, и дыхание ему искусственное сумел сделать мой помощник. Все он умел. И меня учил не назойливо, а напротив, всем говорил, что сам у меня учится.

И составили мы с ним такой тандем, от которого все заводское начальство вздрагивало. То придумали леса передвижные - из списанного грузовика смастерили, то заду-

мали корабли без клеток - по-мальтийски - в док ставить на одних распорах. Бруса сэкономили - на целый поселок новый бы хватило, да и при таком способе все днище можно было выкрасить. Ведь, когда на клетках корабль стоит, те места, где к клетке прижался корпус, так и остаются не очищенными. Мальтийский способ, конечно, опасный. Не доглядишь - распоры, как спички с треском лопаются и в стороны летят. Грузовик тоже - дело хлопотное. Вот начальство заводское и бегало от нас, как от огня. Мало ли что еще придумают. Меня тогда усталость, словно не брала вовсе. После ночного докования душ приму, запрусь в каюте и пишу, буквально, по живому следу.

В то время появились в печати первые мои рассказы, и я сдружился с молодыми поэтами, жаждущими, как говорил один из местных литературных мэтров, выпить и стих напечатать. Все они были бездомные, общежитские люди - и моя квартира стала местом сборищ и поэтических баталий. Изоляция в комнатах была сделана на совесть, да и жили вокруг не какие-нибудь сексоты и чинуши, а наши заводские парни - так что могли все собиравшиеся у меня произносить, не опасаясь, самые крамольные речи и кричать во всю силу своих легких - никому до нас не было дела. Трамваи тогда до завода не ходили, автобусы ездили очень редко - гости наши засиживались за полночь - и приходилось укладывать их на полу, постелив на него все имеющиеся у нас одежды. По утрам всех будил наш мальш, он тряс сетку своей самодельной кровати и возвещал, что магазин уже открылся. Походы моих друзей за бутылкой были и для него весьма желанны, потому что редко кто из них забывал дополнительно к бутылке купить и шоколадку. Долгие застольные разговоры на кухне утомляли меня, я ведь в отличие от молодых поэтов, пробавающих случайными заработками, стабильно рабо-

тал в доках, а потому - если это был будний день - я засыпал в уголке у печки под ритмичное мычание стихотворцев. Не знаю, как все это выдерживала жена, но виду она не подавала и всех старалась приветить. Мало того, что они приходили сами, они притаскивали в дом и своих очередных пассий, и еще регулярно выискивали какую-нибудь знаменитость - заезжего гостя из столицы, художников из Литвы, бродячих музыкантов из Полесья, и даже больших литературных мэтров, изредка посещавших наш город. Кто только не перебивал в этом доме на Шпандинне! На полу у нас не раз ночевали и знаменитый морской поэт, первое стихотворение которого напечатал еще до войны сам Маяковский, и будущий автор многочисленных детективных романов - уже в те годы обладавший непомерно большим животом и невероятным апломбом, и не просыхающий московский поэт - секретарь правления писательского, известный тем, что приехал на одно из заседаний этого правления на зебре, а на замечание начальника своего, автора гимна и создателя дяди Степы, что, мол, ты не мог найти другой транспорт - ответил - я думал, что это такси. О каждом из тех моих гостей можно рассказать много легенд, как связанных с моим домом, так и свершенных вдали от него.

Были у меня трое друзей, которые чаще других и дневали и ночевали в доме на Шпандинной. Один из них рыжеволосый и несмолкающий атлет, забросивший спорт, лидер тогдашней диссидентствующей братии заполнял пространство моей квартиры звонкими чеканными стихами. Все свои стихи и стихи своих коллег он знал наизусть. Крамольные его речи заставляли вздрагивать и оглядываться даже тех, кого он считал своими единомышленниками. Он разил несогласных с ним не только словом, он мог запросто оторвать от пола очередного поэта,

приподнять его на вытянутой руке на высоту своего двухметрового роста и раскрутить под потолком. Его стихи печатались в центральных журналах, он прошел ленинградскую школу и любил поучать других. Прозвище у него было - Корней. Помню, когда умер Чуковский, и мы выпили за помин души человека, скрасившего наше детство мухой-цикотухой, этот мой друг горестно произнес: «Один я теперь остался!»

Он мало кого признавал из живущих поэтов, не говоря уже о местных мэтрах. Исключение он делал только для меня, незаслуженно восхваляя мои первые рассказы, и для другого моего друга - тоже поэта. Поэт тот был много тоньше и значительно ниже ростом, чем Корней. И Корней опекал его. Тщедушный, похожий на нахохлившую птичку, поэт этот для солидности отрастил большие усы, но даже эти усы не могли перевести его из разряда начинающих поэтов в разряд узаконенных. Побывавший в нашем городе любимый нами поэт Борис Слуцкий написал стихи о нашем поэте, где были такие строчки: «Вот чужие стихи поучишь и билет конечно получишь». Предсказание это сбылось не очень скоро. Да и не рвались мы тогда ни в какие писательские союзы, понимали всю их ложь и плебейство. Усатый поэт пил в то время, не просыхая. Приходил пьяный в дом на Шпандинную по ночам. Садился у нашей кровати и клял свою жизнь, и успокаивался только тогда, когда я или жена гладили ему уши. Потом, когда поэт стал ходить в море, его возвращения после дальних рейсов содрогали наш дом песнями и непрекращающимися плясками. В первые недели после своего прихода из морей поэт приезжал на Шпандинную только на такси, когда деньги кончались, всегда выискивал странных попутчиков или шоферов, которые, сжалившись над пьяным, бормочущим складные стихи, привозили его в

наш дом по ночам. Однажды он подъехал на мусоровозке и даже уговорил мрачного бородатого шофера этой пахнувшей дерьмом машины довезти нас до Москвы. Мы распили бутылку, и я стал собирать чемодан. Но поэт с шофером слишком громко пели. Проснулась жена и расстроила наши блестящие планы. В больших дозах этого поэта трудно было выносить. Выручало то, что он надолго уходил в свои рыбацкие рейсы...

Третий мой друг тоже писал стихи, в которых он, и дня не проживший без бутылки, обличал людей, склонных к алкоголю. «У витрины магазина «Соки воды и напитки» спит мужчина, спит мужчина, спит мужчина, как убитый», - декламировали мы хором его незатейливые вирши. Был он вовсе не поэтом, а мастером короткого рассказа. Это поняли все позднее. А тогда его рассказы никто не хотел печатать. Это были страшные свидетельства узника Маутхаузена. У редакторов и цензурных церберов они вызвали мелкую дрожь. Ведь у читателя могли, по их мнению, возникнуть аллюзии со сталинскими лагерями, к тому же, ни в одном из рассказов не была показана роль коммунистов в концлагере и те восстания, которые они готовили. Он сумел выжить в концлагерном аду, во-первых, потому что был боксером, а во-вторых, благодаря шахматам. В лагерном турнире он занял второе место и был освобожден от работы в каменоломнях, где даже бывшие боксеры не выдерживали и месяца.

Так сошлось, что все мы четверо были в прошлом заядлые шахматисты. И вот каждую новогоднюю ночь мы устраивали в доме на Шпандинной «Гастингский турнир». Самым азартным игроком был Корней, он радовался победе как ребенок, а если проигрывал, наливался кровью, сопел, переживал, обрушивался с едкими нападками на противника. Так что легче было ему проиграть, чем вы-

держат все это и довести до своей победы партию. Особо тратить нервы никто не хотел. Поэт-моряк вообще быстро уставал от игры и, склонив к доске свой длинный неоднократно переломанный нос, мог заснуть, не дождав-шись ответного хода соперника. Бывший боксер играл стремительно, с силой шлепал фигурами по доске. Каждый свой удачный ход сопровождал рюмкой водки, а после победы отплясывал джигу, используя шахматную доску вместо барабана. И я всякий раз мысленно благодарил немцев, построивших в рабочем поселке дома с очень толстыми стенами...

И все же время подтачивало и самые толстые стены. Потолок наш почернел от курева, полы поизносились от плясок, на стенах отклеивались обои, - и стало видно, что мелкие трещины расползаются по стенам во все стороны. Надо было делать ремонт. В те годы что-либо купить в магазинах было почти невозможно. Даже слова такого купить не употребляли - говорили: достать. Достать гвозди, достать краску, достать шпаклевку - на все это надо было потратить не меньше месяца, заранее заготовливая все необходимое для ремонта. Конечно, для меня проблема могла решиться много проще. Я мог бы, как и все рабочие нашего завода, позаимствовать все, что угодно, с его территории. Все так и делали, несмотря на строгость охранников и заборы с колючей проволокой, ограждавшие завод. И была даже поговорка: «Что нельзя вынести, то можно вывезти». Тем более, можно было использовать то обстоятельство, что я имел право давать разрешение на вывоз мусора, постоянно скапливающегося на палубах доков. В этот мусор и засовывали рабочие все, что надо было им для домашних ремонтов. Был и другой путь - в моем распоряжении были доковые буксиры, на которых вывозили не только доски и краску, но и готовую мебель.

Но дело в том, что я был всегда противником воровства и сам строго следил за тем, чтобы мои рабочие не растаскивали то, что приготовлено не для ремонта их домов, а для постройки кораблей. Поэтому мне пришлось долго искать и краску, и цемент, и асбест, и другие материалы, прежде чем я смог приступить к ремонту. Покупал я это все тут же в рабочем поселке у рабочих нашего завода, так что, как не крутись, я все же невольно содействовал расхищению заводских материалов.

Банку белил я купил у доковского кочегара Слестюка, который продал ее мне за почти символическую цену в благодарность за то, что когда-то я сжалился над ним и не выгнал с работы как раз за белила. Он пытался вынести через проходную несколько банок, да к тому же был пьян. Пришел рапорт, его требовали уволить. Но у него было четверо детей, и я заступился за него. Он дал слово, что больше никогда не покусится на заводскую собственность. Но что стоит слово, когда надо кормить четверых детей...

И вот, когда все необходимые материалы были куплены, в одно из воскресений августа мы начали столь долго оттягиваемый ремонт. Корней явился к нам, когда мы закончили белить потолок и готовились клеить обои. Квартира наша не была в этот день готова для приема гостей. Весь наш немногочисленный скарб был собран в кучу и накрыт клеенкой, постели закрыты газетами, на полу валялись обрывки обоев, мы с женой были в фартуках, заляпанных известкой. На нашу беду Корней не смутился царящим вокруг хаосом, быстро переоделся, а вернее разоблачился, оставшись в трусах и в майке, и ринулся помогать нам. Мы обрадовались и попросили его поддерживать полосу обоев сверху, ему для этого не надо было вставать на табурет. И только мы примерились к стене, только приложили намазанный клеом кусок обоев, как

Корней резко отстранился, и вместо того, чтобы держать обои, бросил их на пол. «Ты что, Корней?» - удивленно спросил я. «А ты не видишь? - воскликнул он. - Разве на такую стену можно клеить обои? Поверхность надо подготовить! Ты видишь трещина! Ее нельзя никак оставлять! Надо зашпаклевать! У тебя есть шпатель?» Возражать ему было бесполезно, к тому же он обладал не только поэтическим даром, о нем говорили еще и как о хорошем инженере-строителе.

Ну что же, ему виднее, решили мы. Да и трещинка на стене действительно была, тонкая, как паутинка, но длинная почти от потолка до пола. Шпателя у нас не нашлось. Корней вооружился топором, стамеской и ломиком и стал готовить трещину к замазке. Мне с женой он велел сделать раствор, подробно объяснив в какой пропорции следует добавить цемент, сколько взять песка и воды, при этом он попросил достать особый белый цемент. И мы долго ходили по соседям в поисках этого цемента. Когда мы вернулись, квартира наша напоминала поле жарких сражений. Пыль столбом, осыпаящая штукатурка, и в этой известковой пыли обнаженный торс Корнея, усиленно колотящего в стену топором. Тонкая трещинка под его ударами превратилась в зияющую щель, сквозь которую врывался в комнату луч августовского солнца. Опоздай мы еще на немного, и дом рухнул бы. Мы в один голос стали кричать, пытаясь остановить его прыть. Это было почти бесполезно. И все же - нам удалось спасти дом. Вернее не нам, а очередному нашему гостю. Это был тоже поэт. И он явился издалека. Пришел в наш город пешком из Одессы, где он был изгнан из духовной семинарии. Как и подобает семинаристу - он весь оброс, и теперь напоминал древнего пророка. Длинные волосы закрывали его спину, клочковатая борода была вздернута кверху. Корней, отки-

нув в сторону топор, тотчас начал читать ему стихи. Бывший семинарист охал от восторга и прыгал вокруг Корнея. Потом и сам стал читать стихи. И так под ритм их виршей мы с женой замазали щель и стали клеить обои. Ремонт и чтение стихов продолжались до утра...

Разных гостей видал дом на Шпандинной. Были и такие, что задерживались надолго. И я немало справедливых и горьких упреков выслушал от жены. После одного из таких гостей я стал более осторожным. Был это мой давний товарищ, к пишущей братии он сам не относился, но литературу, как мне тогда казалось, любил искренне. В то время он ходил в море судовым механиком, и после очередного рейса явился ко мне с небольшим чемоданчиком и рассказал грустную историю о том, как жена его, не выдержав длительного отсутствия, спуталась с его же товарищем. Устроив у себя дома скандал, он больше не мог там находиться, ему негде было ночевать. И мы сжалились над ним. Был он вовсе не похож на судового механика. Грузный, сонливый, с уже наметившимся животом, он никак не мог разместиться на раскладушке, которую мы взяли у соседей. Всю ночь он ворочался и вздыхал. И очевидно отсыпался, когда мы уходили на работу. Отсыпался и много читал. Я заметил, что он почти все мои книги снимал с полок. Потом я стал замечать, что мои рукописи лежат не в том порядке, в котором я оставлял их. Это мне не очень нравилось, но выговаривать ему за это я не стал. Все, что не подлежало чтению чужих глаз, лежало у меня в доковой каюте, где, собственно, я и написал все мои тогдашние рассказы. И даже ту повесть о доках, которой впоследствии пришлось пятнадцать лет ждать своего издания.

Прошла неделя, настала другая. Гость явно загостился. Намеки жены моей он не воспринимал. Но с другой стороны ведь и помощь была от него немалая. Гулял он с на-

шим малышом. Отводил его в садик и забирал из садика. Починил забор у наших окон. Так что, терпели мы его.

Но в один из вечеров все раскрылось. Пришла жена мрачнее тучи. Губы поджала. С гостем нашим ни слова. А когда пошел он в магазин, сказала мне: «Видела я подругу его жены, представляешь - жена ждет, не дожидается его прихода из рейса, вся истосковалась, а этот подонок у нас на шее сидит!» Я попытался защитить гостя - мало ли что бывает, в каждом доме свои мыши, подруга может и не знать всего. Но не прошло и часа, как я понял, что неправ.

Когда вернулся наш гость с бутылкой, тотчас жена моя под каким-то предлогом покинула нас. Мы выпили. Я молча рассматривал его лицо, и чем больше я вглядывался в него, тем сильнее понимал, что человек этот несет в себе нечто дьявольское. Были у него белесые глаза, и губы кривила ехидная улыбка, и расселся он в нашем единственном кресле как хозяин. И пошел он в тот вечер ва-банк. «Мне нужна рукопись твоей повести о доках! Дай мне ее почитать!» - неожиданно сказал он. Я объяснил, что никому не даю незаконченных своих вещей, вот отработаю, напечатают и тогда прочтет он. «Не напечатают, - сказал он, - пока не дам я заключения своего, не напечатают... » Глаза у меня расширились, весь я напрягся. Да кто ты такой, чтобы делать заключение! «Лучше это сделаю я», - сказал он и по-барски откинулся в кресле. «Да пошел ты к трепаной гавани, моряк липовый!» - не выдержал я. Он медленно встал, взял свой чемодан и уже у двери произнес с угрозой: «Тебе же будет хуже, я бы сделал по старой дружбе хорошее заключение! Жди других гостей! Они церемониться не будут! Они тебе весь дом перевернут!»

Угрозы его оказались напрасными. Никто не пришел, и обыскивать дом не стали. Я сам, дурачок, снес свою повесть в издательство. Признания хотел. Вот, думал, напе-

натают, и все обо мне заговорят. А издатели мои, верные церберы, сами эту рукопись, куда нужно, отнесли. И было там какое-то постановление - чтобы никогда меня не печатать за то, что поливаю я грязью рабочий класс и смеюсь над высокой ролью партии. Так что, может быть, зря не дал повесть почитать подосланному в мой дом «моряку-механику». Не хотел я никаких услуг от сексотов. И лучше уж явный враг, чем скрытый.

И решили мы быть не столь радушными и не давать случайным знакомым приюта под нашей крышей. Однако легко давать обеты, но трудно их исполнять. Не в Англии ведь живем. Это там: мой дом - моя крепость. А у нас любой к тебе входит, когда ему вздумается. Друзья стучат монетками в окно по ночам -пусти. Приходит сосед - скучно ему, с женой поругался. Приходят доковые рабочие: займи на бутылку. Звонят настойчиво в дверной звонок всякие проверяющие из жилищных контор: то показания счетчика надо сверить, то с постановлением новым ознакомить, то на субботник приглашают, то штрафом очередным грозят. Деревья все у дома пересчитали. Налог ввели за деревья. Застучали топоры в поселке - рубят яблони, груши, вишни. То сарай решили снести, то заборы убрать. Хорошо, что народ у нас в рабочем поселке инертный и строгость законов облегчена их неисполнением. Не стали мы деревья рубить, что мы, варвары? А через год - отмена этих глупых налогов. Мы сохранили свои вишни, а в соседнем поселке, словно Мамай прошел - пеньки торчат. Потом новая напасть - стали расползаться по поселку слухи - будут наши дома на капитальный ремонт ставить, а нас в заводские бараки переселять. Дома то старинные, неизвестно, сколько лет в них прежние хозяева жили - с их немецкой аккуратностью, возможно, и полста лет, да и наши уже не

один десяток. Стали мы готовиться к переезду, но миновала нас сия чаша, не выделили деньги на этот капитальный ремонт, оставили нас в покое. Правда, пришлось самим многие прохудившиеся трубы и стоки менять, ну к этому нам не привыкать.

Конечно, старые дома надо ремонтировать, надо все содержать в порядке. И весь город наш можно было восстановить, придать ему настоящий европейский вид. Но никого это не заботило. Сносились развалины, стиралось прошлое. Был взорван Королевский замок. Прочные стены и башни, уцелевшие в сорок четвертом году после августовских налетов английской авиации, осели и превратились в груды кирпича и камней - и не стало у города исторического своего центра. Добился тогдашний партийный бонза своего - уничтожил «гнездо фашизма». Зато приобретал город свой совковый вид - возводились стандартные хрущевки, обвешивались плакатами, обещающими скорое построение коммунизма и рай в отдельно взятой стране.

Забегая несколько вперед, поведаю об одном примечательном госте из прошлого, вернее, даже не о госте, а о прежнем обитателе нашей квартиры. Случилось это уже в те годы, когда рухнул железный занавес, и в городе нашем появились иностранные туристы. В основном, это были немцы, родившиеся когда-то и жившие в нашем городе. По улицам зашуршали двухъярусные автобусы, зазвучала повсюду немецкая речь, и настала светлая пора для уличных мальчишек, получавших марки за любые старые черепки и даже осколки посуды, найденные в развалинах. Пора этого мирного немецкого пришествия называлась ностальгическим туризмом. Ухоженные молодящиеся старушки, поджарые, со вкусом одетые старики бродили по улицам, выискивая дома своего детства или места, где эти дома стояли. Это

была их родина, их потерянный рай. И как нашим старикам-коммунистам правление кавказского горца кажется не столь уже страшным, а напротив, победительным, так и им, наверное, вспоминалось гитлерюгендовское детство не только как пора уничтожения, но и как годы постижения окружающего мира, годы веселых игр и скаутских походов. Конечно, им очень трудно было узнать свой город, свои улицы, они разворачивали старые карты и с немецкой педантичностью обмеряли шагами пространство, чтобы выйти к пустырю, где когда-то стоял их дом, или найти в парке культуры и отдыха, возведенном на месте городского кладбища, обломки могильных плит своих родовых захоронений. На лицах их нельзя было прочесть разочарования или горести, они приветливо всем улыбались, открывая ровные ряды искусственных зубов, и на все вопросы отвечали - «зеер гут» и даже по-русски это произносили - «очен ест карашо!»

2 И вот в один из сентябрьских вечеров к нашему дому подкатила обтекаемая, как акула, длинная серебристая машина, из которой вышел долговязый лысый немец с ухоженной бородкой, на груди которого висели два фотоаппарата и видеокамера. Я наблюдал из окна, как он вышагивал вдоль покосившегося забора, как потом в течение минут десяти щелкал своим «кодаком». А затем слышался осторожный стук в дверь. Звонок у нас в то время оборвали, и немец, очевидно, перед тем как постучать долго нажимал на бездействующую кнопку.

Когда он вошел и застыл на пороге, улыбка сползла с его лица, и глаза его увлажнились. Я не сразу понял, с чем связано его явление в наш дом. В школе и в институте я учил немецкий язык. Учил, но так ничему и не научился. Уроки немецкого были почти необязательными, мы открыто презирали «немку», пытавшуюся заставить нас произносить чуждые нам слова. Было послевоенное время, и

слово «немец» еще не отделено было в нашем сознании от слова «фашист». У большей части класса отцы были убиты на войне, многие ученики сами испытали и голод и бомбежки. В институте мы тоже игнорировали занятия, покупали газеты на немецком и русском языке, и по ним вполне спокойно сдавали «тысячи». И знали твердо - никогда в жизни нам чужой язык не пригодится, никто нас не пустит за границу, да и к нам тоже никого не пустят. И не мечтали мы даже, и не надеялись, что на наших глазах рухнет империя. И предскажи мне кто-нибудь раньше, что я буду запросто сидеть в своем доме за столом с немцем, я бы никогда не поверил. Но вот свершилось...

Откуда-то издалека, из глубины сознания пришли немецкие слова, я с трудом, но все же начал понимать странного гостя. Оказывается, он жил здесь, в этой квартире, и его фатер работал на Шихау верфи в доках, там, где сейчас работаю я, и что давно уже нет отца, нет и старших братьев, он остался один из тех, кто помнит этот дом, и что всю жизнь он мечтал взглянуть на этот дом, на вишни под его окнами, на сарай с голубятней. Я постарался перевести весь его рассказ жене, и она сразу засуетилась, стала убирать одежду, раскиданную на стульях, сложила в стопку книги, разбросанные по столу, достала белую скатерть, чтобы закрыть крышку стола, измазанную чернилами.

Мы усадили немца в единственное имевшееся у нас кресло, мы достали из холодильника все, что могли, к счастью, была у нас и бутылка водки. Немец вышел к машине и принес объемистый рюкзак, из которого стал вынимать различные баночки и коробки в яркой цветной упаковке, и их было так много, что места на столе не хватило. А потом он стал вышагивать по квартире и то прислонялся к стене, то утыкался лбом в стекла, и все время вздыхал. И я увидел нашу квартиру его глазами. В одной комнате, ус-

ловно спальней, стояла металлическая койка и около нее старая облупленная тумбочка, стопки книг и журналов служили стульями, в большой комнате - старый круглый стол, кресло с протертой обивкой и кровать сына, из которой он давно уже вырос, и потому к ней были приставлены два деревянных табурета. Довершал нашу обстановку старый телевизор «Горизонт» - наша гордость, подарок тещи. Телефона не было, душа и ванной тоже.

На кухне немец, которого, как я теперь узнал, звали Томас Дитмар, показал мне отверстие в полу, оказывается, здесь был слив, и у них здесь стояла ванна, возможно, эту ванну сдали на металлолом те, кто жили здесь до нас. К чему ванна, если нет горячей воды. У них, у немцев, оказывается, и горячая вода была, стоял у печки бачок. Ну и конечно - чистота и порядок были, которые нам и не снились. Это я потом понял, когда стал выездным и побывал в немецких домах. Везде у них был «орднунг», везде они обосновывались обстоятельно. Мы же продолжали жить как временные общежитские жильцы.

Немец есть немец, он сумел скрыть свое минутное отчаяние и испуг от увиденного, слово «шрекlich», то бишь ужасно, лишь однажды сорвалось с его тонких губ, полускрытых бородкой. За столом он беспрестанно нам улыбался и постоянно произносил свое любимое - зеер гут! Мы выпили по рюмке за встречу, потом помянули наших отцов, потом выпили за хозяйку дома, потом за мир и дружбу. Но, как говорится, что русскому здорово, то немцу смерть. Я поздно понял, что мой Томас захмелел. Наверняка в своей Германии он никогда таких доз не принимал и сейчас не рассчитал свои силы. Язык его стал заплетаться, на лбу выступил бисер пота, лицо побледнело.

И случилось то, что я больше всего опасался - нагрязнул Корней с двумя бутылками, и, узнав, что перед ним

настоящий немец сразу ринулся в атаку. Корней был ранен в ногу, когда бомбили детский сад. Он засучил штаны и стал показывать свою голень, изуродованную ветвистым шрамом. Томас понял все без слов, стал что-то бормотать о том, как ужасна была война, как убегали они по косе, ему было тогда восемь лет, было холодно и на нем было летнее пальто. Я с трудом успокоил их, налил Корнею полный стакан, чтобы он сравнялся с нами и перестал будоражить свои раны. Я тоже мог предьявить свой счет, большая часть моей родни была зверски убита под Стрельной, и я тоже испытал страх смерти, лежа под пулеметным огнем. Но все мы трое были детьми тогда, мы были потенциальными жертвами. И вытащили счастливый билет. Мы живы, мы сидим за столом и можем общаться. Обо всем этом я пытался говорить. Но запаса немецких слов мне не хватало. Я не испытывал вражды к Томасу, напротив, даже какое-то ощущение вины закрадывалось в меня, вот мы сидим здесь, в его доме, мы изгнали его семью, мы лишили его родины. И в то же время - какая мизерная расплата за все. Как забыть, как сдерживать себя. Сумеет ли успокоиться Корней, не полезет ли с кулаками на гостя - от него всего можно ожидать. Но опасения мои были напрасны, после двух стаканов началось братание, а после полуночи они уже пели хором: «Ах, мой бедный Августин... » К тому же, оказалось, что Томас любит стихи. И он стал читать вступление к Фаусту, а Корней то же вступление в переводе Пастернака. И сходилась ритм, и сходились рифмы, и смысл был один и тот же...

Немец так и заснул за столом, сидя в нашем единственном кресле, жена накрыла его ноги зимним пальто, Корней по обыкновению устроился на полу, а я еще долго не мог уснуть и забылся в чутком сне лишь под утро. И все-таки не очень чуток был мой сон. Ибо, когда утром мы умылись

холодной водой и вышли покурить на улицу, мы увидели, что машина нашего гостя лишилась смотровых зеркал и дворников. Оставив Томаса, вздыхающего и охающего, повторяющего: «каине орднунг, каине орднунг» - мы с Корнеем бросились к поселковому магазину, где толпились местные алкаши в ожидании открытия. Мы кинули клич — нам позарез нужны зеркала и дворники на иномарку, мы готовы заплатить любую сумму. Через полчаса к нам привели Фирса, он работал когда-то у меня на доке, а теперь являл страшное зрелище - порванная куртка, здоровенный фиолетовый синяк под глазом, дрожащие руки. Фирс распахнул куртку и стал вытаскивать из-за пояса дворники и зеркала. «Прибью гада с одного удара!» - сказал Корней и сжал свои огромные кулаки. «Борисыч, - промычал Фирс, - да если бы я знал, что для тебя! Да я тебе сто дворников принес бы!» Ты гостя моего обидел, - сказал я. Фирс полез ко мне обниматься, Корней оттащил его.

Вскоре под взглядом изумленного немца мы прикручивали к его серебристой машине зеркала и устанавливали дворники...

Немец обнял нас, он благодарил, он говорил, что теперь обрел здесь, в России, настоящих друзей. И все же опять у него несколько раз прорвалось это его - кайне орднунг. Корней понял без перевода. Протрезвевший, он уже был не столь миролюбив. «Переведи ему, - сказал он, переведи ему, лысому черту, орднунг был в Освенциме, там все аккуратно складывали и сбритые волосы и зубные протезы, ничто не пропадало!» Я не стал переводить Томасу этих слов. А Томас понял одно - Освенцим. «О, дас ист шрекслих, дас ист шрекслих!» - забормотал он, усаживаясь в машину. Еще он пообещал писать и присылать посылки. Обещание он свое сдержал. Мы стали друзьями. И еще через несколько лет я побывал у него в Любеке,

в его доме, в его пятикомнатной квартире. Вот где был настоящий орднунг. У него - спальня, у жены - спальня, у него свои туалет и ванная, у жены - свои туалет и ванная, а кухня, где он нас принимал, была больше, чем вся моя квартира, вернее, чем вся его бывшая квартира. И была у него даже гостевая комната, и спал я там под почти невесомым, но очень теплым одеялом-пуховиком и вспоминал, как дремал мой Томас на Шпандинной в кресле, укрытый старым зимним пальто. Утром блаженствовал я в огромной ванной и вдыхал неземные ароматы немецких шампуней. И такой был орднунг в доме, что казалось, здесь и не живет никто. А мебель была такая, что я даже у наших обкомовцев такой не видел. Все это было в начале перестройки, когда пусты были наши магазины. Теперь такую мебель можно увидеть в любом мебельном салоне, но тогда мне все было в диковинку... И дом у него был - его крепость, и было в нем тихо и уютно, и никакие гости к нему не являлись без предварительного на то его согласия, и ночью никто не стучал в окно, да и сам он редко ходил к другим, и когда захотел показать меня своему товарищу - тоже бывшему кенигсбержцу, то долго и нудно договаривался - когда мы придем, что с собой принесем из еды, какую выпивку, сколько времени пробудем. И помнится, после того визита я сказал ему: «Скучно ты живешь, Томас!» - «О, натюрлих, - воскликнул он, - на Шпандинной есть весело!» Он уже немного научился шпрехать по-русски, часто вспоминал свое путешествие к нам, и то, как он выпил за ночь целую бутылку, и как воры сами вернули и дворники и зеркала. И еще он восклицал: «Вундербар!» Что значит - удивительно. Да, наша жизнь может многих потрясти, но только не нас самих...

И не только в Германии увидел я дома, которые могут быть личной крепостью, а не временным пристанищем.

Были и у нас в городе такие, а сейчас число их множится день ото дня. Но вернемся в те годы, когда их было не так много, вернемся в доперестроечное бытие. Настало тогда время, когда решил я переменить свою жизнь. Рассказы мои не печатали; завод, окруженный высокими заборами и колючей проволокой, утомлял меня; и я не без помощи одного своего друга, ставшего высокопоставленным чиновником, перебрался в рыбную промышленность. Мне страстно хотелось уйти в море, повидать другие страны, обрести свободу, избавиться от бдительного ока стукачей, не видеть тех, кто постоянно выкидывал меня из издательских планов. Но, прежде чем выйти в море, мне пришлось долгое время проработать в конторах, начальствовать над конструкторским бюро, даже стать помощником главного инженера по информации. Вот в этот период и попал под мое начало большой обкомовский босс, которого изгнали из красного здания неизвестно за какие провинности и который, как я знал из очень достоверных источников, был главным моим душителем. Но жизнь способна на любые повороты. И вот этот холеный, толстопузый властитель, а вернее душитель всех газет, изданий и журналов, волею начальства был направлен ко мне, чтобы теперь исполнять мою волю. Он подобострастно мне улыбался, почтительно называл по имени и отчеству, и когда я входил в общий отдел, где для него поставили столик, немедленно вставал из-за этого столика, ел меня глазами и готов был беспрекословно выполнить любое приказание. Что-что, а субординацию в обкоме понимали. Такой работник - мед для начальства. Поначалу он опасался, что я буду мстить, и всячески старался мне угодить. Он даже зазвал меня к себе в гости. В обкомовский дом, в тот особый район в центре города, который народ называл «дворянским гнездом», и в котором в тени каштанов, под охраной милиции,

светились таинственные окна тех, для кого коммунизм уже наступил.

В подъезде его дома милиционер почтительно отдал нам честь, и мы прошли по выложенной кафелем площадке к лифту. Лифт мой подчиненный открыл своим ключом, в кабинке не было обычных хулиганских надписей, мотор мягко урчал, вознося нас на самый последний этаж. В квартире мы сразу попали в большой холл, который я принял за гостиную, все стены здесь были уставлены книжными полками, стояли мягкие кресла и журнальные столики, двери из этого помещения раздвинулись, когда хозяин квартиры нажал на кнопки, и мы очутились в большом зале, где у стен стояли книжные шкафы, а на стенах висели старинные картины, изображавшие псовую охоту. Ничто меня так не удивило, как книги, потолки еще были здесь необычные, слишком высокие, а потому у книжных шкафов стояли изящные лесенки, чтобы можно было добраться до верхних рядов, где теснились тома в позолоченных переплетах. Чего здесь только не было - и старинные энциклопедии, и полные собрания сочинений, и даже Мандельштам, изданный в Штатах. Я обалдел от этого изобилия книг, я не мог оторваться от них и плохо слушал, что говорил мне хозяин, сервировавший стол старинной фаянсовой посудой. Я не представлял, как можно было достать такое количество книг и таких книг! Я, правда, знал, что в обкоме распределяли весь дефицит, что там можно было заказывать любую книгу, поступающую в магазины. Но такой дефицит!

В те годы я был страстным книжником, я находил хитроумнейшие пути для получения нужного мне тома, я простаивал ночами в очереди перед книжными магазинами, меня знали все книжные продавщицы города. Но моя библиотека меркла перед сокровищами моего подчиненного.

Меня притягивали старинные фолианты, я не мог догадаться - откуда они здесь. Я думал, что хозяин этих книг получил их в наследство от своих родителей. Потом он объяснил мне, что все это - трофеи. Он приехал в город сразу после войны, и тогда здесь в книгохранилищах бесхозно лежали не только немецкие книги, все здесь было. И старинные картины, которым цены нет, бесхозно висели на стенах полуразрушенных домов. Он даже сумел найти Брейгеля - подлинник! Все, как я понял из его рассказа, можно было спокойно брать. И если не ты, то возьмет другой. Никогда и ничему я не завидовал, но здесь, виноват, зависть подступила к самому моему горлу... «Берите, все, что угодно берите, вы можете всегда пользоваться моей библиотекой», - сказал хозяин дома, перехватив мои восхищенные взгляды. В тот день я унес от него «Бесов» Достоевского, дореволюционное издание и всю ночь читал мрачные пророчества гения.

Я бы мог еще долго пользоваться его библиотекой, если бы мне не пришлось уволить этого подобострастного и исполнительного чиновника. К сожалению, он попался не сразу. Сначала он выписал себе телефонный аппарат, обойдя меня, через начальника управления - аппарат этот он унес домой, потом у нас в печатном цехе стали исчезать фотопленки. Никто даже и подумать не мог, что этим занимается бывший обкомовский деятель, столь представительный и вальяжный. Ведь, когда морские механики приходили в наш отдел впервые, то обращались к нему за разрешением своих проблем, видя в нем самого главного здесь. Потом один из таких механиков, очевидно, желая продвинуть свое дело, принес обкомовцу ящик консервов. Я удивился, но не стал шуметь, и прозрел я только тогда, когда у нас исчезла кинокамера. Зачем ему все это было делать? - недоумевал я тогда. Ведь дома у него все было,

чего ему еще не хватало? И только потом, уволив его с треском по статье, несмотря на защитительные звонки с самого верха, я осознал - это просто нажитая в обкоме привычка, обычная клептомания. Если рабочие уносили с завода краски и гвозди из-за нужды, из-за того, что их было негде купить, то этот деятель просто не мог не воровать...

В душе он, наверное, смеялся надо мной, рассказывал жене, потягивая цейлонский чай из фарфоровых чашек, какой у него глупый начальник. Действительно, быть начальником и жить в рабочем поселке, в старом немецком доме, без ванны, без телефона, без горячей воды, колоть после работы дрова и носить уголь для печки - ну не глупо ли это!

Если бы он еще знал, что и из этой квартиры меня хотят выселить! Его ведь, когда изгнали из обкома, не лишили квартиры. А меня за то, что ушел с завода, решили выставить из дома на Шпандинной. Оказалось, что дом этот ведомственный. В те годы о приватизации квартир и слыхом никто не слыхал. Ушел с предприятия - отдай квартиру. Так закреплялись люди за одним заводом, всю жизнь работали там и ни о какой другой доле не помышляли.

Сначала мне пришла повестка из завкома, потом на завкоме меня долго уговаривали добровольно сдать квартиру и не доводить дело до суда, но я не поддался на их уговоры. И завели на меня дело в районном суде, и длилась эта судебная эпопея пять лет. Шеф нашей рыбной конторы опасался, что я сдамся и вернусь на завод, и в то же время квартиру сходу он не мог мне выделить, нужно было время. И он обучил меня, как это время выиграть. Несколько раз я не являлся на суд. В дни, когда назначалось судебное разбирательство, шеф отправлял меня в командировки на судоремонтные заводы Таллинна и Риги. Так мы выиграли год. Потом была зима - и в зимние месяцы ник-

то не имел право выселить меня. Потом я ушел на испытания лебедки в свой первый рейс на рыболовном траулере. Суд ждал моего возвращения. Я вернулся и взял двухмесячный отпуск. И все время мне приходили повестки. Все это стало напоминать «Процесс» обожаемого мной Франца Кафки. Помещение суда располагалось в полуразвалившемся старом доме, коридоры были забиты людьми, ждущими решения своей участи, полы заплеваны семечками, воздух спертый - не продохнуть. Никто ничего толком не может объяснить. Все время требуются все новые и новые справки. Создаются пухлые тома по самому пустяковому делу. Решение суда никогда не является окончательным - можно подавать апелляции во все мыслимые и немыслимые инстанции. Можно так запутать самое мелкое дело, что потребуются не один год, чтобы завершить его. С целью все запутать меня уговаривали нанять адвоката, даже знакомили с одним толстогубым и чрезмерно важным, который не проиграл ни одного дела. Но я решил сам защищать себя. На крайний случай у меня был припасен один крупный козырь. Цех наш доковый пару лет назад строил своими силами дом. Все мы после работы отработывали часы на стройке. И была у меня справка, что таких часов у меня набралось больше трехсот - а значит, завод был мне должен или оплатить их, или дать квартиру в этом доме. Квартиру я не получил, у меня она была, но и деньги я тоже не получал.

Несколько раз меня вызывала судья, ведущая мое дело. Расползшаяся дебелия женщина смотрела на меня невидящим взглядом своих голубых, возможно когда-то прекрасных глаз. Я думаю, у нее была большая и не очень счастливая семья. Она была зла на весь мир. Я ничего не сказал ей про справку. Она же нудным уставшим голосом читала мне морали: «Поймите, - говорила она, - вы же

образованный человек, вы - советский инженер, дом принадлежит заводу, у завода не так много домов, если в этих дома будут жить люди, работающие на других предприятиях, завод разорится, ему же нужно содержать эти дома, вам не стоит артачиться, надо немедленно выехать и освободить жилплощадь, по всем законам вы на нее не имеете никакого права... » Я пытался возражать ей, говорил, что дом не может принадлежать заводу, что дом этот завод не строил, что я даже знаю человека, которому моя квартира принадлежала раньше, я объяснял, что как молодой специалист был направлен на завод по распределению - и мне обязаны были представить квартиру, что я ушел с завода не в какую-нибудь торговую лавочку, что я работаю в рыбной промышленности, для которой завод и строит суда... Она ничего не слышала. В глазах ее стояла такая тоска, будто не меня, а ее ждали и суд и выселение...

Но все же, как я не тянул, а через год в солнечный майский день мне пришлось придти на суд, ибо была угроза, что меня доставят туда при помощи милиции. Пришла на суд и моя жена. Мы долго сидели в коридоре среди таких же, как и мы, бедолаг, ждали, когда подойдет наша очередь. Маленькие окошки, немые, наверное, с послевоенных времен, почти не пропускали солнечный свет, было полутемно, со всех сторон вздыхали, охали, о чем-то тревожно шептали. И вся эта атмосфера томительного ожидания так подействовала на жену, что глаза ее еще до суда наполнились слезами, и я пожалел, что не уговорил ее остаться дома.

В комнате, где происходил суд, было еще мрачнее, чем в коридоре. Вместе с нами вошли туда и представители завода - иссохший старичок в кителе, увешанном орденами, и бойкая рыжая женщина из завкома, ведающая жильем. Вот они-то вместе с судьей дружно накинулись на меня.

Обращались они с гневными речами и к народным заседателям, которые молча сидели за спиной судьи. Особо проявляла свою прыть рыжая женщина из завкома, она наседала грудью на судью, размахивала руками. Она обвиняла меня во всех немыслимых грехах, она выражала крайнее удивление тем, что такому человеку, как мне, был доверен доковый цех, она говорила о том, как длинна очередь нуждающихся в жилье и вспомнила о том, что квартиру я получил вне очереди и незаконно. Тут судья остановила ее, позвольте, сказала она, в деле имеется ордер, подписанный директором завода. Но рыжую трудно было успокоить. На смену ей пришел старичок, грозивший мне исключением из партии. Он взывал к справедливости советского суда и обещал, что не остановится и до конца обличит меня и дойдет до обкома, но добьется очищения партийных рядов от такого проходимца, который очернил заводскую жизнь в своих рассказах. «Это к делу не относится», - остановила его судья. А я не стал его просвещать в том, что к партии не имею никакого отношения. Судья начинала мне нравиться, она отбивалась от моих обвинителей, как от назойливых осенних мух. Но сопротивление ее не долго длилось. Она тоже стала настаивать на моем выселении. И тогда заплакала моя жена, заплакала навзрыд - и мне с большим трудом удалось ее успокоить. Что ты так разволновалась, говорил я, знаешь ведь народную мудрость - пока суд да дело... «Знаю, - вытирая слезы, сказала она, - и еще знаю: где суд там и расправа...» Может быть, права и она была, и понял я, что пора свои козыри употребить. Вынул я из кармана потрепанную справку о том, что я отработал часы на стройке цехового дома. Спокойно подошел к судейскому столу и положил эту драгоценную бумажку перед судьей. Она прочла и стала медленно наливать краской. Мои обвинители тоже

потянулись к бумажке. И вмиг отпрянули от стола, словно и не бумажка там лежала, а ядовитая гремучая змея. Все замерли, и в этой зловещей тишине судья заявила: «Суд откладывается до выяснения вновь возникших обстоятельств!»

Мы с женой вышли из сумрачного здания, вдохнули свежий воздух и улыбнулись разом. Вокруг цвела сирень, и воздух был упоительно свежим и вкусным. Мы словно вырвались из какого-то нереального мира в нормальную жизнь. Потом мне несколько раз звонили мои заводские обвинители и предлагали получить деньги за работу на постройке цехового дома - я отказывался. Был назначен новый суд. И тут подошло время моего второго длительного рейса. И шеф сказал: «Можешь быть спокоен, возвратишься и получишь ключи от настоящей квартиры, с центральным отоплением, понял!»

В море я всегда вырывался с охотой. Оно манило меня своим простором и кажущейся свободой, к тому же, я хотел познать мир. Так на несколько лет домом мне стал океан, квартирами - каюты на кораблях. И как сказал мой друг поэт: «И палуба была мне домом, моей страной, моей судьбой... » Какое это было счастливое время! Во второй свой рейс я вышел механиком-наставником, в штатном расписании непредусмотренным, а потому и каюты для меня не было, и поместили меня в запасную каюту, размещенную в судовой трубе. Вот такой был мой дом на водах. И все же это лучше, чем общая каюта, которая досталась мне в первом рейсе. Неудобств я старался не замечать. А преимуществ было - хоть отбавляй! Трелили мы у берегов Исландии в марте-апреле, и было у меня в каюте всегда тепло. Но главное, что меня особо радовало - расположение каюты выше всех палуб. Стоило приоткрыть дверь - и моим глазам открывалось

качающееся пространство вод и то взлетающая вверх, то опускающаяся промысловая палуба. Визжали троса, втягивался через слип серебристый, туго набитый рыбой, куток трала, пузырилась зеленая ячея. Я сбегал вниз - и поток бьющейся о палубу скумбрии несся мне навстречу. Весь свой восторг от встречи с морем я записывал в толстые тетради. И было так уютно писать за маленьким столиком по ночам, и такой полнотой всего сущего наполнялся я, когда выходил из каюты и смотрел на качающиеся в небе звезды, так было мне потом тепло в своей каюте, стены которой обогревались дымом, исторгаемым нутром нашего траулера, что и сейчас я понимаю - нигде мне так не писалось, как в том рейсе.

Потом было много других рейсов. И уже не простым механиком выходил я в море, а был среди тех, кто командовал и начальствовал не только над механиками, но и над капитанами. Состоял в так называемом штабе. И каюта была в моем распоряжении - на плавбазе. Отдельно - кабинет, отдельно - спальня с широченной кроватью, ванная - стены с голубым кафелем. И телефон был. В общем, на земле такой роскоши у меня не было и, наверное, никогда не будет. Но я, дурак, не пользовался благами, отпущенными мне судьбой.

В экспедицию входила не только плавбаза, порядка сотенных малых и средних траулеров и судов-кошелькистов добывали рыбу и сдавали на плавбазу. Вот и носился я от одного судна к другому, хотел все увидеть своими глазами, а не командовать вслепую по радио. Возносился в сетках над качающимися палубами, спускался по шатким трапам, даже перепрыгивал с борта на борт в штилевую погоду. И моим временным домом становились малые суда, где в лучшем случае я устраивался на узких диванчиках в каютах стармехов, а иногда и просто ночевал в радиоруб-

ках, где уснуть мне не давали треск морзянки и голоса вахтенных, прорывающиеся в эфир.

И моя большая каюта на плавбазе и все мои временные пристанища были частью большого общежития, покачивающегося на волнах. По ночам светящиеся иллюминаторы кораблей делали эти корабли похожими на дома. В этих, разделенных темными водами домах, кроме работы, шла еще и своя общежитская жизнь. Здесь томились и любили, ссорились и мирились, тосковали и радовались - и все это на виду у всех. Делились своими воспоминаниями - степень откровения та, что бывает в поезде или в больнице. Каюты не закрывались - замкнутая каюта вызывала подозрения. Любой мог войти к тебе в любую минуту - войти и рассказать свою жизнь, чтобы она стала частицей и твоей жизни.

В моей каюте на плавбазе в одном из рейсов прочно обосновался морской инспектор с необычным именем и фамилией - Филимон Перчик. Катер, доставивший его на плавбазу, долго догонял нас. Я заметил этот катер рано утром, когда рассеялась пелена тумана. Он мелькал вдали почти невидимой точкой, и лишь по бурунчикам, вспененным его ходом, можно было определить отделявшее нас расстояние. Плавбаза медленно шла к очередному кошельку, чтобы вычерпать пойманную рыбу, и не желала останавливаться. А может быть, капитан был осведомлен, какого гостя везут ему. Катер догонял нас полдня. И к обеду в кают-компанию появился смеющийся и беспрестанно говорящий Филимон. Мест свободных в каютах не было, и Филимон поселился у меня. Так моя квартира-каюта превратилась в коммунальную. Поначалу я даже обрадовался соседу. Он легко сошелся не только со мной, он со всеми легко сходил. Он был опытный морской волк. Проверял суда на промысле уже не один год. Сразу же

высмеял меня, когда услышал о моих скитаниях по судам промысла. «Да разве так проверяют работу! - сказал он. - Имея такую каюту - шляться по малым судам! Учись у меня!» И в тот же вечер он преподавал мне урок. Когда к плавбазе пристал очередной траулер, Филимон по радиации вызвал к себе капитана. Капитан пришел к нам в каюту с портфелем, полным рома. Филимон с ходу стал его раздалбывать. «Почему на швартовку вышли люди без защитных касок? Почему не было нарукавной повязки у старшего? Почему не зачехлены спасательные шлюпки?» И только когда капитан раскрыл портфель, Филимон успокоился. К концу швартовки мы, как давние и закадычные друзья пели песни и клялись друг другу в искреннем уважении. Когда капитан ушел на свой корвет, я спросил у Филимона, откуда тот знает, что моряки были без касок. «А ты много здесь видел людей в касках?» - Филимон расхохотался.

В первые три дня я выслушал всю историю его жизни, в следующие три дня он начал повторяться. По ночам он долго не мог уснуть. Шарил в холодильнике. Открывал соки. Ставил кофейник. Осторожно подходил к моей кровати, ждал когда я открою глаза, чтобы в который раз повторить рассказ о своей неблагодарной жене, изменившей ему сразу после свадьбы, и о теще, не раз пытавшейся его соблазнить. Рассказы свои он подкреплял вещественными доказательствами - читал мне любовное тещино послание, потом вытаскивал из-за пазухи нейлоновый шарфик, подносил его к носу, вдыхал, полузакрыв глаза от удовольствия. Совал шарфик мне под нос. Шарфик этот был его жены. Понюхав шарфик, он начинал уверять меня, как безумно он любит свою жену, как он тоскует по ней.

Но стоило ему завидеть судовую буфетчицу, как он весь расплывался, ходил за ней следом, сопел и шумно втягивал

носом воздух, наполненный ароматом ее духов. И потом всю ночь мог говорить об этой буфетчице и о других женщинах, встреченных им на промысле. Все это я терпеливо выслушивал, но когда он стал бриться моими лезвиями и чистить зубы моей щеткой, сдерживаться становилось все трудней и трудней. Коммунальная каюта неминуема должна была привести к ссоре. Спас господин-случай. На одном из траулеров вышло из строя рулевое устройство. Я считался специалистом по таким механизмам и сам напросился, чтобы меня переправили на аварийный траулер... И когда я возвратился на базу, Филимона уже след простыл, и я вновь кайфовал в своих плавучих апартаментах...

Но как ни хороши плавучие дома, свой дом должен человек иметь на земле. И подошел мой черед получить его, обрести свою настоящую квартиру. И сказал шеф всего нашего рыбного управления: «Считай, ордер у тебя в кармане. Теперь нужно только решение суда о твоём выселении». Радостный прибежал я в суд, отыскал знакомую судью и оповестил о том, что выбрасываю белый флаг, что сдаюсь, что осознал - моя квартира принадлежит заводу. Невозмутимым осталось выражение ее лица, и тоска не исчезла из ее глаз. И объяснила она, что все не так просто - и суд не сможет вынести решения о выселении, пока завод не оплатит мне сверхурочные за работу на постройке цехового дома. Ну и пришлось побегать по всем заводским инстанциям - и обязательство я им писал, что отказываюсь от сверхурочных, и на заседаниях завкома клялся, что не имею претензий к заводу - ничего не получалось. И тогда решил наш шеф: «Да пошли они все в баню с их немывтым бюрократизмом!» Шла уже перестройка, рыбные конторы распались и я, можно сказать, вскочил в последний вагон. Еще бы протянул - и не видать мне ничего.

А так стал я обладателем цивилизованной квартиры почти в центре города со всеми удобствами. Но как быстро и незаметно пролетело время - пока ждали квартиру, сын подрос и даже женился, и даже внуки прекрасные появились. И опять новые проблемы. Опять коммуналка, опять общежитие. Да с родным человеком порой еще хуже, чем с соседями. От соседей закрылся в своей комнате - и не троньте меня, разговаривать с вами не хочу, но куда от родных денешься! Но и тут мне повезло - недолго мы мучились, у сына теперь своя квартира. И не зависим мы друг от друга. И рассориться не успели моя жена с невесткой, кратким был суровый период совместной жизни.

А сколько трагедий вокруг! Вот мой доковый механик Черкасский недавно встретился мне, рассказал про своего сынка. Бедный Черкасский, воспитывал он этого сына без жены, всю душу в него вложил. Я помню, приводил на завод мальчика - светловолосый, глаза большие, весь светится - словно ангелочек. И дом у Черкасского свой был - не то, что у меня - старый немецкий коттедж, каштаны под окнами, мебель немецкая старинная. Черкасский здесь сразу после войны обосновался, помощником коменданта был. Видел я его старые фотографии - русоголовый витязь, воин-победитель на фоне рейхстага. В нем и сейчас стать осталась, но лицо - как оно изменилось, морщины все изрезали, от былых кудрей - пучки волос на висках, и голос стал совсем тусклым.

Сели мы с ним под зонтиком в летнем кафе, взяли по кружке пива, потом повторили. И поведал он мне свою грустную историю. Живет он теперь в заводском общежитии. Лишился всего. Лет десять назад женился сын, привел невестку - маляршу из десятого цеха. Скандалить они начали с первого же дня, не ладилась у молодых жизнь. И однажды случайно подслушал он, как пилит на кухне

малярша сына, вот, мол, что это за жизнь - лучшая комната у отца твоего, я здесь и за кухарку и за уборщицу, смолит папиросы твой отец беспрестанно, и когда он еще подохнет неизвестно, сколько можно с ним возиться. Слова эти не так возмутили, как то, что сын не вступился, не одернул, а напротив, стал успокаивать свою маляршу - потерпи, мол, есть вариант - он человек заслуженный, в дом престарелых легко его будет определить... Ждать, когда его определят в этот дом, Черкасский не стал, сам предложил разменять особняк на две квартиры, жалко было, конечно, насиженного места, но что для сына не сделаешь - пусть живут. Разменялись - и года не прошло, как заявился сын в двухкомнатную квартиру к Черкасскому, пьяный, замызганный, голодный. Оказалось, выгнала его малярша. Ударил он ее сгоряча при свидетелях, едва от тюрьмы отвертелся. А теперь жить негде - ночует у товарища в общежитии, а малярша и туда жалобу написала коменданту - пришлось две ночи на свалке кантоваться. Конечно, пожалел его. Стали жить опять вдвоем. Пил сын много, девок с улицы приводил - покоя не было. Мало - девок, стали друзья к нему собираться наркоманы, в притон квартиру превратили, соседи в милицию писали, в райисполком. Стыда не обобратся. Мало этого, на отца родного руку поднял, до поножовщины дошло. И добились соседи своего - выселили решением суда, отобрали квартиру. «Жить мне больше не хочется, - завершил свой рассказ Черкасский, - если бы не общежитские мои - забоятся парни как об отце родном - давно б уже руки на себя наложил!» Стал я его утешать, как мог, говорил, что в общежитии, может быть, и лучше жить, чем одному даже в шикарном особняке томиться. Опустил он голову, прикусил губу и ладонью глаза прикрыл, чтобы я его слез не видел...

На старости лет остаться без собственной крыши над головой, без семьи - хуже не придумаешь. А сколько я таких бедолаг навидался, которым голову преклонить некуда. Многим приватизация квартир не на пользу пошла. Казалось бы, только мечтать об этом - теперь квартира тебе принадлежит, и никакое ведомство выселять тебя не посмеет, и детям своим квартиру оставишь, и продать можешь, а в другом городе купить. Вот из всех этих благ - продажа самой коварной оказалась. Попал я как-то в травматологию, навидался там новоявленных бомжей. Лежал со мной в одной палате Сеня-самолет, самолетами там называли тех, у кого рука поломана - ходят они, оттопырив эту руку загипсованную. Срослась у Сени рука быстро, пора на выписку, а он загрустил — некуда ему идти. Оказывается, свою квартиру в деревне он продал. Приехали к нему абхазцы - месяц обхаживали, поили и кормили, вот в пьяном бреду он все бумаги и подписал. «Куда же ты смотрел, - стал укорять его врач, - думать надо было! Хоть деньги-то сохранил?» Сеня нахмурился, потом махнул вылеченной рукой и признался: «Давно уж их нету тех денег... Но зато - вся деревня неделю не просыхала. Цыгане подкатали. Плясали и пели по ночам на взгорке, эх - пропадать так с музыкой!»

И как выяснилось податься ему некуда, дочь от него отказалась, жена давно на родину уехала, даже адреса не оставила...

И это сельский житель... Ведь как раньше в деревне за хату свою держались. Росла семья - пристройки делали, вместе все тяготы и преодолевали. И о домах для престарелых слыхом не слыхивали. Мы, горожане, тоже после войны жили все вместе - и родители, и тетушка, и дядя, и бабушка. Да и как смогла бы бабушка жить отдельно - ведь пенсии она никакой не получала. Не могли и мечтать о пенсии те, кто работали на селе.

А теперь все стремятся отделиться. Старики живут без детей и внуков. В рекламе - подряд объявления, по радио - с утра одно за другим. Заманивают одиноких пенсионеров «благотворительные» фирмы. Все немыслимые блага обещают - и содержать будут, и надбавки к пенсии дадут, и телевизор сразу в подарок принесут - только квартиру завещай. Если столько таких фирм добреньких развелось - значит, выгодно им это. Заключат договор и ждут, когда ты закончишь свое земное существование. Есть и другие фирмы, которые переселяют людей из центральных улиц в пригороды, особая охота идет за квартирами, расположенными на первых этажах. Здесь любые деньги готовы дать - все окупится, магазин будет там, где была твоя квартира. Во всех этих переселениях и завещаниях так легко лишиться своей крыши над головой, так легко попасть в хитроумные сети...

Одни теряют квартиры, других даже самые роскошные квартиры не устраивают. И вот, как грибы после дождя, вырастают повсюду особняки. Уютные двухэтажные домики, даже снаружи они радуют глаз. Нету ни одного похожего друг на друга. И крыши у них островерхие, черепичные, и башенки причудливые вершат эти крыши, и к подъездам ведут уложенные плиткой дорожки, и зелень аккуратно подстрижена - ну чем не Европа! А внутри все так обустроено, так отделано, так все блестит, будто и не в квартире ты, а в каком-нибудь музее. Картины на стенах, кресла старинные по углам, раковины и африканские маски за стеклами шкафов, зеркала огромные в холле, под домом - гараж, рядом - сауна, а то и бассейн, облицованный малахитом. Новые русские умеют жить! Многих это раздражает. Я тоже понимаю, что не праведными путями добыты деньги для всего этого обустройства. С любой даже министерской и депутатской зарплаты не наберешь сотен

тысяч долларов! И все же - украсили особняки город, именно в таких домах, а не в хрущевках должны жить люди. В будущем, возможно, так и будет. Большинство моих друзей в Швеции и в Германии живут именно так. И имеют даже не один дом, а несколько. Есть зимний дом - в крупном городе, есть летний дом - где-нибудь у моря или в горах, есть загородная дача...

Ну а мне пока хорошо и в моей квартире, мог ли даже мечтать о том, что будет у меня почти своя комната, свой стол - ведь мы как разделились, комната, где стоят наши кровати и телевизор, это для жены, а другая большая комната, где письменный стол и диван - для меня. Сиди, пиши в свое удовольствие, никто тебя не потревожит. Райская жизнь!

Мало того, что своя квартира есть, так и огород теперь свой завели. Почему-то называет его жена дачей. Может быть, и вправду - дача. Природа там великолепная. Далековато, но терпимо. Час езды на автобусе. Зато место рядом с излучиной реки, от реки отделено холмами, поросшими вишней и яблонями. Были здесь когда-то хутора у немцев. Теперь - все ничейное, а от хуторских домов только фундаменты остались. Удружил нас этот огород, вернее, участок земли под будущий огород, друг нашей семьи профессор университетский. Был у него в тех прекрасных местах свой участок, одному скучно ему там было, к тому же, он заядлый шахматист экстра-класса, и нужен был ему партнер. И вот на очередной мой день рождения преподнес он мне подарок - книжечку владельца шести соток земли. И стала моя жена заядлой огородницей, и вынужден был я вспомнить свое детство и взяться за лопату. А потом стали мы владельцами собственности. Дом построить нам было не по силам, и купили мы с профессором вагончик у военных. Однажды этот вагончик нас здорово выручил.

Приехали к нам в гости шведские писатели, были они в Литве на конференции и решили заскочить ненадолго к нам. Писатели, в какой бы стране они ни жили, пусть и в очень обеспеченной Швеции, народ небогатый. И я уговорил их - зачем вам гостиница, платить такие сумасшедшие деньги, ночуйте у меня. Они так недоуменно на нас женой посмотрели, но согласились. Мы засиделись за столом, много говорили. Один из них хорошо знал русский. Другие сносно - немецкий. Стемнело уже. Их было пятеро: довольно известный писатель-очеркист моих лет, молодой поэт-авангардист с женой, и невероятной толщины критик с обвисшими усами, похожий на кита, и еще одна детская писательница, рыжеволосая хохотушка. Поэта с женой мы расположили в нашей спальне. Детскую писательницу в моей комнате на диване, огромному критику соорудили постель на полу, а для детской писательницы я добыл у соседей раскладушку. Места же для нас, конечно, не осталось. И мы уехали последним автобусом на свой огород.

Был месяц май, не самое теплое время, но день выдался солнечный, и успели стены нашего металлического вагончика впитать тепло, и ночью мы не очень-то мерзли. Были в вагончике две койки, одна над другой, тесноватые, правда, но удобные. И везде были навалены и лопаты, и грабли, и прочий инвентарь, да еще и картошка была завезена для предстоящей посадки. Теснота - не пройдешь. И вспомнилось мне - ведь жили мы после войны всей семьей в таком вагончике - и ничего, всем хватало места. Просто опанели за эти годы, привыкли к удобствам. А здесь - ни туалета, ни умывальника...

Проснулись от холода. Вышел я из вагончика. Стелился над землей туман. Трава в крупной росе. И выплывали из тумана березы. Длинная цепочка деревьев вдали. А рядом

белым пламенем было охвачено дерево - это зацвела черемуха. И такой чистый был воздух - не надыхаться. Пошел я к колодцу, набрал холодной прозрачной воды. Жена полила мне из ковша. И все вокруг дышало такой первозданной свежестью, и так тихо было вокруг, что, казалось, одни мы остались в этом мире. И, не сговариваясь, побежали мы к реке, и там вода тоже была прозрачной, так что было видно, как мечутся в ней мелкие рыбешки. И запели со всех сторон птицы, встречая солнце, поднимающееся из-за зеленых холмов. « Ну вот, - сказала жена, - а ты клял профессора за то, что он подарил нам этот райский уголок! И вагончик не хотел покупать!» И я согласился с ней - как всегда, права. Должен человек, хотя бы изредка, почувствовать свое единение с природой, осознать, что он сам частица этого цветущего мира. Не хотелось нам возвращаться в город, но ждали нас там шведские гости - и помчались мы на такси, чтобы сэкономить время.

А гости наши уже проснулись и в магазин успели сходить, - и ждал нас роскошный стол и новые разговоры. И так были восторженны мои гости, и так хвалили наш дом, что я даже загордился - видите, как живет писатель, все у него есть. И только позже понял я причину их восторгов. Это уже в Стокгольме, когда сидели мы в кафе на центральной улице с писателем-очеркистом, бывшем у меня в гостях, а теперь радушно принимавшим меня. Кафе было расположено на десятом этаже высотного здания, сквозь широкие окна открывался вид на центр города, было здесь уютно, и были мы здесь только вдвоем, и никто не мешал нашим разговорам. И вспоминал мой шведский друг, как впятером они ночевали в моем доме. И я понимал, побывав в его доме, где в многочисленных комнатах заблудиться можно, где все обставлено шикарной мебелью, каким убогим показалось ему мое жилье. И понял, чему они радова-

лись тогда. Сказал он, когда допили мы ароматный кофе, что не было и не будет в его жизни такого прекрасного ночлега, как у меня, потому что вряд ли отыщется во всей Европе человек, который впустит в свой дом столько гостей, а сам уедет ночевать в вагончик... Так это в Европе, а то - Россия, сказал я ему...

Побывал я не только у него в гостях, был и в его загородном доме, обустроенном не хуже, чем особняки наших новых русских. Был я и у других писателей. И во всех домах поражали меня уют и стерильная чистота, и все те удобства, которыми обставляли жизнь мои коллеги. Я же так и не обзавелся приличной мебелью. Раньше ее некуда было ставить. Теперь она стала непосильно дорогой для меня. Да и не испытывал я никогда нужды в комфорте, есть свой стол, есть полки, полные книг, что еще нужно...

Приезжал ко мне в гости двоюродный брат из Питера, у него там, в северной столице квартира не хуже, чем у моих зарубежных коллег обустроена. Посмотрел он критически на наше жилье, сказал - так ты и остался, брат, общежитским человеком, живешь, будто временно в своем доме. К тому же, вызвало у него удивление обилие гостей - как раз так совпало, что именно в дни его приезда зачастили ко мне молодые поэты, и один даже ночевать остался. Но, к сожалению, так было только в дни приезда брата...

Нету уже давно в моей квартире таких бурных сборищ, какие бывали в старом доме на Шпандинной. Не стало давно Корнея, он умер от инфаркта в далекой литовской деревушке, нет и моего друга - узника Маутхаузена, тоже не выдержало сердце. С годами друзей не приобретаешь, а теряешь. Давно забыты и «Гастингские» новогодние турниры, теперь я играю в шахматы с компьютером, он безошибочен, экран его бесстрастен - и мои редкие победы не

приносят мне удовольствия. Я, конечно, ценю тишину, мне нужно уединение, но дом без гостей наполняется тоской...

Они живут в моих воспоминаниях, мысленно я продолжаю наши споры. Мысленно я не раз возвращаюсь в море, слышу шум волн, рокот судовых дизелей, томительные гудки расходящихся кораблей...

И для всех этих морских воспоминаний послана мне неожиданная радость. Буквально за месяц перед моим домом на противоположной стороне улицы выстроен гигантский супермаркет. Особенно я люблю смотреть на него ночью, когда выхожу покурить на балкон. Длинное его здание, высвеченное огнями, плывет в темноте, козырьки у входов так похожи на форштевни, маленькие светящиеся окна и не окна вовсе, а иллюминаторы. Мне все кажется - еще мгновение, и он начнет швартовку, и меня окликнут оттуда - готовься на пересадку, и я прыгну - и вот - под ногами палуба - крыша у супермаркета ровная, ну чем не палуба. Я стою и курю в ожидании этого момента, но стены-борта супермаркета остаются неподвижными. На стене красным светом сияет название - «Виктория». Недвижный корабль вписался в пространство, утром он наполнится людьми, вокруг него забегают машины и краны. И я с балкона, который превращается в крыло ходового мостика, буду наблюдать суету, подобную той, которая происходит, когда большая плавбаза пристает к желанному причалу. Мой дом тоже уже давно стоит на якоре, я достаточно попутешествовал, чтобы позволить себе ощущать под ногами ровный пол, а не качающуюся палубу, и все же я думаю - дом мой - ты последнее мое пристанище, или так - временная обитель...

## **МОРСКОЙ МОТИВ**

*Выхожу на берег и всматриваюсь в даль. Небо сливается с водой, и узкой красной полоской напоминает о себе закат. Скоро темноту прорежет луч маяка. И звуки наутофона наполнят ночной остывающий воздух. И мимо проплывут мои корабли: невидимая в ночи подводная лодка, юркий и низкобортный тральщик, мерно колышущаяся на волнах плавбаза, усталый и пыхтящий траулер. Никто на их палубах не вспомнит меня. В обшивке, на флорах и бимсах, возможно, записано воспоминание о моем имени. Можно еще раскрыть судовую роль. Но бумага так ненадежна. Рукописи не горят — утешение для тех, кто не признан. Берег лишен постоянства. Только море вечно, его нельзя поджечь. Раскаленное солнце садится по вечерам в его воды - и сразу остывает. В глубинах затаилась холодная тьма. Зато поверхность играет всеми цветами радуги, и бусинки брызг кидает в лицо морской ветер. Что я искал в этом безбрежном пространстве, меняющим свой цвет и подчиненным небу? Все острова и земли давно открыты. Я никогда не жаждал славы. Мне даровал свободу океанский простор и непрерывный ход волн. Я любил и желал море, как любят и желают женщину, таинственную и непостижимую. Однообразие дней, съедающих водную гладь, казалось бесконечным праздником. След за кормой, рожденный винтом, методично стирался, и волны вдали становились крохотной рябью. Можно было подолгу смотреть на пенные всплески и слушать затаенную музыку близящихся штормов. Этот рокот, как львиный рык, как содрогание гигантских китов, как сердцебиение вселенной. Шелестящая тишина на рассвете. Пространство, лишенное пе-*

ния птиц. Его заменяет ритмичный шум волн - богатырская симфония движущейся воды.

Все живое зародилось в морских глубинах. Младенец, едва покинувший лоно матери, готов безбоязненно плыть в родной стихии воды. Водобоязнь рождает наслоения скучных лет, отталкивающих от зеленых глубин. Раствориться в воде — не значит ли это вернуть свое первородство. Плыть, пока хватит сил. И сложить руки. На илистом дне открыть глаза и увидеть зеленые покачивающиеся водоросли, причудливые ветви кораллов и сияние перламутра огромных раковин. Засмеяться последний раз от щекочущего прикосновения маленьких рыбок - и устремиться вверх, и, вынырнув, жадно глотать воздух.

Только в море можно осознать, что значит для тебя земля. И когда после долгого рейса вдохнешь пряный запах трав и увидишь березки, растущие на берегу, ты предашь море и даже скажешь себе — зачем же болтался столько дней там, где не поют птицы и не пахнет полынью. Земля же еще долго будет качаться под ногами напоминанием о дощатой палубе. И ноги вспомнят тепло палубного настила и опять приведут в порт.

Как соединить все это в себе, как примирить воду, землю и небо? Надо придумать себе необитаемый остров, посадить на нем дерево у самой кромки прибоя и сидеть под зеленой кроной так, чтобы пятки лизал соленый накат. Сидеть и смотреть в небо, пока не осознаешь, что надо сделать плот. И только море может связать тебя с людьми. В ветреную погоду, когда море сливается с небом, и барашки волн пенят его, плот может превратиться в летучего голландца. И если ему придать скорость, он будет глиссировать. И тогда неизвестно: летишь ты или плывешь... И с тобою всегда горсть земли, в которой всегда можно вырастить не-

*большой цветок, если тебе опостылят розовые кораллы. Все это живет в тебе. И воспоминания и сны часто реальной той жизни, которую стараешься не замечать. И в комнате по ночам кричат надрывно чайки и раскрывают длинные узкие рты дельфины, чтобы поведать о таинствах и очаровании дальних странствий. И в подтверждение утром приходит открытка из Гаваны. Голубое лаковое море на этой открытке обнимает белый форт, и вдали призрачным пятном встает из вод твой корабль. Может быть, ты был на его борту, когда делали этот снимок, ты стоял на баке и смотрел на плывущий навстречу город, на его розоватые дворцы и гранитные набережные. Что теперь ответишь ты? Расстояния съедают слова. Остается одно — опять подняться по трапу и скинуть с кнехта пеньковый канат.*

*И вновь услышать, как в душе зарождается морской мотив.*

## **ВОЗВРАЩЕНИЕ**

Мы снялись с промысла. До порта оставалось десять дней перехода. Эти дни тянулись особенно утомительно, и казалось, им не будет конца. Время словно остановилось, и мы почти не двигались, затерянные в бесконечном водном пространстве. Где-то далеко позади остались шесть месяцев работы - тугие тралы, вползающие на слип, запах аммиака, жара, невыносимая духота мукомолки, шуршащие потоки рыбы и выматывающая душу качка. Позади просторы, где уже давно стерся наш след.

Весь рейс мы работали в тропиках, днем на палубе исчезала тень, и забортная вода уже слабо охлаждала постоянно молотившие двигатели. И только в каютах после вахты мож-

но было погрузиться в прохладу, рожденную кондиционерами, и всласть надышаться живительным холодом.

Теперь это все позади, дни удач и дни проловов, нервное ожидание плавбаз и танкеров, и ощущение полной заброшенности оттого, что никому на берегу уже не было дела до нашего траулера. Мы возвращаемся в неизвестность. Империя рыбацких контор распалась как картонный домик. Нашу морскую добычу уже никто не ждет. Но все равно мы возедем ее в порт по старой привычке. Мы не знаем, получим ли мы расчет, мы ничего не знаем...

Траулер наш, загруженный рыбой, глубоко осел в воду и зарывается носом. Встречный холодный ветер северного полушария дует в правую скулу, волны дыбятся у форштевня и веером брызг омывают палубу. С каждым днем становится все прохладнее. Чужие транспорты с голубыми и желтыми трубами тают на горизонте. Исчезают за кормой голубоватые берега островов - Канарские, Азорские...

В тропиках по вечерам мы собирались на баке, чтобы надышаться прохладой наступающей ночи, дарящей вздрагивающий свет крупных южных звезд, чтобы думать и говорить о мире, отвергнувшем нас. Теперь на палубе невозможно устоять, ветер гонит нас за надстройки, туда, где между тралами, сваленными в кучу, и мешками с рыбной мукой можно укрыться в затишье.

Здесь разгораются споры о нашей дальнейшей судьбе, о моряках, обманутых новоявленными фирмами, но в последние дни эти споры все чаще сменяют разговоры о женщинах. Я обычно сижу в сторонке, рядом со стармехом. Иногда он приносит гитару. Я люблю слушать его нехитрые песни и смотреть, как солнце погружается в океан и по воде разливаются красные полосы, как двигаются, переваливаясь на волне, суда, идущие параллельными курсами.

Я знал, что это мой последний рейс и мысленно прощался с морем. Господи, думал я, дай мне запомнить цвет воды и этот простор! И еще думалось, что все это уйдет вместе со мной и что рассказать об этом невозможно. Иногда мне казалось, что это не я стою здесь на палубе, подставив лицо ветру, и смотрю на мечущиеся от качки звезды, а кто-то другой, похожий на меня, а я существую совсем в другом измерении и просто смотрю фильм о человеке, очень похожем на меня, избравшем место не на привычной земле, а на шатких палубах рыбацких траулеров. Особенно это чувство не покидало меня, когда наш траулер дрейфовал в ожидании топлива и нас буквально преследовали штормы, и мой двойник, моя тень, с трудом передвигалась по судну. Суп выплескивался из тарелок, по ночам в каюте вещи выходили из повиновения, металась от переборки к переборке, а днем в рыбцехе так швыряло, что невозможно было удержаться на ногах.

Потом были тропики. Четыре месяца штиля и одуряющей духоты. И потоки рыбы, вздрагивающей, умирающей рыбы, и долгие стоянки в африканских портах, где никто не хотел нас снабжать и выпускать на берег. Всем были должны мы...

Неужели все это позади? Что ждет меня на берегу? Что ждет всех нас. Какой новой фирме продан наш траулер? Я не хочу видеть лоснящиеся лица новых хозяев... Не лучше ли ловить рыбу в тиши лесного озера...

Чтобы ни произошло - каждого из нас ждет женщина-наша последний и самый надежный причал...

До прихода в порт оставалось пять суток. В этот вечер мы, как обычно, лежали, затаившись от ветра, на успешных просохнуть сетях и бездумно смотрели в небо, где на темнеющем просторе возникали светлячки вечерних звезд. Ремонтный механик Кратюк сидел прямо на палубе, по-

турецки скрестив тонкие ноги. Истории он всегда рассказывал самые мрачные, говорил при этом медленно, бесстрастно.

- Я знаю такой случай, - начал он, - это еще когда я во Владике жил, там у нас целый микрорайон для рыбаков построили, и мне там квартиру дали, так соседка у меня была Саша, я с ее мужем на сейнерах ходил, красивая баба, плотная, то, что надо, Серега, ее муж, буквально молился на нее, а пришел с рейса - прихватил с соседом-штурманом, устроил Серега тогда погром, всю мебель, как есть, топором порубил, телевизор в окно выкинул, холодильник по лестнице вниз пустил, а ковер гибралтарский на лоскутья порезал!

- Это что, - поддержал разговор токарь, - вот у меня сосед шесть месяцев аттестат напрасно посылал, пришел с рейса - на буфете записка лежит: меня не жди, а записка эта уже пожелтела...

- Эх, - протянул Кратюк, - раньше нас хоть за аттестаты любили, а теперь - какой с нас толк? На кой ты бабе без баксов нужен?

- Кончай травить, - сказал стармех, - слушать вас противно!

- Спой лучше, дед, - попросил я.

Стармех пел хорошо, душевно. Он все умел делать здорово, за что бы ни брался. Закончил он песню лихим аккордом и улыбнулся. Его улыбка почему-то вывела из себя боцмана.

- Ползем, как черепахи, - сказал он, сдвинув белесые брови, а ты бренчишь здесь! Машину жалеешь, а твоя жалость у нас вот где! - И он провел ребром ладони по шее.

- Не для кого мне теперь машину жалеть, провались все пропадом! Завтра в Бискае будем, а машина здесь ни при чем, грузу новые хозяева затарили с перебором - от жадно-

сти, вот и идем свиньей, носом океан пашем, - объяснил стармех, стараясь говорить как можно спокойнее.

Небо совсем потемнело. Звезды от качки вздрагивали в нем. Белая, бурлящая тропка за кормой, оставляемая винтом, терялась в темноте, и вдали море методично стирало наш след. Все в природе было размеренно и спокойно, в природе - но не в наших душах...

К нам подошел рыбмастер Василь, рубаха у него была распахнута, а волосатая могучая грудь выпирала наружу. Василь после получения последней почты, которую передал нам траулер «Протей», из острослова и весельчака превратился в угрюмого, всех сторонящегося нелюдима. Говорил он все невпопад, и казалось, что все время он бродит по палубам после глубокого, затяжного похмелья.

- Расскажи, Василь, где ты спиртное достаем, открой секрет, - приставал к нему Кратюк.

- Не твое это дело, - буркнул Василь.

- Отстань от человека, - сказал дед.

Судно резко качнуло, рыбмастер упал на палубу лицом вниз, даже не пытаясь выставить руки. Стармех бросился к нему, помог подняться и повел в каюту.

- Убью, гадину, все равно убью!- крикнул Василь.

Стармех что-то говорил ему ласково, тягуче, пытаясь успокоить.

- Давайте фильм, что ли, закутим? - предложил боцман.

- Да ну его к аллаху, - сказал Кратюк, - надоело сто раз одно и то же смотреть, пошли лучше спать!

Когда все разбрелись, я тоже пошел к себе в каюту, разделся, лег, но никак не мог уснуть. Почитать было нечего, все, что мог, я уже прочел, всю судовую библиотеку, даже десятилетней давности подшивки «Огонька». Я лежал и думал о Василе, о своих домашних, и все время лезло мне

в голову библейское: не судите, да не судимы будете. А если бы мы остались на берегу, а жены ушли на шесть месяцев в море? Почему же столь строгие к ним, требующие абсолютной верности, мы сами-то никакой гарантии им бы дать не смогли... Ну, а если и меня ждет пожелтевшая записка, если надоело ждать, ведь это не один год, а подряд несколько лет, и обещания о том, что рейс последний, остаются только обещаниями... А сейчас там, на берегу, слишком много соблазнов, на все нужны деньги, а наша фирма даже аттестаты перестала переводить... Мы сами бросили своих жен в береговую пену... Зачем было все эти годы уходить в такую даль за рыбой? Разве мало у нас рек, разве нет озер, гнались черт знает за чем...

Я долго ворочался, и сон не приходил ко мне, тогда я спустился вниз по полутемным коридорам, плафоны светились голубоватым, неровным светом, от стука дизелей мелко дребезжали переборки.

Из салона слышалась тихая музыка, я пошел туда. Жужжал кинопроектор, и на экране улыбалась Доронина. В салоне было темно, и я никого не заметил. Ровные ряды столов со штормовыми портиками, вращающиеся кресла, абсолютная пустота. Только присев и пообвыкнув в темноте, я увидел боцмана, он сидел в углу, за проектором, и, подперев голову рукой, задумчиво смотрел на экран. Героиня фильма металась на полотне, говорила задыхающимся голосом, страстно шептала слова о любви. Я знал этот фильм почти наизусть. Особенно мне нравилось то место, когда Доронина разговаривает со шкурой медведя. Я дождался этих кадров и ушел.

Ночью мне приснился мой дом, в комнатах было полно гостей, и я почему-то никого не мог узнать, все это были незнакомые мне люди в долгополых красных пиджаках. Все они улыбались, оскалив желтые зубы, громко говори-

ли и перебрасывали друг другу зеленые хрустящие бумажки, а один из них, самый толстый, все время кричал: баксы, баксы... И мы с женой никак не могли остаться наедине. Жена ощупывала пальцами мое лицо как слепая, словно желая убедиться, что это именно я. Потом она стала целовать меня, и мне было неудобно - вокруг люди, а она нисколько их не стесняется, и халат у нее распахнулся. И я сказал: «Нельзя же так, они все видят!». «Можно, теперь все можно, разрешено то, что не запрещено, - ответила она голосом Дорониной, - ты ведь теперь не мой муж, ты вечный странник, а потому - еще как можно. Ты разве не получил моего письма, милый!». Кто же они? - спросил я и посмотрел на людей в красных пиджаках, столпившихся над нашей кроватью. « Это не важно, - ответила жена, - баксы делают всех одинаковыми». И я действительно с ужасом заметил, что у гостей нет лиц, просто какие-то провалы...

Голос старпома, раздавшийся в динамике, вернул меня к судовой действительности, каюта была залита солнечным светом.

В это утро мы вошли в Бискай. Обычно грозный залив, всегда со злобой швыряющий проходящие здесь суда, был на этот раз необычайно тих. Голубое, освещенное солнцем пространство окружило нас, попутный ветер прибавлял скорость. Все удивлялись, считая эту необычность Бискай хорошим знаком. Матросы, пользуясь тихой погодой, красили надстройки, они ловко орудовали катками, насаженными на длинные шесты. Боцман что-то кричал и суетился. «Идиотская выдумка, белить все перед приходом, - сказал он мне, - траулер, наверняка, новые хозяева спишут на металлолом!». Капитан молча стоял на мостике, посасывая свою неизменную трубку, и смотрел, как добычки скатывают промысловую палубу. Вид у капи-

тана был необычный. Белая рубашка и галстук заменили потрепанный свитер, видимо, он уже готовился к встрече с лоцманом. Добытки громко гикали, вода из шлангов разбивалась о настил палуб, и в брызгах рождалась радуга, семицветье, как нимб, повисшее над траулером. Боцман тоже заметил радугу и, опустив шланг, смотрел в небо.

- Ну, как, поздно лег вчера, до конца досмотрел? - спросил я.

- Да почти не спал, - ответил боцман. - Какое-то предчувствие было. Все за Василя боялся. Пошел к нему, а он в иллюминаторе торчит, я ему плюху подкинул, чтобы образумился. Потом так иллюминатор свайкой задраил, чтобы отвернуть не смог, придурок. Разное бывает, я и сам такое испытал. Все из-за того письма. Надо додуматься такое в море написать...

- Ты уверен, что он успокоился? - спросил я.

- Спит, что с ним будет, очухается...

- А что она написала ему такого?

- Да так, чушь какая-то, уехала, мол, с челноками в Турцию, встретить не сможет...

- Боцман! - крикнул капитан сверху в мегафон. - Вы куда смотрите - краской все окна на рубке заляпали, никакого обзора!

- Отмоем, не беспокойтесь, мастер, - крикнул боцман, - будет обзор!

Через два дня мы вошли в проливы. Василь из каюты не выходил, но вроде бы успокоился, капитан освободил его от работ и поручил стармеху присматривать за ним. Мое же настроение с каждым днем становилось все более смутным, впервые встреча с берегом страшила меня. Да и не у одного меня был такой настрой.

В Зунде мы приняли на борт лоцмана и пошли самым малым ходом. Трасса была оживленной. Путь наш пере-

секали паромы, переполненные празднично одетыми людьми, это туристы направлялись из Швеции в Данию. Берег был совсем рядом, и навстречу нам вставали города с красными когтистыми крышами и острыми шпилями кирх, по правому борту высились зеленые башни Эльсинора. Тень мечущегося принца смешивалась с низкими облаками. Вечные вопросы, томившие его, бились и в моей голове.

За ужином в кают-компании капитан сообщил неприятную новость. В родном порту нас не ждут, приказано продать рыбу в Таллинне.

- Так что, кто нетерпелив и жаждет обнять своих любимых на пару суток раньше, срочно давайте радиogramмы, - сказал капитан.

Мы со стармехом решили не радировать. Не так-то просто нынче прибыть в Таллинн, надо платить за визу.

- Что их зря с места сдергивать, - сказал стармех, - рыба - не наше дело, на самолет - и через сутки дома будем, а им в чужом городе зачем торчать.

На следующий день мы входили в Таллиннский порт. Я очень жалел, что послушался стармеха и не дал радиogramму. Все толпились на палубе и всматривались в берег теперь уже чужой страны. Вдали вставали очертания знакомых башен и соборов. Мы медленно, на поводу у буксиров проходили сквозь строй мелких судов, мимо элеваторов и кранов к свободному причалу.

Каково же было наше удивление, когда мы увидели на пирсе женщин с цветами. И первая мысль была-это встречают не нас, ждут другое судно. Но берег приближался, и первым узнал свою жену боцман и крикнул густым басом: «Катя!». Еще трудно было различить лица, но я узнал и свою жену, а через несколько минут и она заметила меня и подняла руки над головой.

- Вот видишь, моя в сиреновом платье, видишь, такая рыжая! - теребил меня боцман.

Я вспомнил о Василе, его не было на палубе, и самым моим большим желанием было, чтобы там, на пирсе, и его жена размахивала цветами.

- Смотри-ка, - удивился стармех, - вон еще бегут, и откуда они узнали, что мы в Таллинн приходим!

Темная полоска между бортом и берегом все уменьшалась, матросы подавали швартовы, майнали трап, к нему спешили пограничники в незнакомой для нас форме. Надо было набраться терпения и ждать.

## **ЦЕНА ВОДЫ В КОНСКИХ ШИРОТАХ**

Плавбаза «Бородино» медленно двигалась на юг. За сутки прошли всего сто миль, тащились с танкером на бакштове. Надо было запастись топливом и водой. Впереди был долгий рейс в отдаленном районе. С каждой пройденной милей жара усиливалась. Вспоминали, как нечто увиденное во сне, оставленный берег, где выпал густой снег и то, как ветви деревьев, еще до конца не лишенные листьев, сгибались под тяжестью зимних шапок. Здесь же во всю палило солнце, и зеркало вод, отражающее его, казалось, вот-вот расплавится.

Четвертый штурман плавбазы Андрей Зимин заканчивал ходовую вахту. Это был его первый самостоятельный рейс, и он старался казаться серьезным и сдержанным. Все разделись, оставив из одежды короткие шорты, и только он и капитан не сняли формы. Белая тропическая куртка с погончиками потемнела от пота под мышками и на груди. Пот со лба приходилось постоянно промокать платком. Зимин еще раз сверил координаты и занес их в судовой

журнал ровным аккуратным почерком. Он непроизвольно, по привычке высовывал кончик языка, когда старательно выводил цифры. Капитан сидел на диване у радиостанции, подставив лицо под потоки воздуха, которые гнал вентилятор, и улыбался.

Потом они вместе вышли на ходовой мостик и долго смотрели, как на танкере выбирают бакштов. Они очень походили друг на друга, оба высокие, стройные и подтянутые. Только у капитана совершенно были не заметны пятна пота на ослепительно белой рубашке. Слаженность и точность были в каждом его движении. И особенно Андрею нравилась капитанская улыбка - широкая, дружеская, и тот неизменно ровный тон, каким капитан отдавал приказания. И даже, когда капитан делал выговор кому-либо, улыбка не исчезала с его лица, и голос он не повышал. От капитана Андрей перенял манеру передвигаться по рубке легким пружинящим шагом, отдавать команды, не повышая голоса, а по утрам совершать пробежки от носовой до кормовой надстройки.

- Заждались нас траулеры, Глеб Иванович, - сказал Андрей.

- Идем точно по графику, - отчеканил капитан, прощу, еще раз сверьте курс.

Капитан не любил излишних разговоров в рубке. Задавал вопросы и все объяснял здесь только он сам.

Стоял полнейший штиль, лишь редкие рябинки возникали на глянцевой поверхности океана, да у борта плавбазы иногда всплескивала вода. Здесь, в тени корпуса, она была темней, но зато, чем дальше от базы к горизонту, тем светлее она становилась, а вдали была совсем белой и там незаметно сливалась с безоблачным, полным покоя небом. И в этом белом небе, повиснув почти над головой, плавилось солнце. Ещё сутки - и откроется район промысла.

Начнется работа, в которой вахты будут сменяться подвахтами. Андрею уже виделись бесконечные потоки рыбы, и то, как больше всего берут ее на его вахте, как мечется она в кошельке, пришвартованного судна-ловца, и грохочет стамп, выливая ее в бункеры базы. А капитан улыбается, довольный - не зря взял штурмана, не ошибся...

- Андрей Викторович, - оборвал его мысли капитан, - будьте любезны, вызовите в рубку главного механика.

- Есть, - ответил Андрей и быстро скользнул в дверь.

Главмех тяжело дышал. Как и все тучные люди, он плохо переносил жару.

- Вы запросили анализ, подтверждающий сорт и качество топлива? - мягко спросил капитан.

- А что, если анализ не тот, брать не стали бы? Что у нас выбор есть? - ответил главмех.

- Было бы очень хорошо, - ровным тоном продолжал капитан, - если бы вы старались выполнять существующие инструкции в их полном объеме.

При этом капитан ласково дотронулся до плеча главмеха, и тот передернулся.

- И все-таки не забудьте показать результаты анализов мне, - Глеб Иванович повернулся и легко сбежал по трапу.

Главмех выругался и пробурчал: «Достает зуда, ну и достает...»

Андрею непонятно было, почему злится главмех. Ничего оскорбительного, требуется соблюдение инструкции - и только, на этом стоит вся флотская служба, все должно быть четко и определено. Это просто жара действует на «деда». На палубе дышать трудно, а в машине - вообще пекло. Кондиционеры нужны настоящие, устарело всё...

На танкере, наконец, закончили выборку бакштова и шлангов. Освободившись от танкера, плавбаза развила полный ход, но скорость не ощущалась - не с чем было

сравнить движение, сопоставить свой путь, вокруг гладкая тишайшая поверхность, ни острова, ни судна, горизонт чист. Изредка лишь обгоняли базу дельфины, торпедами выскакивая из воды. Все с любопытством смотрели на их игры. Вспоминали разные случаи, и то, как дельфины спасали упавших за борт, и как они защищают друг друга... Но через час и дельфины отстали. И тогда на пути появились стайки летучих рыб. Они легко парили над водой, незаметные прозрачные крылья придавали им схожесть со стрекозами, их было несметное множество. Было прекрасно и соразмерно всё в этом мире большой воды. Только вот жара давала себя знать. К полудню тропическое солнце залило всё, исчезли тени, стало тяжело дышать. Температура поднялась до тридцати двух градусов.

Андрей прошел в душевую и там долго стоял под холодящим потоком. Вода была из судовых танков и не успела ещё прогреться. Под ее струями оживало тело. Андрей растерся большим лохматым полотенцем и понял, что спать сегодня не сможет, ему не хотелось спускаться в каюту. А вдруг что-нибудь произойдет, какая-нибудь интересная встреча, все-таки начинается район промысла! А там, на многочисленных траулерах полно друзей...

Вечерняя вахта прошла спокойно. Багровый шар солнца, приблизившись к воде, сплюснулся, расплылся, и почти мгновенно, как это всегда бывает в тропиках, начало темнеть. Лишь на горизонте ещё долго светилась узкая полоса, как будто фонарики, спрятанные в глубине вод, подсвечивали невесть откуда набежавшие тучи.

Капитан поднялся в рубку, посмотрел карты, принятые у синоптиков. Обещали сплошной штиль. Самое подходящее условие для швартовки. На промысле первым делом надо было подойти к плавбазе «Крым», которая за-

канчивала работу и снималась в порт. Они шли на смену этой плавбазе.

Свет в рубке был погашен, плотная, полная темноты, тропическая ночь стояла за стеклами рубки, лишь изредка на черной неразличимой поверхности воды возникали фосфоресцирующие пятна планктона, как фантастические тлеющие острова они проплывали мимо, растворяясь в ночи. Ночь принесла желанную прохладу, и матросы долго не расходились, стояли на палубе бака, о чем-то говорили, кто-то принес гитару. Но сюда, в рубку, не проникали звуки ночной песни.

Андрей склонился над локатором, где-то здесь должны были появиться рыбацкие траулеры, он, вахтенный штурман, должен был узнать об этом первым. В рубке, между тем, собрались почти все плавбазовские командиры. Ждали связи с начальником промыслового района.

- В этих широтах, - сказал капитан, - особенно пустынно, но много любопытного. Иногда на закате можно наблюдать зеленый луч - уникальное явление. И мне неоднократно выпадало увидеть его! Кстати, вы знаете, почему эти широты называются конскими?

В рубке молчали. Андрей читал об этих широтах, но в разговор вступить не решился, одно дело - знать из книг, а другое рассказывать то, что увидел своими глазами.

- Здесь, в этих широтах, - продолжал капитан, - пролегал путь каравелл, перевозящих лошадей из Европы в Америку. Лошади плохо переносят качку, поэтому суда ходили не напрямую, а спускались сюда, на юг, и продолжали свой путь. Штурмана должны знать такие прописные истины.

В рубке молчали. Старпом потерял свои пушистые усы и хмыкнул. Андрей вспомнил, как в книге о кругосветных путешествиях читал про штили, царящие здесь, и

про то, как парусники, перевозящие лошадей, надолго застревают в безветрии. Запасы воды кончались, и лошадей сбрасывали за борт. Путь каравелл был отмечен лошадиными трупами. Далекое время. Тогда не было опреснителей. И все-таки, здорово ходить под парусами, ловить ветер в их белые полотнища, скользить бесшумно по воде. Вот где нужна морская школа. А теперь интегралы, компьютеры, техника - где уж тут проявить себя, все за тебя подсчитано и выверено. И все же, сколько всего надо знать...

И как бы подслушав его мысли, капитан заключил:

- Мореплавателю надо многое знать, надо изучать лоции, надо впитывать в себя знания, и всегда придерживаться тех узаконенных правил, которые рождены опытом, а уж потом включены в наши уставы и инструкции!

Никто не возразил капитану, конечно же, он был прав, как всегда, и эти знания дали ему право быть сегодня главным на огромной плавбазе, и сколько ещё лет должно пройти, чтобы он, Андрей Зимин, четвертый штурман стал таким же!

... Утром, наконец, вошли в район промысла. К полудню низкие тучи заволокли горизонт. Море потемнело и стало фиолетовым. Но желанной прохлады не было. Впереди по курсу белым искрящимся пятнышком замаячила плавбаза «Крым». Надо было спешить со швартовкой. Несмотря на сгущающиеся тучи, стояло полное безветрие. Духота и плотный предгрозовый воздух. Тучи так и не разразились дождем, хотя и по-прежнему закрывали большую часть неба. Швартовка началась в семнадцать часов по местному времени. Базы медленно сходились, словно притягиваемые друг к другу мощными магнитами. Старпом ушел командовать на ют, а здесь, в рубке, все движение направляли капитан и Зимин.

На обоих плавбазах люди высыпали на палубы, стояли у шлюпок, сидели на лючинах трюмов, на бухтах тросов. Всмотривались друг в друга, махали руками, пытались докричаться. На плавбазе «Крым» рыбообработчики почти все были в полиэтиленовых передниках, загоревшие, почти черные, бородатые. Все из одного управления, а кажется, встретились люди из разных племен. На «Бородино» белые, чистые, ухоженные, а там, на «Крыме», такие, что и понятия о ножницах и бане не имеют. И всё же свои, можно уже было и лица различить. Многие ходили раньше вместе на одних и тех же базах, многие были знакомы на берегу, а главное - все земляки. Порт приписки один. Говорили все разом. В рубку долетали обрывки фраз, радостные возгласы, смех...

На борту «Крыма» Андрей увидел своего товарища, однокурсника по мореходке, Колю Басова. Коля тоже разглядел его, узнал, что-то крикнул. Был он в одних плавках, волосы слипшиеся, лохматые, улыбка только прежняя, во весь рот. Андрей помахал ему рукой. Сейчас не до разговоров - вахта есть вахта. Басов не обидится, поймет - тоже ведь штурман. Будет еще время для разговоров, наверняка придется всю ночь стоять борт к борту, перегрузить тару, взять бочки, принять с «Крыма» остатки соли.

- Скомандуйте, чтобы посторонние, не участвующие в швартовке, отошли от бортов, - приказал капитан, и Андрей тотчас повторил его команду по трансляции.

Люди неохотно отхлынули от фальшбортов, отошли за надстройки. На баке приняли выброску, начали тянуть основной трос. Базы сошлись почти вплотную. Швартовка была очень удачной, с первого захода, борта соприкоснулись легко, без скрежета, без трения, только взвизгнули, сдавливаемые металлом бортов резиновые кранцы. Подали на юте прижимной конец, потом еще два конца. Теперь,

когда плавбазы окончательно соединились, казалось, остров вырос в океане, остров, переполненный людьми.

Небо темнело, густые красноватые облака были выпуклыми, рельефными, в промежутках между ними играли зеленоватым светом крупные звёзды южного неба. Ночь не принесла прохлады, по-прежнему было невыносимо душно. Включили прожекторы и люстры, залившие борта и палубы ярким неестественным светом. Всё это напоминало Андрею съемки фильма. Во время учебы в мореходке случалось подрабатывать статистом. В который раз он пожалел, что не взял в рейс фотоаппарат.

На плавбазе «Крым» капитаном был Токарев - один из самых известных капитанов управления. Толстый, подвижный, Токарев все время бегал там, у себя на мостике, вздымал над головой загорелые руки, суетился. Глеб Иванович, напротив, не проявлял никаких эмоций, каждое движение у него было рассчитано.

Швартовка заканчивалась, у третьего трюма уже готовили сетку для пересадки. Мельтешение и передвижение по палубам становилось всё оживленнее. Передавали почту, обменивались кинофильмами. Мелькали смуглые лица, широкие панамы, блестящие от пота черные спины, это перебрались на борт «Бородино» люди с плавбазы «Крым», матросы искали зубного врача, рыбмастера договаривались о передаче тары. Те, кто не попал на первые сетки, стояли и ждали очереди и на той, и на другой базе. На «Крыме» появились и женщины, они сгрудились у тамбучины ближнего трюма в коротких кофточках, а то и вовсе без кофточек, вышли на палубу и рыбообработчицы в прозрачных полиэтиленовых фартуках, делающих их похожими на русалок. Старпом «Бородино» уже был там, крутился около женщин, искал желающих остаться на промысле, уговаривал переходить на «Бородино». В ответ

смеялись, кто же захочет после шести месяцев ещё на один рейс оставаться, если бы в другом районе, а здесь - адская жара, да и расчет надо сначала выбить за один рейс, а потом о другом думать...

Коля Басов там, у себя на «Крыме» наконец поднялся на мостик, видимо, заступил на вахту. Он был теперь совсем рядом с Андреем, были бы руки подлиннее, можно было бы и дотянуться.

-Андрюха, старина, здорово дружище! - крикнул Басов,- Представляешь, здесь на сейнерах и траулерах полно наших, с нашего выпуска! Аркашка Квач на восьмерке, Брит уже старпомом - дал нам всем, притер всех! Рыбалка здесь отличная, но жара — ужас!

- Мы уже почувствовали, - ответил Андрей, - но ничего, выдюжим!

- И у нас поначалу было ничего, люкс, можно сказать, было, - продолжал Басов, - а потом опреснитель скис! Я такого бардака давно не видел! Рыба есть - тары нет, на скоропортящие продукты денег так и не дали! Начальству на берегу чихать на нас! Стригут свои баксы - и довольны! Но всего хуже в жару - без пресной воды. Режим всё время жесткий, баня и душ только раз в десять суток! Ну, ничего, дождались, теперь домой, водички на дорожку наберем у вас! Ох, и поплещемся!

- У нас, конечно, у нас! - Андрей обрадовался, что сможет выручить друга. - Мы у танкера взяли, полные цистерны у нас, нормально! Я сейчас дам команду!

На палубе мотористы уже растягивали шланги, вышел главмех, вытер пот со лба, стал договариваться, когда включить насосы. Басов на «Крыме» вызвал своих механиков. Андрей решил попросить у капитана разрешения после вахты перейти на «Крым», надо встретиться с другом, поговорить, когда еще такой случай выпадет. Он зашел в

штурманскую рубку. Глеб Иванович был здесь, он сразу заметил Андрея, как всегда улыбнулся широко и сказал, не повышая голоса:

- Андрей Викторович, у меня сейчас капитан «Крыма» Токарев запросил добро на перекачку воды, я отказал, но кто-то уже начал действия без моей команды. Кто-то очень добрый уже начал операции по перекачке воды без моего ведома! Прошу вас немедленно отменить эту самодеятельность!

- Но, Глеб Иванович, у нас же полно воды, как же так, мы ведь под завязку с танкера залили, как же... - попытался возразить Зимин и густо покраснел.

- Видите ли. Андрей Викторович, - сказал капитан, - нам здесь работать шесть месяцев, мы обязаны будем обеспечивать водой промысловые сейнеры, которые будут сдавать нам уловы. А на плавбазе «Крым» - свой опреснитель, и то, что у них не работает минерализатор, и они во время не запаслись необходимыми компонентами солей, это, простите, безалаберность их знаменитого капитана, который при всём моём к нему уважении, привык работать на авось. В прежние времена таких считали героями. Им давали ордена. Теперь шашкой махать не принято. Пусть держит ответ перед своей командой!

В словах Глеба Ивановича была неоспоримая логика. Андрей не нашелся, что ответить сразу, замялся и ещё гуще покраснел.

- Исполняйте, - напомнил капитан, видя, что его штурман не уходит из рубки.

- Но при чем здесь всё это - минерализатор, соли, - быстро заговорил Андрей, - они ведь ждали нас, мы ведь не должны, не имеем права отказывать, ведь это же флотский закон взаимовыручки... И здесь несносная жара...

- Видимо, жара туманит мозги и рождает в голове сумятицу. Жалость к ближнему! Учтите, они бы вас не пожалели. Наивность хороша до определенного предела.

- Но вы же сами говорили о законах чести, - попытался возразить Андрей.

- Исполняйте то, что вам сказано, - уже более резко произнес капитан и присел у приёмника, давая понять, что разговор закончен, и приказы обсуждению не подлежат.

Андрей резко повернулся и вышел на мостик. Внизу, на палубе, свёртывали шланги. На «Крыме» Токарев спустился вниз и крыл всех и вся по-черному. Андрей обошёл рубку с левого борта, больше всего ему не хотелось сейчас, чтобы Басов заметил его, что сказать другу, как объяснить всю эту несурезицу...

Андрей спустился к себе в каюту, присел на диван. В каюте, прогретой за день, было душно. Он подошёл к раковине, подставил лицо под прохладную струю воды и сразу же резко закрутил кран. Десять дней - от бани до бани - вспомнились слова Басова. Полгода - в режиме. Откроешь кран - а там вместо воды шипение, и тропическая жара, не перестающая жара... Андрей лег на диван, долго не мог уснуть, но на палубу больше не выходил, хотя и понимал, что Басов обидится на него, что можно вообще потерять друга. И что Басов сейчас думает про него? Как же - наобещал дам воды, и вот не сумел, даже не нашел слов, чтобы убедить капитана. И вообще, трудно понять, почему Глеб Иванович принял такое решение, ведь он очень справедливый человек! Возможно, и на него повлияла жара... Надо пойти убедить его, упросить... Андрей несколько раз вставал, ходил по каюте, порывался пойти к капитану, Это не будет нарушением - войти и сказать: я согласен не мыться каждый день, пусть через десять дней душ, спросите команду, меня поддержат... Разве

бывает так в море, чтобы один отказывал другому? Вот в прошлом рейсе, вспомнил Андрей, когда на практике были, потеряли трал, так сразу несколько судов предложили свои запасные, и никто не осудил тогда за обрыв, грунты там были коварные, сплошные кораллы... Андрей проклинал свою нерешительность. Однако, понимал, что никакие уговоры не помогут... А рейс ещё впереди...

Базы расходились в три часа ночи. Андрей слышал гудки, слова команд. До его вахты оставался ещё час. Заснуть он так и не сумел, и впервые ему не хотелось выходить на вахту, он знал, что капитан ещё на мостике, что он, как всегда спокойно улыбается и спокойно смотрит на удаляющуюся в ночи огни «Крыма». Андрей накинул куртку и поднялся по трапу, В коридорах было полутемно, и только из буфетной падала на трап широкая полоска света. Андрей заглянул в открытую дверь. Буфетчица, свесив голову на груди, дремала в кресле. На столе одиноко светилась лампа с круглым желтым плафоном. За крайним столиком сидел главмех и маленькими глотками пил крепко заваренный чай.

- А, Андрей, - протянул он, - решил подкрепиться перед вахтой? Давай чашечку индийского - божественный напиток, сам заваривал. Учти - первое средство от жары - чай!

- Спасибо, - поблагодарил Зимин и сел рядом с главмехом.

Дед улыбнулся и подвинул к нему заварочный чайник.

Как он может оставаться спокойным после всего, что произошло, подумал Андрей, вот, сидит, наслаждается чаем, а на «Крыме» - и чая, наверное, лишены...

- Ты чего такой хмурый? - спросил главмех, наливая себе еще одну чашку.

- Друг у меня на «Крыме», не попрощались даже, неловко так всё вышло, не выручили...

- А понимаю, ты о воде! Да, заварилась у нас из-за неё каша. Всё же дали. Уговорили твоего зуду. А как же иначе? Что я, Токареву откажу, что ли? Мы с ним ни один океан пропахали вместе. Вода, конечно, здесь на вес золота, но есть кое-что подороже...

## МОРСКОЙ УЧИТЕЛЬ

Грешен, я тогда не мог и не хотел его понять. Вместе с мукомолом я осуждал учителя, не желавшего уходить с борта траулера, закончившего свой рейс. «Он вообще с прибабахом! Три года без берега, чокнутый!» - сказал мукомол, теребя обвислые усы, делающие его похожим на моржа и Ницше одновременно. Потом он медленно нацедил в стаканы остатки мутноватого самогона. Плавбазу нашу сильно качало и пустая бутылка, скользнув со стола, перекатывалась от переборки к переборке. Я признался мукомолу, что знал учителя еще на берегу и даже знал его жену Киру - яркую, крашенную брюнетку с полными губами, она работала у нас в техотделе. «Ах, - эта ... » - с растяжкой процедил мукомол и стал, сам себя распаляя, обвинять во всем женщин. Я заснул под его непреходящее ворчание и привычный шум волн. Утром качка усилилась, к тому же стал накрапывать дождь. После промсовета я вышел из рубки и хотел пойти в каюту, когда увидел, что боцман машет мне рукой и показывает на пришвартованный к нам траулер.

На палубе траулера стоял, вцепившись в леера, человек в телогрейке и что-то кричал мне. Я спустился по трапу и прильнул к фальшборту. Кранцы визжали, сдавливаемые напором бортов, вода в тесном пространстве между нашей плавбазой и траулером вскипала белой пеной. Тра-

улер то возносило вверх, то резко бросало вниз. И когда наши борта поравнялись, я узнал учителя. Его щербатый рот был раскрыт, он старался перекричать скрип кранцев, я с трудом разбирал слова.

- Письмо! - сумел разобрать я. - Письмо Кире! Передашь? Давно не было ничего от нее.

- Конечно, конечно, передам! - крикнул я.

И тогда он удалился с палубы, видимо, пошел писать своей Кире. У капитана я узнал, что топливо на траулер будут подавать еще часа четыре и что туда пойдет грузовой помощник. Я сказал, что тоже хочу переправиться вместе с ним. «Зачем тебе это, в такую болтанку?» - спросил капитан, но отговорить меня не сумели ни он, ни старпом.

Переправа была действительно рискованной. Мы долго болтались в воздухе на сетке, ухватившись за троса, пока лебедчик, не поймав момент, резко стал майнать. Палуба траулера ухнула вниз. Сетка понеслась за ней. И мы с грузовым помощником почти одновременно соскочили с сетки, точно угадав то мгновение, когда траулер завершил свое падение.

Учитель был среди матросов, сгрудившихся подле сетки. Мы обнялись и сразу же пошли в его каюту. Он скинул телогрейку, поставил чайник и стал засыпать меня вопросами. Я ничего толком не мог рассказать ему.

Его лицо казалось мне неподвижным из-за поврежденного глаза, тот глаз смотрел на меня, не мигая, и в нем затаилась осенняя тоска.

Когда-то на берегу был такой период, когда мы довольно часто встречались. В его семье любили гостей, люди были разные, в основном причисляющие себя к интеллектуальной элите города, подолгу сидели на кухне, пили сухое вино, вели длинные и рискованные по тем временам разговоры. Мы были бездумны и молоды. Учитель

любил проповедовать, но мы не всегда внимали его словам. Жена его врывалась вихрем на кухню, она была моложе учителя лет на пятнадцать, ей хотелось расшевелить всех. Он ревниво наблюдал своим застывшим глазом, как она танцевала с очередным гостем, как на виду у всех раздавала быстрые поцелуи. Ее ярко покрашенные губы оставляли следы на разгоряченных щеках гостей. Шел конец восьмидесятых, царило предчувствие свободы, ксерокопии некогда крамольных книг в открытую передавались друг другу. Мы хмелели от собственной смелости.

Сейчас, в полутемной каюте, согревая себя крепко заваренным чаем, мы с учителем пытались вспомнить то время. «Столь долго ждать свободы и теперь уйти от нее, стать морским скитальцем? Почему?» - задал я мучающий меня вопрос. Учитель ничего не ответил. Потом, прикусив губу, сказал: «В этом письме Кире я пытаюсь объяснить происшедшее, она ведь тоже ничего не хочет понять. Она перестала отвечать на мои письма». Я взял из его рук пухлый конверт и положил в боковой карман своей куртки.

О сыновьях своих, их было двое, почти одногодки, он ничего не расспрашивал, да и я не смог бы ему что-либо сообщить. После его ухода в рейсы я ни разу не бывал в их доме. Слышал только, что один из сыновей уехал учиться в Штаты. Возможно, думал я, именно эта учеба, требующая немало денег, и заставляет учителя безвылазно скитаться по морям, переходя с одного траулера на другой. Может быть, он боится потерять место, думал я тогда, сидя в его каюте.

Время свободы и распада. Крупные наши рыбацкие конторы превращались в отдельные фирмы, эти фирмы сдавали траулеры в аренду, а то и вовсе списывали на металлолом. Под чужим флагом ходить было непривычно, но все скрашивали заработки. Платили в баксах. Но даже за са-

мые большие баксы я не смог бы заставить себя ходить годами, не прерывая рейсы отпусками. Правда, после отпусков приходилось подолгу обивать пороги конторских кабинетов, где увешанные бриллиантами дамы смотрели сквозь тебя и ждали, какую сумму ты предложишь. Меня выручали друзья, ставшие хозяевами рыбацких фирм, а каково было ему, во-первых, человек в годах, во-вторых, профессия не морская, да и кому нужна заочная школа моряков в наших новых фирмах, жаждущих быстрой наживы?

Пытаясь как-то расшевелить своего собеседника, я говорил о рыбацких новостях - о датчанах, нанявших кошельковые суда, о застрявших в Сьерра-Леоне рефрижераторах, на которых разорившаяся фирма вот уже полгода не может расплатиться с экипажем. Но вскоре я почувствовал, что все эти новости мало волнуют моего собеседника.

- Сами мы этого хотели, помнишь, нам не хватало свободы, - сказал он тихо, - а свобода живет внутри нас, об этой внутренней свободе мы не догадывались...

- Но вы же сами сделали себя несвободным, - сказал я.

Он впервые за нашу встречу улыбнулся, и даже его неподвижный, пугающий меня взгляд, казалось, осветился каким-то неясным блеском.

- Можно ли жить, лишая себя земли, - продолжал я, - можно ли, как Иона, застыть в чреве кита, лишь бы не возвращаться в Ниневию, лишь бы не проповедовать язычникам Божье слово!

- Ах, Иона, - оживился учитель, - самое мудрое библейское сказание, но не для меня, у меня, в отличие от Ионы, слишком много учеников. Правда, им никакого дела нет до Ионы...

Он повернулся к иллюминатору, теперь я не видел его застывшего глаза, в профиль он выглядел много моложе

своих лет, и я почувствовал, что живет в нем нестигаемая уверенность в своей, ему единственному доступной правоте.

- Но почему надо искать учеников в море, есть сельские школы, можно и на земле уединиться, можно попробовать, и там все начать с нуля! - предложил я.

Я стал говорить ему о запахах душистой, свежескошенной травы, о тишине деревенских рассветов, о трепете листьев на березах, о солнечных полянах, скрытых среди ельника, о белых грибах, прячущихся в густой траве, о родниковой живительной воде...

Он слушал меня, не перебивая, прикрыв глаза, очевидно, мысленно уходя в тот далекий земной мир, которого он сам себя лишил. Мне даже показалось, что его глаза повлажнели. Но когда я закончил, он поднялся, приник лицом к иллюминатору и спросил: «А что здесь, в море, мало завораживающих красот? Дело лишь за малым - надо суметь удержать увиденное внутри себя».

Я не мог возразить ему, я ведь тоже любил море - эту бесконечность вод, меняющих свой цвет, эти неповторяющиеся закаты, и блики солнца на гребнях волн, и кружево этих волн, и гортанные крики чаек, и мечущиеся по небу крупные и яркие звезды...

Я готов был тогда согласиться с учителем - мир мы несем в себе, все отражается в нас, и остается или не остается - на то наша воля. Есть и ещё такое понятие, как жертвенность, уметь лишать себя многого для того, чтобы близкие тебе люди - жена, сыновья не знали забот...

И все же, как часто мы стараемся навязать другому человеку свои решения, нам кажется, что только мы правы. Я ведь полагал в ту нашу встречу, что мне надо спасти учителя, что надо возратить его на землю, к нормальной человеческой жизни, мне казалось, что он слишком стар,

что он не сможет более выдерживать длительные изматывающие рейсы, тем более, что вот этот его траулер идет на криля к Антарктиде.

- Есть такой вариант, - предложил я, - давайте со мною сейчас переправимся на плавбазу, у нас вскоре будет заход в Дакар, и оттуда вы сможете самолетом вернуться в порт, я берусь все это оформить, там, в Дакаре, в нашем представительстве командует мой институтский товарищ...

- Мир полон соблазнов... - начал учитель, но его прервал буквально вскочивший в каюту наш грузовой помощник, который, уладив все дела с приемом груза и сдачей топлива, видимо, хорошо отметил это событие. Острый его нос покраснел, а глаза постоянно моргали.

- Ну, вы даете! - крикнул он. - Признавайтесь, сколько бутылок хлопнули? Я по всему судну вас ищу. И у буфетчицы был, и у кастелянши, и к капитану ходил! Сетку же давно подали!

Я стал прощаться с учителем. Он хотел было пойти провожать, но я отговорил его. Только еще раз успел переспросить о том, что он думает о моем предложении. «Пустое все это», - отозвался он и махнул рукой...

Едва мы с грузовым помощником ступили на сетку, как ее вознесло вверх, мы вцепились в троса. Под нашими ногами две громадины - траулер и плавбаза, словно две чаши весов, то поднимались, то опускались, соревнуясь, кто занырнет поглубже. Лебедчик долгое время не мог поймать удобный момент. Грузовой помощник, перегнувшись вниз, орал на него. Наконец резкий рывок, и мы прыгнули с сетки на ускользавшую из-под ног палубу.

- Замотался, в корень-душу! - крикнул грузовой помощник. - У твоего мукомола не оскудели запасы?

Пришлось пригласить грузового помощника в каюту. Мукомол спал, уткнув лицо в стол. Я нацедил из большой

бутыли самогона. Грузовой помощник выпил единым глотком, только кадык дернулся на его тонкой шее.

- Хороша, - протянул он, уселся за стол, ожидая продолжения, и стал говорить об учителе.

- Ну и чудик, - сказал он, - они же во льды идут, а у него даже теплой одежды нету, собирали ему - кто что мог, дал. И зачем ему этот рейс, никто не понимает. Там, на траулере, всего два ученика. Один из заочного юридического. Тот, правда, доволен. Говорит, второй рейс с этим чудачком, в жизни, мол, на берегу не нашел бы такого учителя. О чем не спросишь, все знает. Ну и чудак!

Очнулся мукомол, поглядел на нас осоловелыми глазами и быстрым движением разлил по стаканам остатки самогона. Мы выпили, закусив маленькими дольками соленого огурца. Мне было как-то неуютно в их компании, и я порывался уйти. Вот ведь, корил я себя, не догадался собрать для учителя теплые вещи, у меня же свитер есть, зачем он мне здесь, в тропиках. Я залез в рундук, вынул свитер, но в это время по трансляции объявили, что траулер отходит от борта.

- Чего ты о нем так заботишься, - поглаживая усы, сказал мукомол, - его баксы греют, на криле, знаешь, сколько можно отхватить, считай по куску в месяц!

- Если бы, - засмеялся грузовой помощник, - ему ведь давно никто не платит, уже, почитай, год, как заочная школа лопнула. Кореш мой, который на юриста учится, рассказывал. Харч, конечно, на траулере бесплатный - вот и все удовольствие!

Боже мой, удивился я тогда, неужели это все правда? Надо вернуть учителя, немедленно вернуть. Я бросился из каюты на верхнюю палубу. Но было уже поздно. Траулер медленно отваливал от нашего борта. Полоса бурлящей воды между нашими судами все увеличивалась и увеличивалась.

На верхней палубе траулера, прячась за крыло ходовой рубки, кутаясь в телогрейку, стоял учитель. Я уже не мог ничего сказать ему, любые мои крики были бесполезны, я даже не мог различать его лица. Мы замахали друг другу руками. Протяжно загудел тифон. Траулер прощался с плавбазой. И когда он, постепенно удаляясь, затерялся среди волн, внезапно солнце прервало пелену туч, и море успокоилось на глазах, словно глыбы вод, приняв долгожданную жертву, прекратили возмущаться.

К вечеру солнце садилось уже в совершенно штилевую воду, окрасив горизонт и поверхность моря в багровый цвет.

Этот мой рейс через месяц закончился, и по приходу в порт я тотчас направился на ту улицу, где был памятный мне дом, чтобы вручить Кире письмо от морского скитальца. Дверь мне открыл совершенно незнакомый старик и на вопрос мой о Кире сказал: «Не живут уже здесь такие, с полгода, почитай, не живут. В Америку они съехали!»

## ГОСПОЖА УДАЧА

Сейнеры флотилии бежали параллельными курсами. Корабельные носы вздували белые буруны. В сумерках силуэты судов расплывались, и только эти крутящиеся шары-буруны были отчетливо видны, и, казалось, летят над водой белые рыси, рвущиеся за добычей. Бег на юг кавалькады судов возглавлял сейнер капитана Ломакина. Теперь, когда все было решено и пути к отступлению не оставалось, Ломакин напряженно всматривался в ночь, в бегущие огоньки за кормой, и хотел верить, что бег этот не напрасен. Люди устали от проловов, ничто так не убивает, как постоянство неудач. Он знал, что если флотилию

и в новом районе ждут неудачи, спросят с него. И никакие прежние заслуги не пойдут в зачет. Если окажется, что и на юге нет рыбы, заключают. Ушли с насиженного, вдоль и поперек перепаханного района, затратили топливо, время. Кто виноват? Второй любимый вопрос после: «Что делать?» И еще одно правило - инициатива наказуема. Если это правило выполнять, можно встать на якорь и ждать у моря погоды. В награду тем, кому не терпится, бег в ночи и вторые сутки без сна. Сначала переход, потом нервное напряжение поиска.

Эхолот начал писать рыбу в пять часов утра. Флотилия резко замедлила свой бег, суда замерли, как будто наткнулись на незримую преграду. Акустик склонился к экрану локатора, придерживая бороду рукой. За штурвалом матроса-рулевого сменил старпом. Ломакин встал бы сам за штурвал. Но было много иных забот. Волосы его растрепались, куртка распахнута. Эхолот дал двойной звук, сигналы его натолкнулись на рыбы спины, и перо самописца провело жирную черту, рядом другую, еще и еще - плотный сплошной косяк! И истошный крик старпома: «Впереди заметал!» И в крике такая обида, словно вытащили из кармана все деньги. Понять можно. Мчались первыми к столу, да ложку не успели во время вытащить. Вот тебе и госпожа удача! Кто первый в мешок, тот последний из мешка...

Прямо по курсу вспыхнули оранжевые огоньки - сигналы судна, выметывающего невод. «Где твоя хваленая реакция? Заходи на ветер!» - это крикнул Ломакин. У старпома краснеет шея. Внизу на палубе и на кошельковой площадке все готово для замета. В эфире стоит невероятный шум, возбужденные голоса забивают друг друга, все вышли на рыбу, всем хочется быть первыми. Теперь будут мешать друг другу, перепутаются снасти - этого не избежать. Ломакин стучит

кулаком по планширю. Сейнер прыгает то вправо, то влево. Кажется, на резких поворотах он извивается как змея. В его движениях повторение путей косяка, напуганного шумом винтов. Там в глубине, где нет качки, мечется рыба. Сейнер взлетает и низвергается на волнах. Мачта возносится к звездам, чертит огнями немыслимые эллипсы, ввинчиваясь в Млечный путь. Растревоженные утренние звезды мечутся по небу. И, когда на крутом вираже мачта устремляется к самой воде, созвездие Ориона, стоявшее над головой, исчезает за противоположным бортом. Ломакин не замечает этой сумасшедшей качки. Ноги вросли в палубу. «Пошел невод!» - выкрикивает он долгожданную команду.

В свете прожектора видно, как пластмассовые наплава образуют в воде двухрядную дорожку. Сейнер убегает от нее, а впереди летит в темноту розоватый буй с сигнальным огнем - ориентир в бешеной пляске. «Косяк! Где косяк? Когда я научу вас работать?» - кричит Ломакин акустику. «Левее», - отзывается акустик. «Что же сразу не сказал ! » - Ломакин с трудом сдерживает себя - руганью делу не поможешь. Его раздражает медлительность акустика, неповоротливость боцмана, нерешительность старпома. Нельзя упускать косяк! Ломакин достает ракетницу и стреляет в сторону левого борта, чтобы отпугнуть косяк, не дать рыбе уйти под килем. На мгновение мир вокруг становится изумрудно-зеленым. Зеленые лица матросов, зеленая палуба. Погасала ракета и снова сомкнулась тьма. Невод уже замкнули, вытащили буй, закрепили крючьями и начали подбирать стяжной трос.

Светало. Вокруг в успокоившемся водном пространстве лежали сейнера, и желтые наплава неводов, как ожерелья колыхались на поверхности. Начали стягивать невод. Матросы, укладывающие сеть на кошельковой площадке, стояли под сплошным потоком воды, стекающей с сетного по-

лотна. Ломакин спустился вниз. Сквозь толщу воды было видно сетное полотно, оно казалось то желтым, то ярко-голубым, чувствовалось, как там внутри шебаршит, вздрагивает и бьется рыба. «Есть голубушка, есть, хо-хо-хо! - звучно кричит старпом. - Тонн сто, прокляните меня, если меньше! Это я навел на косяк! Чтобы вы делали без меня!» И акустик тут же: «Ловко мы косяк засекли!» Ломакин молчит. Ему бы тоже хотелось кричать: «Смотрите, это я привел флот на рыбу!» Но у него другие заботы - подойдет ли база вовремя, не помнется ли рыба в кошельке. Он вскакивает в рубку, настраивает радиостанцию. Сквозь потрескивания в эфире голос начальника промысла: «Вы чем думали, когда метали? Куда мы эту рыбу денем? У транспортов забиты трюма! Вы ответите за все!» Спорить с начальством на слуху у всего промысла - последнее дело. «Победитель не получает ничего». Надо сказать угодливо — это же вы предложили идти на юг. А лучше всего промолчать. Плавбазы уже в пути. Никто не может отнять радость успеха. И все же обидно...

Ломакин выходит из рубки. В прозрачном воздухе все кажется невесомым, четкой границы моря и неба нет. Сейнер, освещенный солнцем, купается в голубом просторе. И вокруг все усиливается шуршание - это трутся спинами друг о друга сардины, стянутые в кошельке. Штилевое утро, как награда за дни пролова, за бессонные ночи. Только бы рыба не залегла в кошельке, только бы успела плавбаза...

## СИРЕНА

И вот пришел день снятия с промысла. Мы должны были начать движение рано утром, но нас словно магнитом притягивали остающиеся траулеры. И все это из-за наших полупустых трюмов. Нас догружали рыбой, добытой другими.

Заканчивался самый неудачный из моих рейсов. К вечеру пошел проливной дождь. Шум дождевых потоков сливался с плеском волн и с журчанием ручейков, устремлявшихся с промытых палуб в шпигаты. Я стоял под крылом мостика, сырость пропитала меня насквозь, но возвращаться в каюту, где мой напарник, сменный тралмастер, угощал добытчиков самогоном, мне не хотелось. Я знал, что предстоит еще одна бессонная ночь, вся в пустых полупьяных разговорах, в бессвязных восклицаниях, в жалобах на судьбу. Здесь же я был в одиночестве, отделенный от всего мира стенами ливня. Монотонный шелест и журчание обволакивало меня. И вдруг я скорее почувствовал, чем услышал, как нечто чужеродное вплетается в шорох дождевых струй. Это было все время нарастающее фыркающее тарыхтение. И тут я разглядел, как, прорываясь сквозь пелену дождя, подсакивая на невидимых волнах, к нашему борту приближался катер. И тотчас вспомнил, что капитан говорил о трех пассажирах, которых ему навязали, и что фельдшер наш, за весь рейс так и не получивший никакой практики, вчера суетливо готовил каюту, считавшуюся у нас лазаретом, и разгораживал ее ширмой.

Катер приблизился почти вплотную к борту и долго подпрыгивал рядом с траулером, пока его заметили из штурманской рубки и что-то закричали в мегафон. Потом, чертыхаясь, выполз на палубу боцман, а за ним еще несколько человек из команды. Они стали спускать трап. Переговаривались с теми, кто был на катере. Все действие проходило палубой ниже, и мне был виден только краешек борта, но именно тот, где должны были появиться пассажиры, да широкая спина боцмана, крепившего трап. Несколько наших добытчиков стояли на промысловой палубе. Несмотря на дождь, они вышли к борту, согнулись у планширя, что-то там внизу приковало их взгляды,

потом я увидел и других наших матросов, казалось, они совершенно не замечают дождя.

Наконец там, внизу, началось какое-то движение, и через фальшборт перебрался первый пассажир. Это был совсем молодой парень с рыжей бородкой. Промокший насквозь, он вздрагивал, жался, словно попал не под тропический ливень, а под осенний колючий дождь. Потом к борту бросились сразу несколько наших матросов, протягивая руки следующему пассажиру. И тогда появилась женщина. Темные промокшие ее волосы были перевязаны голубой лентой, тонкой рукой, оголенной по локоть, она ухватилась за лапищу нашего боцмана, и тут я, наконец, разглядел ее лицо, расширенные иконописные глаза, казалось, были устремлены только на меня. В жизни я не видел ничего прекраснее. Почему я не рядом с боцманом? Почему не спустился палубой ниже, чтобы протянуть ей руку? Представляю, как страшно было ей взбираться по скользкому раскачивающемуся трапу, как тяжело сейчас перебираться через фальшборт. Вот она перекинула одну ногу, стройную, загорелую, омытую дождем, дотянулась до палубы, юбка ее высоко задралась, на мгновение мелькнула белая полоска трусов, боцман обнял ее, помогая встать на палубу, и вот она в сопровождении старпома поднимается сюда, к тому месту, где я стою. Конечно, сюда, ведь путь в лазарет только здесь. Мой взгляд не отрывается от ее глаз. Она потрясающе красива. Словно Афродита, рожденная из морских глубин. Я прижимаюсь к надстройке, давая ей пройти. Мокрая кофточка облегает ее упругие груди, сквозь дождь я чувствую аромат духов, запах ее тела. Я молча провожаю ее взглядом. Все мы смотрим ей вслед, не замечая идущих с ней двух других пассажиров - молодого дрожащего парня с рыжей бородкой и длиннющего, словно баскетболист, юношу с бледным лицом...

Вечером на траулере говорили только о пассажирке. Шесть месяцев мы почти не видели женщин, за исключением зубного врача, которая пробыла у нас двое суток, затратив на наше лечение часа два и остальное время проведя безвылазно в каюте капитана. Но разве сравнишь ту врачиху с нашей пассажиркой! Все уже знали, что пассажирку зовут Марией. Это прекрасное имя, как никакое иное, подходило ей. В салоне за нашим столом было два свободных места, и мы с моим напарником очень надеялись, что именно к нам за стол посадят Марию. Ночью мы не могли уснуть. Напарник мой, старый морской волк, вспоминал океанские романы. И то, как ему всегда везло, и что если даже три женщины были на траулере - одна из них была всегда его. «Проклятый рейс, - сказал он, - мало того, что нет заработка, так еще додумались вытолкнуть нас в море без женщин! Как это потрясающе - обладать женщиной в море, когда постель твою слегка покачивают волны, и вокруг такой простор, и плеск волн заглушает ее крики. И потом ты знаешь, что она проверена и можешь ничего не опасаться!»

Я уснул под шум дождя и монотонные воспоминания напарника. Мне снилась Мария, она парила надо мной в просторном зале, ее обнаженное смуглое тело пахло полынью, я тянулся к нему, я звал ее, я задыхался, вдруг я почувствовал, что лечу ей навстречу, это было поразительное сладкое парение, и в тот момент, когда мы сблизились, она отчаянно закричала. Я проснулся. Но крик этот продолжался, он стоял в моих ушах. Это пронзительно гудел тифон, мы прощались с судами, остающимися на промысле, нам оставалось семь дней хода до берегов Европы, потом еще дня четыре. И я понимал, что теперь уже не хочу столь скорого возвращения...

Утром я долго торчал в коридоре, откуда была видна дверь каюты-лазарета. Пассажиры так и не появились. Я

был не один, кажется, все наши матросы сгрудились в этом коридоре, а старпом несколько раз заходил в заветную дверь и о чем-то долго шушукался с фельдшером, который теребил свои пышные усы и разводил руками. Сколько бы я дал за то, чтобы она сейчас вышла, чтобы мы остались одни на траулере, чтобы траулер этот стал летучим голландцем. Но мольбы мои не были услышаны. После обеда я один продолжал нести свою вахту в коридоре...

В салоне я появился только к ужину и сразу почувствовал какую-то напряженную атмосферу. Не слышно было привычных шуток. Все молча и как-то неохотно ели, на мой взгляд, очень аппетитные бифштексы. Я ощущал голод и с удовольствием набросился на свою порцию. Я был уверен, что завтра обязательно встречу Марию, первый день - конечно, им нужно отдышаться, прийти в себя, а завтра мы будем вместе, и еще целых десять дней вместе, и на берег мы сойдем вместе...

Мечтания мои прервал зычный бас боцмана, который почему-то набросился на начпрода. «Пусть им готовят отдельно, ты понял, пусть отдельно, - кричал боцман, - и пусть не появляются нигде, ты понял?» - «Что ты ко мне пристал, говори с капитаном», - испуганно бормотал начпрод...

Я вышел на палубу, дождь прекратился, бескрайняя гладь океана окутывалась темнеющим небом; след, оставляемый нашим траулером, как бы разрезал пространство надвое; последние верные нам чайки еще пытались парить за кормой, огни промысла едва мерцали на горизонте. Ни в одном из иллюминаторов не горел свет. Я спустился в каюту, мой напарник сидел в темноте. На столе стояла початая банка браги. «Прекрасный вечер, - сказал я, - не хочется спать, так бы и стоял на палубе и смотрел, как появляются звезды!» Мой напарник тупо посмотрел на меня и выругался. «Ты чего, не допил что ли?» - спро-

сил я. «Да пошло бы оно все на хрен, и это море, и эти звезды! Последний рейс, и в гробу я все это видел. С моря, да еще заразу привезти!»

Он протянул мне стакан, я отпил немного, нельзя было оставлять моего напарника в таком состоянии. К концу рейса у многих не выдерживают нервы. «Послушай, что с тобой? В чем дело?!» - спросил я.

- А, ты еще не знаешь, - протянул он, - сделали нас круто, воткнули на борт спидоносцев!

Смысл его слов не сразу дошел до меня, но вдруг занемели ноги, и я с трудом опустился на койку. «Не может быть, - выдохнул я, - не может быть, затравил кто-нибудь по злобе!» Ну конечно, мысленно успокоил я себя, стал приставать к Марии старпом, иначе от него не отвяжешься. Я привстал с кровати, вцепился в рукав своего напарника. «Кто сказал тебе это? Кто сказал?» - заорал я. «Ты что, взбесился? Радиограмма была у радиста. Прижали фельдшера, тот все на капитана валит. А шеф напился и в каюте заперся, умник дерьмовый. Подставил он всех нас...» Успокойся, сказал я, как ты можешь заразиться? Ты что, по старой привычке, увидел женщину - и она должна быть твоей? - Идиот! - крикнул он. - Ты еще ничего не понял! А если завтра тебя прихватит, если аппендицит, наш лепила и тебе укол вмажет той же иглой, что и им. Да комар их укусит, и тебя тоже - вот и привет!

Как мог, я старался урезонить своего напарника, объясняя, что не через укус, не через иглу, если ее прокипятить, ничего не передастся. А ночью сам проснулся в холодном поту. Ведь я же был первым, кто мог попасться... Выйди она, кивни только мне, и я пошел бы за ней, куда бы ни позвала, ведь еще несколько часов назад мне казалось, что я, наконец - то, обрел любовь... Потом

этот страх за себя сменился страхом за нее. Эти двое, которые тоже заражены, не ею ли? Они сейчас вместе, они выясняют, они могут расправиться с ней, выбросить ее за борт, покалечить. Значит, она и с тем рыжим, и с другим - фитилем, а может быть, они втроем, нет, нет, она не способна на это, это наверняка рыжий, сходил в бордель во Фритауне или подцепил дешевую уличную проститутку. Я пытался оправдать ее, и в то же время начинал ощущать подступающую к самому горлу злобу...

На следующий день траулер превратился в плавучий ад. Даже самые молчаливые матросы кричали, чтобы капитан вышел из каюты. Когда он так и не появился, стали требовать старпома, чтобы тот немедленно высадил пассажиров. «Где я вам возьму госпиталь? - отбивался старпом. - В порт захода никто не даст, на шлюпку их что ли или в океан?» - «А хотя бы и так! - крикнул боцман. - Учти, шеф, народ на взводе, выкинут их ночью к трепаной бабушке! А то они и сами друг другу глотки перегрызут!»

Целый день все выясняли отношения. За ужином никто не притронулся к еде. Мы стучали по столу мисками, требуя выхода капитана. Но тот так и не появился.

Ночью я никак не мог уснуть, меня раздражал храп моего напарника и удушливый сивушный запах, стоявший в каюте. Я решил выйти на палубу и отдышаться там в тишине. Было прохладно, мы отошли от тропиков миль на триста. Тихая штилевая погода способствовала нашему ходу. Ветерок рождался лишь нашим движением, и все же, чтобы не замерзнуть, мне пришлось укрыться за судовую трубу. Не хотелось ни о чем думать. И вдруг я услышал почти рядом с собой женский голос. Он был переливчат, словно слова не говорились, а пелись, словно встала на пути корабля сирена и заманивает меня. Я должен был бы заткнуть уши, как Одиссей, но напротив я пошел на

голос, я стал вслушиваться в слова - и слова эти были созвучны моим мыслям: «Я не хочу жить, я хотела бы раствориться в этой штилевой воде, чтобы душа моя стала чайкой, мне не нужно тело, оно опротивело мне...» И тут мужской голос стал успокаивать: «У тебя самое прекрасное тело, ты самая красивая женщина на земле! Как ты можешь так думать?» И второй более юный голос: «Нет безвыходных положений, все мы смертны, великий грех - самоубийство. Взгляни, какая луна, какая ночь подарена нам...»

Они продолжали нежно говорить друг с другом, не замечая меня, я осторожно выглянул из-за трубы. Мария оглянулась, словно почувствовала мое присутствие. В глазах ее стояли слезы. Длинный юноша обнимал ее за плечи, а второй старался стать так, чтобы прикрыть от ветра. Хорошо, что было темно, что они не видели меня, не видели, как вспыхнуло мое лицо, Осторожно ступая, я спустился по трапу. Все вокруг было наполнено призрачным желтым светом. И штилевое море, и эта огромная луна, и легкий ветерок - все было так соразмерно, все было так прекрасно задумано, все, кроме нас - мыслящих и озлобленных, обреченных на вечные страдания. Как нужно было все измерять на свой аршин, думая, что эти юнцы расправятся с Марией. Нет, не от них шла опасность. Они продолжали любить ее. Это я стучал миской вместе со всеми, с теми, кто требовал выбросить пассажиров на шлюпке, обрести их на скорую смерть. И я посмотрел вверх, туда, где на мачте наши ходовые огни мерцали на фоне звезд, и прошептал: «Господи, прости нас, ибо не ведаем, что творим...»

## КРИК ПЕТУХА

Густые туманы пали на Атлантику. На целую неделю район промысла погрузился в непроницаемую мглу. В пространстве исчезли ориентиры. Ватная пелена плотно окружила плавбазу. С крыла мостика не видно ни мачт, ни кормовой надстройки. Мы застряли в белизне и повисли между водой и небесами. Расплывчатые неясные пятна судовых огней мерцают с правого борта. Это суда-ловцы. Они ждут нас с кошельками, полными рыбы. Иголку в стогу сена легче отыскать, чем нужное нам судно. «Неринга! Неринга!» - бесполезно кричу я в мегафон, срывая голос. Плавбаза движется осторожно, сопровождая свой путь воем тифонов. Звук натывается на безответную стену. Машинный телеграф замер на отметке «самый малый вперед». С верхней палубы рубки, с навесов соскакивают тяжелые капли воды. Это не дождь. Дождей в этом районе не было всю зиму. Туман родил подобие дождя. Со всех сторон обступает нас мокрая клубящаяся масса. Где солнце? Где другие суда? Что вообще творится вокруг? Это знает только капитан, уткнувший лицо в экран локатора. Солнце по времени давно взошло, но свет его не в силах пробить белую массу тумана, прорваться сквозь нее. Надрывно гудит плавбаза, предупреждая сейнер о своем приближении. Вой тифонов пронизывает насквозь. «Неринга... Неринга... Почему молчите... Неринга не исчезайте со связи», - это радист повторяет общую нашу мольбу. Потом отрывается от микрофона и буравит меня взглядом покрасневших глаз. Если бы не ты, говорит его взгляд, спокойно лежали бы в дрейфе. Я не оправдываюсь...

«Неринга» уже не в поле зрения локатора, она в мертвой зоне, где-то здесь, совсем рядом. Каждое мгновение может стать роковым. Громада базы надвигается на неви-

димый сейнер. «Эй, на баке, смотрите внимательно!» - капитан вытирает лицо ладонью. Непонятно пот или капли от тумана. Что они могут увидеть? Очертания людей на баке расплывчаты. Они как-будто плывут в воздухе, палубы не видно. Они кружатся, словно привязанные к фок-мачте незримыми канатами.

От напряженного пристального стремления что-либо увидеть в глазах возникают, искрятся белые мухи. Впечатление такое, будто смотришь на непрерывно идущий снег.

Зачем мы рискуем? У нас полно рыбы в трюмах... Пусть на сейнере выпустят рыбу из кошелька и ложатся в дрейф. Такая спасительная и предательская мысль приходит ко мне. Капитан и рулевой ждут моего кивка. Имею ли я право рисковать. Имею ли я вообще право командовать промыслом. Я уже готов сдаться. Прислушиваюсь к плеску воды у борта. Выхожу на крыло и всматриваюсь в туман.

Тифон смолк. Радист устал повторять координаты. И вдруг в наступившей тишине мы слышим крик петуха. Раскатистый призывный крик. Галлюцинацией кажется все это. Крик повторяется. «Да они же рядом!» - кричит капитан. Уже слышны голоса с правого борта. Это матросы «Неринги» окликают нас. База и сейнер, словно притягиваемые магнитами, сближаются по инерции. И вот уже в молочном пространстве прорисовывается силуэт сейнера, как будто медленно проявляется изображение на фотобумаге, сначала смутное, расплывчатое, но вот все четче, вот приобрело знакомые очертания, появились надстройка, труба, мачты. Швартовка идет почти вслепую. Капитан говорит мне: «Боязно, наверное, с непривычки, а мы на Джорджес банке раньше месяцами в таком месиве работали! Иностранцы держались подальше от нас! Русский рыбацкий флот! А что же мы без рыбы, что ли, сидеть будем!»

В кошельке у сейнера тонн сорок сардины, грохочут стампы, гудят лебедки...Снова кричит на сейнере петух. Ему в ответ залиvisto лает наш судовой пес Яшка.

Закрываешь глаза и кажется, что проснулся в деревне рано утром, и сейчас взойдет солнце и рассеет пелену тумана.

## **НОЧНОЙ ЗАМЕТ КАПИТАНА ТИРХОВА**

- Давай дадим другие координаты! - сказал мне капитан Тирхов, когда наше судно подходило к промыслу. Вид у него был заговорщицкий, черные волосы, словно крыло ворона, закрывали один глаз, вторым глазом он мне подмигивал. Я ничего не понял. Тогда он стал разъяснять мне, как капризному ребенку: «Чего ты упрямисься! Согласись, что так будет лучше, так будет разумнее. Мы сообщим, что идем на сто миль севернее, что прибудем на промысел только через два дня». Я возмущался, я кричал, что не допущу обмана. Я был представителем конторы, которая старалась держать в узде даже таких капитанов, как Тирхов. Он был орденоносец, с ним носились как с писаной торбой. Я впервые шел на промысел вместе с ним. Я не мог понять его. Он, оказывается, хотел остановиться и даже стать на якорь, чтобы избавиться от запасов вина. Сухое вино давали тем судам, которые работали в тропиках. В жаркие дни полагалось к обеду выдавать стакан вина. Для моряков это вино было, что слону дробина. Но, как объяснял мне Тирхов, именно в дни выдачи вина на судне появлялись пьяные. К этим дням матросы готовились заранее, загодя варили самогон из рыбной муки или ставили бродить соки, взятые на судовом ларьке. Выпив

стакан сухого вина, они уходили в каюту и там добавляли самогона. Обвинить их в пьянстве было невозможно, ведь сам капитан выдал им вина. «А каково мне с пьяными идти на замет!» - почти кричал на меня Тирхов. Я по-прежнему говорил нет. К вечеру против меня была настроена вся команда, я стал источником всех бед, и меня охотно бы выкинули за борт, как библейского Иону, чтобы справить свой законный праздник - праздник уничтожения сухого вина. К утру я сдался, мы нашли мелководье и бросили там якорь, судовые двигатели смолкли. Господь послал нам тишайший и светлый день. Штилевое, глянцевое море расстелило перед нами свою ровную скатерть, на палубе был поставлен длинный стол, и сюда же были вынесены все запасы сухого вина. Это было вино самых худших сортов. Чего еще было ждать от наших снабженцев? Но вина было много. Думается, что если выпить такое количество воды, тоже можно запьянеть, а здесь хоть и малые, но все же были градусы. К тому же ярко светило солнце, подогревая сверху наши еще незагорелые тела. Женщин на судне не было, поэтому сидели, кто в трусах, кто в майке, мочились прямо с борта и пели самые разухабистые песни. А потом плясали, да так что содрогалась палуба. А когда расплывающийся шар солнца нырнул в океан, и сразу стало темно, включили от аварийного движка прожекторы, и в их свете все происходящее стало казаться мне нереальным. Словно я видел чудный сон, где был зван на бал и, погруженный в теплые волны, парил над паркетом-палубой, и вокруг меня вальсировали полуголые матросы, а кто-то ползал по палубе в поисках заветной туфельки. Мое сладкое видение прервал Тирхов, он растормошил меня и сказал, что у него есть одна прекрасная идея. Конечно, идея эта была в том, что надо поискать, где бы еще добавить. Свои запасы водки он выпил еще на отходе, я в рейс вод-

ки не брал, так что идея Тирхова оставалась ничем не подкрепленной и неосуществимой. Так думал я. Но не Тирхов. Недаром это был самый удачливый капитан нашего флота и самый изобретательный. Оказывается, он успел связаться по радио со своим корешем - капитаном такого же судна, который был на заходе в инпорту и, естественно, набрал там несколько ящичков боккарди. «Понимаешь, - сладко улыбаясь, говорил мне Тирхов, - это ведь не сухарь, это сорок три градуса, только никому - ни гу-гу. Идем только вдвоем». В последний момент мне удалось уговорить Тирхова взять с собой еще и матроса. Мы быстро спустили шлюпку-ледянку, молодой матрос молча дернул за шнур и завел движок, и мы рванули в ночь. Я не понимал, как ориентируется Тирхов, вокруг стояла такая мгла, что казалось, шлюпка сейчас воткнется в нее и застрянет. Но Тирхов нюхом чуял запасы боккарди. Уже минут через десять он кричал во тьму: «Вася, курва, отзовись, мы здесь, Вася!» И Вася отозвался, ибо тьму прорезал прожектор, и мы пошли по его лучу. И вот уже нас втащили на Васин корабль. И Тирхов стал обнимать Васю, а Вася, оказавшийся на две головы выше Тирхова, наклонился и чуть ли не плакал на плече друга. Вася был уже давно пьян. Но запасы у него еще были. И он сопровождал нас в свою каюту, где не только стояли бутылки, но и лежали диковинные заморские фрукты. Тирхов, не закусывая, выпил подряд два стакана и сразу повеселел. Я только пригубил, я понимал, что должен остаться трезвым, мы ведь покинули свой пьяный корабль, никого не оповестив об этом. И теперь надо было как можно скорее вернуться. Между тем Вася вырубился и уронил голову на стол, а Тирхов выскользнул за дверь, пробормотав, что сейчас приведет механика и что тот тоже его крепкий кореш. Прошло минут десять, я сидел в каюте и ждал. Какая-то нервная дрожь охватила

меня. Я выбежал в коридор. Было совершенно темно. Хорошо, что я знал суда этого проекта почти наизусть. Я выскочил на палубу, прожектор освещал борт и прильнувшую к этому борту нашу шлюпку, в которой дремал матрос. Тирхова там не было. Я стал кричать, что есть силы: «Тирхов! Тирхов!» Никто не отзывался. Судно словно вымерло, вернее, все здесь были пьяны. Я спустился в камбуз, потом поднялся в кают-компанию, повсюду стоял силовуханный запах, кругом были разбросаны бутылки, но людей не было. Я решил, что все покинули судно, и почувствовал, как холодный пот прошибает меня. Я стал бегать от каюты к каюте и кричать - Тирхова нигде не было. Никогда я еще не попадал в столь глупое положение. Совершенно случайно я распахнул дверь гальюна, и, о, чудо! - Тирхов был здесь, он мирно спал на толчке. Я стал тормошить его. Он очнулся и долго не мог понять, где он и что от него хотят. Мне пришлось волоочь его по палубе и спускать в шлюпку, я крыл его последними словами. Я окатил его водой, и теперь окончательно придя в себя, он точно вывел шлюпку к борту своего судна. Там тоже все спали. Силы покинули меня, я бухнулся на диван в своей каюте и сразу же погрузился в сон. Но спал я не больше часа. Громкие сигналы судового колокола разбудили меня. За дверьми слышался топот ног. Я быстро накинул куртку и поспешил в рубку. Судно наше несло на вираже, выметывая кошелек. Радист повис на моей руке, он чуть не плакал, он кричал: «Остановите его, это же безумие! Он пьян, люди пьяны! И ему вздумалось идти на замет!» Я бросился к Тирхову, тот словно охотничий сокол был весь напряжен, он ждал добычу и готов был схватить ее. «Образумьтесь! - закричал я. - Вы погубите людей! Здесь же отмель и сплошные рифы, вы порвете сети!» Тирхов отмахнулся от меня как от надоедливой

мухи. Сети уже начали стягивать, и он выбежал на палубу. Его действия были четки и выверены. И следа похмелья не было на его лице. Я тоже выскочил на палубу. Рыба бурлила в сетях, словно в огромном котле. Прожекторы высвечивали эту пузырящуюся и ворочающуюся живую массу. В кошельке было тонн двадцать чистой скумбрии. Нам не надо было идти в район промысла. Весь флот шел к нам, шел сюда на большую рыбалку, где удача ждала всех и где было так мелко, что, действительно, здесь пьяному было море по колено.

## НА ЖИВЦА

Слух о том, что на плавбазе «Фурманов» обитает настоящая русская красавица, быстро облетел весь промысел. Чтобы только взглянуть на нее, капитаны судов-ловцов старались попасть на сдачу рыбы только на эту плавбазу. Они готовы были терять время в очереди, они готовы были на все. И действительно, тот, кому довелось увидеть врачиху, так между собой называли ее капитаны, уже не мог спать спокойно, ибо она приходила в его самые сладострастные сны. Остальным членам команд судов-ловцов, изнывающих в океане без женщин, не дано даже было увидеть врачиху. И они расспрашивали своих капитанов - какая же она, эта сладкая женщина. И капитаны не могли толком объяснить, ибо не хватало слов, и могли ли слова передать то притяжение, которое возникало, когда она поднимала на тебя свои васильковые глаза, когда дышала учащенно, и высокая грудь ее вздымалась, и каждое движение обещало такую глубину страсти, за которую не жалко было отдать всю жизнь. Отдать все, только бы без остатка раствориться в этой женщине, в ее белом

парном теле, слиться с ее дыханием, или хотя бы просто прикоснуться к ее нежной коже. И капитаны старались быстрее сделать замет, чтобы заполнить кошелек рыбой, чтобы получить право звать к себе плавбазу. И в ночи они всматривались в огоньки на горизонте, дрожащие огоньки малых судов, чтобы первыми увидеть, как их затмевает праздничное сияние прожекторов плавбазы. И едва борта соприкасались, капитан ловца устремлялся к трапу, и карабкался вверх с удивительной ловкостью, одной рукой хватаясь за поручни, а другой бережно придерживая портфель, набитый бутылками рома и специальным угощением - рулетом или салатом из креветок, или же черепашьим тающим во рту мясом. Вахтенный сопровождал в рубку, где стоял хозяин плавбазы, всегда широко улыбающийся орденосец Вартанов. Он улыбался в свои загибающиеся кверху, как у Чапаева, усы и протягивал руку, чтобы перехватить портфель и определить по весу, какую встречу оказать взошедшему на борт. А тот, ослепленный огнями и уютom, стоял и ждал решения своей участи, не будешь же говорить открыто при всех штурманах, скопившихся в рубке, зачем ты пришел сюда, когда можно было послать простого матроса-счетчика, и тот подписал бы протокол о сдаче рыбы. Вартанов продолжал улыбаться и делал жест рукой, жест щедрого распорядителя райским садом. И надо было идти за ним, палубой ниже, над которой витал аромат духов. И дверь лазарета открывалась, и оттуда пальчиком манила она, вся такая душистая и теплая в распахивающем халате, и с таким чарующим голоском, что можно было упасть в обморок, еще не дойдя до нее или излиться страстью на расстоянии, опустошив себя и покрыв позором. Но так случалось редко, ибо капитаны всегда должны обладать достойной выдержкой, и понимают, что страсть должна всегда быть взаимной.

Наверху же стампы быстро перегружали рыбу, а потому торопили - сначала звонками, потом стуком в дверь, потом сам Вартанов звал - надо было подписывать акт о сдаче рыбы. Глаза не хотели смотреть на скучные цифры. Они хотели сохранить видение роскошного тела и распахнутых бедер. Подпись ставилась сама собой. Вартанов наливал рюмку, выпивал сам и продолжал улыбаться, тербя кончики усов. Ни одна из плавбаз не набрала столько рыбы, сколько смог набрать Вартанов. Ни у одной плавбазы не было такого запаса неучтенной рыбы. «Надо уметь ловить на живца, - говорил он, подвыпив, своим помощникам, - чтобы вы делали без меня!» Иногда в их компанию приходила врачиха, и тогда они все затихали и смотрели на нее. Она пила аккуратно, из рюмки, которую держала, оставив свой нежный пальчик. Вартанов становился перед ней на колени и просил: «Королева, допусти меня, смилуйся, королева!» Она отстранялась, улыбалась своей ослепительной улыбкой, но никаких надежд своему хозяину не оставляла. Иногда же протягивала своим нежным голосом: «Мы так не договаривались, Вартанов... » А внизу, там, где плескалась темная вода, уже жался к борту очередной ловец, и в кошельке его было полно рыбы.

## **КОРАБЛИКИ РЫБАЦКОГО ФЛОТА**

Перед рассветом выйти на балкон, когда все окутывает пелена плотного тумана. Не видно ни зданий, ни огней проезжающих машин. Вдали угадывается невидимое море. Право руля. Так держать. Курс прежний - ход задний. Где матрос-рулевой? Опять спит на вахте. Вот так и проспали флот! Буфетчица - горячего кофе в рубку. И буфетчицы тоже не дозовешься. Сопение в комнате за спиной, при-

вычное ворчание: «Ночь уже, когда же все это кончится?» Пора выбирать трал. Надрывно визжат лебедки. Трал вползает на слип. Тугой, как перекаченный баллон. Покрытый слизью молоки. Подойти, потрогать. Дернул за шворку - и хлынул поток. Осторожней, собьет с ног! Эй, боцман! Где ты, боцман? Куда подевались все добытки? Палуба пуста, словно всех ветром сдуло...

Придется спускаться вниз. Опять все ушли греться в мукомолку. Лестница не освещена, запах гнили и мочи. Конец ноября. Гололед. Надо держаться за леера, чтобы не упасть за борт. Нет лееров. Зато столько огней впереди. Похоже, что вышел в иностранном порту. Зеленые, голубые, красные буквы скачут сквозь пелену тумана. Открыто круглосуточно. Буфетчица купила себе магазин. Вот она развалилась на стойке. Глаза посоловели. Руки в кольцах, на смуглой шее золотое кольцо. «Это вы, капитан? Будете здесь или возьмете домой?» - И здесь, и домой - разве она не понимает. В углу дремлет бомж. Закутался в драный шерстяной платок, наружу торчит свекольный нос и обвисшие усы. Ноздри со свистом вбирают воздух. Феоктистович - начальник всего промысла, узнает бомжа капитан. Скучно одной ночью, жалуется буфетчица. И оправдывается: сам же ты нас и свел... А иначе было нельзя, вспоминает капитан. Послал к нему в каюту - обслужи по полной программе. Неделю с него не слезала. Пока рыбу не сдали. А то раскричался: «Всех поувольняю! Визы закрою. В резерве сгною!» А потом выкарабкался на палубу, еле на ногах стоит. Штаны не топорщатся, в лице ни кровинки. Прохрипел жалобно: в ближайший порт заход объявляю. А первый помощник уже донос послал. Перехватили пакет у Канар... Помогли японцы. Послали свой катер. С японцами пили неделю, потом завели сеть у борта и окунали всех по очере-

ди. Морской вытрезвитель. Спор двух держав - что сильнее самогон или sake...

В Иокोगама на верфи тоже вспоминают. Хорошо было купаться в океане. Бригадир Исиката передвигается на люльке вдоль борта траулера. Мелькают синеватые огоньки. Металл медленно плавится. Такая толстая обшивка ее не разрезать сразу. Сварщики облепили корпус как муравьи. У русских очень жгучие напитки. Пьют стаканами. Надо понемногу и смешивать с водой. Вместо гейши - буфетчица. Груды, как два холма. И все наливает и наливает. «Эй, Исиката, не спи!» - кричит бригадир, он похож на русского начальника - такой же свекольный нос и обвисшие усы. Бригадир Хакимото очень хитрый бригадир. Купил траулер почти даром. Принес русскому начальнику ящик водки и подарил «панасоник». Русский включил музыку, выпил два стакана и сразу стал очень добрым. Обнимал Хакимото, целовал его. Хакимото испугался. А вдруг-голубой. В Японии это не принято. Говорил: «Большой начальник, Феоктистович, я тебе за траулер еще две бутылки поставлю! Саке из Кандзуры! По рукам!» Хакимото в Москве учился, мог так сказать. Хоросо! А что из траулера сделаем? Нет, не бойся, не ракеты! Конечно, иголки... Иголки везде нужны. Жена твоя, Феоктистович купит, спасибо скажет...

Феоктистович проснулся, заворочался в углу, руку из-под шали вытянул. Жена? Какая жена, вот мой дом, здесь, в «комке». Ждал, когда стакан подадут. Только капитан ему протянул стакан, как выскочил из-под прилавка сантехник и перехватил. Откуда здесь сантехник появился? - удивился капитан. - Наверное, бывший стармех... «Я кафелем ему бассейн заделал!» - похвастался сантехник. Сам маленький, а руки огромные, все в белилах. И лицо тоже белое. Ключ раздвижной вынул из своей сумки, стал при-

лаживать к ноге. «Хочет ногу продать, - вздохнула буфетчица, все, что мог, уже загнал. Почти как наш Феоктистович!» Сантехник всосал водку одним глотком. Феоктистович проглотил слюну и застонал. «Раньше надо было думать, - сказала ему буфетчица, - зачем фирму банкротил?» Он закрылся шалью и промычал: «Это не я, это Сартюкович...»...

Сартюкович сидел в полотняном кресле на берегу Адриатики и кормил чаек. У ног его лежали две нимфетки и сосали мороженое. Красный круг солнца расплывался на горизонте, готовясь нырнуть в воду. Сартюкович встал и огладил свою волосатую грудь. Нимфетки принялись отгонять чаек. Выпроводив нимфеток, всю ночь пересчитывал наличные - хрустящие зеленые и синие бумажки. Отделил доллары от марок. Из марок сделал бумажные кораблики. Пускал их в ванне. Кораблики не хотели тонуть. Подумал: вовремя я снял наличку. А ведь были умники - не хотели продавать траулеры. Не хотели ходить под чужим флагом. А какая разница? Нацепил на мачту панамский - и никаких налогов! Ванна огромная и круглая - что среднее между бассейном и лесным прудом. Ароматизаторы наполняют пространство запахом сосен. Сартюкович нырнул и в воде успел сосчитать до семидесяти... Бумажные кораблики поплыли в Японию...

На Адриатике наступило утро... В Японии Исиката вернулся с работы и выпил первую чашечку саке. В городе капитана давно уже отобедали. Буфетчица спала после ночной работы. Феоктистович обходил урны, специальным крючком шевеля их содержимое. Капитан выслушивал ворчание жены. Думал - надо было уйти под удобным флагом. Не смог перебороть имперское сознание. Ходить под чужим флагом все равно, что передвигаться под чужой юбкой. Жена стоит на своем: какое нам дело до флага? Надое-

ло. Столько лет носили на всех демонстрациях! Вон, сосед, за один рейс схватил столько баксов, что нам и не снилось... Ответил ей мысленно, чтобы не ввязываться: соседу повезло, а где сейчас соседа траулер - арестован за долги. Ты хоть представляешь, что значит торчать в чужом порту без копейки. Фирма - банкрот. Панама молчит. Москве тоже никакого дела. Отвечают - вы ходили под чужим флагом. Жара. Полгода страшного потного сна. Жена не хочет ни во что вникать. Она своё гнёт: «Позавели себе в тех портах негритянок, научились всяким извращениям, пропили расчет, а сосед - трезвенник, сосед не пил, флот пропили... » У ней свои понятия, что с неё возьмёшь? Остается одно: как страус в песок, голову под подушку, уши сжать. И тогда тоненько зазвучит флейта и начнется цветной карнавал. Рио-де-Жанейро. На тебе белые шорты. Мулатки с крутыми бедрами. Бьют тамтамы. Сладкие шоколадные груди. Для русских моряков бесплатно и без очереди. Мир, дружба... Свобода, равенство, братство...

И возвращение. Оркестры на причалах. Сам секретарь обкома со свитой. Все поздравляют. Финкелынтейн раздает аванс. Детскими ручками выкидывает на стол пачки сторублевков. Конторский клоп с красной лысиной. Очень доволен. Планировали убытки - два миллиона, оказалось - всего-то каких-то пятьсот тысяч! Зато рыбу стране, хоть мелкой, но много. Через весь океан везли. У себя в заливе не ловили, в реках тоже не ловили - там всегда успеется. А эта из океана - ничья, не мы поймает, так японцы. А с какой стати им отдавать. И не наше это дело, где ловить. Аванс получили и довольны. На причале жены с детьми. Караулят. Кричат...

Подушку вырывает, руки отжимает от ушей. Никуда не денешься. Лицо расплывшееся, заплаканное. «Иди в кадры, поклонись, целый год уже торчишь здесь!» В кадрах

делать нечего. «Тысячу баксов давай - пойдешь в рейс». Заработаю - отдам. «Знаем ваши обещалки! Думаешь это мне одной - начальнику порта дай, фирме половину отстегни, лоцману - тоже надо, а про Регистр забыли?..» Я согласен идти в рейс под любым флагом. «Поздно, надо было раньше соглашаться!» Скорее бы ночь. Ночью жена спит и к балкону подступает молчаливое море...

Прекрасны ночи на Адриатике, где крупные яркие звезды смотрятся в теплое штилевое зеркало вод, уютны и тихи ночи в Японии, где огни больших городов делают их светлыми и спокойными, но нету ночей лучших, чем в городе, где живет капитан, ожидающий рейса, ибо что может быть таинственней, чем полосы туманов, лежащих на побережье и скрывающих все печали. И можно всегда отыскать силуэты кораблей в этой ночной дымке...

## **ИОНЫ**

*Мы так долго скитались по морям, что выцвели на переборках кают фотографии любимых. Все свои сны рассказав друг другу, мы превратились в одно существо. Очередная волна возносит нас вверх, и словно решив, что мы не достойны неба, низвергает в пучину. Но и воды не принимают нас. Мы забыли имя своего судна. Соль выела буквы на борту. Ветер истрепал все флаги. Мы пропахли рыбой и аммиаком и отрастили бороды, как у древних пророков. Ни один порт не даст добро на нашу стоянку у причала. Иона — наше имя. Мы не желаем идти в библейскую Ниневию и призывать к очищению от грехов. Нас не пугает чрево кита. Возможно, он давно проглотил нас. И восходы, и закаты выдуманы нами. А визг лебедек и тралы, переполненные рыбой и вползающие по слипу — всего лишь въевшиеся в память повторы. Трюмы наши забиты доверху. Лишь мукомолка-рыбий крематорий продолжает изрыгать приторный дым. Посыплем головы теплой рыбьей мукой и разрежем свои истлевшие от пота одежды. Не будем искать виновных, чтобы выбросить за борт, мы все — ионы. Мы, не возвратившиеся в срок, обрекаем на блуд своих жен. Они устали стоять на причалах с высохшими цветами в руках. Утрачен счет дням. Страна, где находится порт приписки, сменила название под надоевшие такты Лебединого озера. Она обрела свободу, которую мы искали в морях. Сумеет ли мы поведать о том, какие ветры рождает свободная стихия. Мы давно разучились говорить и объясняться жестами. Да и жестов нам много не надо. Ведь мы одно существо. И не можем различить — кто же у нас капитан. Ведь только он знает путь в Ниневию.*

## КАМНЕПАД

Все рушилось. Стронулся один, второй камень - и пошло. Такой обвал, что и в страшном сне не приснится. Было, правда, нечто подобное в его прошлой жизни - но то был краткий миг, и испугаться тогда по-настоящему не успели. В студенчестве попал Петр Самойлович в отряд альпинистов, и угодили они под лавину в горах, но повезло - отсиделись в пещере, переждали. А теперь и укрыться негде...

Сами нынешний обвал и начали. Надо было предвидеть, к чему вся эта гласность приведет. А ведь были и такие, кто гордо заявлял: партия начала перестройку! Сегодня суббота, а в обкоме наверняка никого нет - разве можно было такое раньше даже представить. Не только по субботам и воскресеньям, но и в праздники могли на работу выдернуть. Беспокойный был первый секретарь Эдуард Евсеевич, а сейчас только улыбается, вожжи отпустил и не поймешь, что задумал. Сказал только, когда сократили правовой отдел, которым Петр Самойлович командовал, мол, все это временно, надо пар из толпы выпустить, построим - будешь народным депутатом, и кабинет за тобой оставим. Успокоил, называется, в депутаты надо еще на выборах проскочить, да и временно ли вся эта заварушка, шестой год свистопляска идет. И публика в приемной у первого совсем непонятная трется, какие-то мальчики в кожаных куртках и джинсах. Раньше, упаси бог, появиться в здании обкома без галстука, в таком расхристанном виде...

И совсем смешно - стали коллеги акции покупать какие-то. Вроде будут не то акционерные общества, не то совместные компании. Чушь несусветная. Однако не ста-

нешь же от других отставать, раз «первый» купил, то и остальные потянулись за этими пустыми бумажками. Петр Самойлович тоже две штуки приобрел, выкинул двадцать тысяч, считай, на ветер. Мало того, что эти дельцы деньги выцыганили, допустил их первый в святая святых - отдал им комнату отдыха, примыкающую к его кабинету. Туда и своих-то редко пускали, на торжественные приемы только, а тут потянулись в нее сомнительные торгаши. Там выход есть прямо в зимний сад, веранда застекленная, диваны, кожей обитые, чистота первозданная, а они, эти новые друзья первого, изгадили все вокруг - курят, не переставая, пьют пиво, галдят... Сколько это будет продолжаться - никому не известно...

И сегодня с утра мысли обо всем этом не давали покоя. Петр Самойлович истомился от безделья, ходил по дому как неприкаянный. Жена чуть свет уехала на дачу, в другое время обрадовался бы, позвонил бы Ларисе, закатились куда-нибудь на речку. Раньше проще все было, машину в любой момент можно было вызвать, а теперь, когда отдел сократили, быстро и машины лишили. Своей не завел, хотя и окончил технический институт, но к технике не тянуло. «Жигули», правда, купил - грех было отказываться, за полцены выделили, но сразу понял - это не для него, отдал сыну - пусть потешится. А вот теперь попробуй, вытащи из дома Ларису, коли нет машины. Все в сторону норовят вильнуть, и она - не исключение. Это Лариса-то, которую, можно сказать, в люди вывел, из занюханного клуба вытащил. Там, в клубе, изображала она снегурочек и фей, а теперь главный методист по культуре, и квартиру ей помог получить, все для нее сделал... А позвонил недавно, невинным голосом заворковала: устала, мол, работы по горло - знал он отлично, какая у методистов работа - не бей лежачего - и она почувствовала, что

не проведешь, стала объяснять: мама приехала в гости, и вообще, все равно ничего не получится, месячные.

Да разве затем хотел увидеть, излить хотелось свои обиды. Жене того не расскажешь, что ей. Жена давно уже живет в своем замкнутом мирке, спряталась, как улитка, - и довольна. Ну ладно, жена и Лариса - это женщины, у них ли дружбы и участия искать... Но вот, казалось бы, самый верный человек - бывший заместитель - с трудом его кандидатуру через бюро в свое время протащил, а вчера прошел мимо, даже не поздоровался. И что самое удивительное, записался в демократы! Организует какую-то свою партию, набралось человек двадцать. Будет команда - и этих горлопанов быстро на место поставят. Приносили из КГБ списки - ни одного серьезного человека там нет! Придет время, аукнется это им, пожалеют, что воду мутили. Приползет этот бывший заместитель к нему, Петру Самойловичу, на коленях будет каяться... Но пусть за свое предательство сам отвечает.

Кто надежен и никогда не предаст, так это Лева Рубин, вот кого надо было сделать своим заместителем. Пытался - но бюро заартачилось - фамилия и имя их не устроили. Стал доказывать - ведь это чисто русский человек, и слушать не захотели...

Петр Самойлович подошел к телефону, набрал номер Рубина, в ответ - длинные гудки. Этого и следовало ожидать. Август на исходе, Лева и зимой по выходным на даче торчит, а тут время такое благодатное - где же ему быть, как не у себя на даче. Полный смысл туда подъехать...

Такси удалось поймать с большим трудом, угрюмый толстомордый шофер запросил сто рублей, стольник, как он выразился, пришлось согласиться, не мучиться же в душной и переполненной электричке, да потом еще и автобуса ждать, бог с ними, с деньгами, да и что такое они

сегодня, скоро чистая бумага, на которой их печатают, будет дороже цениться. В такси Петр Самойлович постарался расслабиться и не думать ни о чем. Смотрел на мелькавшие вдоль дороги яблоневые сады, перелески, стога сена. Хотелось уверить себя в том, что прошедшие дни растворились в прозрачном свете августа, и вообще не было их, так - привиделся кошмар, из тех, чем напичканы фильмы ужасов, которые смотрит на своем видеке его великовозрастный сын, организовавший некий полуправильный кооператив по обмену видеокассетами.

Леву он разыскал на берегу озера, тот сидел с этюдником и весело насвистывал какую-то старинную мелодию. Рубин был моложе Петра Самойловича лет на десять, сорока еще нет, но выглядит таким старичком-боровичком. Глубокие морщины прорезали лоб, в бороде пробивается седина. Лева Рубин сидел на траве - босой, пятнистые штаны закатаны до колен, рукава куртки открывали мускулистые руки. Петр Самойлович в белой отутюженной рубашке, в заграничной куртке, рядом с Рубиным выглядел respectable меценатом, приехавшим, чтобы выручить заблудшего художника, купив его очередную картину. Раньше и действительно приходилось выручать Рубина. Теперь положение переменялось. Выручка требовалась ему, Петру Самойловичу, - нужно было ему хотя бы дружеское участие и сочувствие, за этим и примчался сюда.

Лева, заметив гостя, вскочил с травы, чуть не опрокинул этюдник, распахнул руки и пророкотал своим густым басом:

- Господи! Да неужто? Какая честь!

Петр Самойлович впервые за этот день улыбнулся и облегченно вздохнул. Лева сложил этюдник, и они неспешно побрели по узкой тропинке через тенистый сад к светящемуся яркой желтизной домику с колоннами - руби-

новской даче. Лева тотчас стал возиться со щепой, потом усиленно раздувал самовар.

На веранде повсюду были разбросаны краски, бутылки, какое-то пахнущее олифой тряпье. На одной из стен были приколоты чертежи. Лева работал в Гражданпроекте архитектором, но, сколько помнится, на дом работу не брал. Что-то было изображено в восточном духе - то ли пагода, то ли иной храм. Для японцев, что ли, проектирует, подумал Петр Самойлович. Заметив, что он рассматривает эскизы, Рубин пояснил:

- Фирма одна заказала, большие деньги дают, сам Эдуард Евсеевич рекомендовал.

Петр Самойлович усмехнулся, любит Лева прихвастнуть, станет первый с какой-то фирмой возиться, да и до Рубина вряд ли снизойдет...

Лева быстро соорудил стол, вытер тарелки полотенцем, нарезал хлеб. Все было, как обычно, как не раз происходило в прежние наезды сюда, правда, впервые добрался на эту дачу Петр Самойлович один, последнее время приезжал с Ларисой, были до нее и другие...

- Может быть, по стопке? - предложил Лева.

Выпили молча. Петр Самойлович поморщился - ну и адское пойло, здешние самогонщики перестарались. Надо было с собой прихватить бутылочку коньяка, но где его по нынешним временам раздобудешь. Раньше проблем не было - в обкомовском буфете не переводился армянский... Да и в магазине можно было купить, а теперь только в так называемых люксах...

- Ты слышал, что у нас творится? - спросил Петр Самойлович, щурясь от солнечных лучей, пронизывающих веранду.

Спросил и посмотрел на Леву исподлобья, ждал реакции, уверен был, что найдет тот слова утешения и сочув-

ствия. Но Лева только скривил улыбку и по-новой наполнил граненые стаканы. Петр Самойлович пить не стал, откинулся в плетеном кресле и опустил руки.

- Рушатся все основы, все принципы, - после долгого молчания протянул Петр Самойлович.

- Оставили бы твой отдел, - сказал Лева, - тоже запел бы под дудку ваших верхов, плюрализм стал бы насаждать, ничего страшного, за семьдесят с лишним лет нас всему научили - говорить одно, делать другое, а думать совсем иное...

Таких слов Петр Самойлович от Левы не ожидал. Раньше ни звука поперек, а тут осмелел. Сколько раз его выручал, и проекты его отстаивал, и мастерскую ему пробил в центре города, и эту дачу - разве построил бы ее в таком престижном месте простой архитектор, здесь не всем обкомовским дозволяли возводить хоромы, пришлось через Эдуарда Евсеевича добиваться. Напомнить бы все это Лева...

Петр Самойлович выпил, приятно зажгло внутри, и слова Левы уже не казались ему столь обидными. В чем-то он прав, приказали демократию проповедовать, и стали о ней все трубить. У классиков марксизма на любой случай цитат можно надергать, главное - власть не упустить. И стоит ли переживать... Отвлечься надо, воздух здесь живительный, озеро тишайшее, рыбалка... Петр Самойлович знал, что сейчас Рубин потащит его к воде, развернет парус на своей яхте, заскользит она к заветным местам, где клюет ненасытный карась, да и судаки попадают, здоровенные как бревна... Забыть все, смотреть неотрывно на поплавок, ждать свою удачу. Хотите менять идеологию - меняйте, мы подождем...

Петр Самойлович поднялся, отодвинул кресло и посмотрел в угол, где висел спортивный костюм, который

всегда надевал, когда отправлялся на рыбалку. Лева перехватил его взгляд, поморщился и сказал:

- Яхту я свою на ремонт поставил, жаль, конечно...

Петр Самойлович взглянул на Леву с недоумением. Но не дрогнул ни один мускул на лице у Рубина. Петр Самойлович усмехнулся:

- Какой ремонт, два месяца назад присылал тебе столяра, говорил он, что все сделал.

- Сделал свое, - сказал Лева без всякого смущения, - да после него еще пахать и пахать...

Петр Самойлович хотел возмутиться, но в это время за окном зафырчала машина.

- Кто-то к нам пожаловал, - с облегчением произнес Лева и направился к дверям. В коридоре брякнуло ведро, забухали шаги, послышался залиvistый смех, два голоса - оба знакомые, мужской и женский. Неужели Лариса, удивился Петр Самойлович.

И действительно, в проеме дверей появилась она, а из-за ее спины выглядывало круглое лицо местного поэта Саркисова. Вот, значит, какие месячные, понял Петр Самойлович и постарался изобразить полное безразличие. Противно все это было - сейчас начнет юлить, оправдываться. Однако, вошла, как ни в чем не бывало. Изображает из себя гранд-даму, стать, конечно, в ней есть. Волосы роскошные. На освещенной солнцем веранде эти золотистые волосы вспыхивали от солнечных бликов и еще более подчеркивали смуглость ее лица, а оттопыренные губки делали ее похожей на непорочную принцессу. Умела она предстать в любом облики - это у нее еще с самодеятельности...

С независимым видом прошествовала по веранде, никакого смущения и растерянности, улыбнулась, потом вскинула голову и сказала, обращаясь не к нему, Петру Самойловичу, а к Рубину:

- Мы с Саркисовым в городе скучали, духота там, потом вспомнили тебя, тоскуешь здесь, взяли коньяка и примчались на попутке!

- И правильно сделали! - сказал Лева и удалился на кухню, стал там что-то изобретать, запахло горелым. Саркисов поспешил ему на помощь, покатился, как шарик, по веранде. Петр Самойлович презрительно посмотрел ему вслед. Вот встретил бы его не знающий, что это поэт, никогда бы не догадался, что Саркисов хотя бы малое отношение к стиху имеет. Волосы прилизаны, весь лоснится. Что в нем Лариса нашла? Смешно, сам их познакомил, любил представлять Ларису местным знаменитостям...

Лариса вертелась у зеркала, поправляла локоны, подкрасила губы. Петр Самойлович с трудом сдерживался, чтобы не сказать ей все, что о ней думает. Чувствовал, как вскипает внутри злорадия, сдавливает виски... И первой не выдержала Лариса. Глаза ее сузились. И без того смуглое лицо еще больше потемнело, посмотрела на него, как на неодушевленный предмет, и заявила:

- Только прошу, не устраивай сцен. Здесь тебя уже и так едва терпят!

- Да как ты смеешь, - зло начал он, но осекся, потому что появился Рубин с большой сковородой, а за ним вкатился Саркисов с бокалами в руках. Петр Самойлович изобразил на лице улыбку и воскликнул:

- Вот это будет пир!

- Как говорили римляне и незабвенный Александр Александрович Блок, - истина в вине, - подхватил Саркисов и запрыгал вокруг стола.

Когда все расселись, Саркисов никому говорить не давал, лился у него бесконечный поток словоблудия. Выставлял он себя борцом и чуть ли не спасителем России. Давно ли еще - хорошо помнил Петр Самойлович тот день

- вытащили этого виршеплета на бюро, КГБ подготовил такой материал, что стоило пальчиком пошевелить - и новоявленный диссидент отправился бы в места не столь отдаленные. Нашли у него Солженицына. Это сегодня все хором кричат, что Солженицын великий писатель, а тогда за это полагался срок. Да и сейчас любому понятно, что «Архипелаг ГУЛАГ» книга антисоветская. Всем понятно, но попробуй, скажи, в ретрограды запишут. А тогда, в обкоме, этот Саркисов от всего отрекался, спасло его то, что с повинной статьей в газете выступил, простили его, а зря... Вот такие словоблуды и расшатали систему. Впрочем, такие как Саркисов, не самые опасные, умом не выдался...

- Дали свободу прессе, спасибо, - продолжал Саркисов, тыча пальцем в грудь Петра Самойловича, - а прессу эту захватили масоны! В ней не нашлось место истинно русскому поэту! Ваша ошибка - недооценили национальную идею. Вам бы ее оседлать, а вы вместе с демократами пели - шовинизм! Теперь пожинайте свои плоды! В бараний рог вас согнут!

- То есть, как это, недооценили национальное? - возмутился Петр Самойлович. - А кто деньги выделил на вашу писательскую газету?

- Что вы все, как будто свихнулись, о политике и о политике! - попыталась разрядить обстановку Лариса. - Демократы, партократы, шовинисты, пофигисты - не все ли равно? Жизнь продолжается! Посмотрите вокруг-август! Лучший месяц в году! Светоносный! Допивайте скорее, да пойдём на яхту!

- Яхта не для вас, - съязвил Петр Самойлович.

- Давайте маг врубим, - предложил Рубин, - Лариса права, к чему все эти разговоры. Семьдесят лет народ топтали, а теперь разбудить решили! Опять у нас инородцы виноваты, да пошло бы все к черту!

Магнитофон у Левы был японский, последняя модель, включил он его на полную мощь, захрипел на кассете Высоцкий. Петр Самойлович этого кумира не переваривал. Вот с кого все началось! Всякие там Галичи, Войновичи - эти далеко были - за бугром, а Высоцкий в каждом доме. Вот думают, КГБ всеильно, а ведь прохлопали. И что удивительно, у начальника этого комитета, дома как-то октябрьские справляли, так и у того сплошь Высоцкий. Петр Самойлович тогда с этим начальником схватился, а тот оправдываться стал, мол, ничего страшного - песня есть песня, от нее еще ни один строй не рухнул. Где теперь этот начальник? Добились демократы - пришлось в отставку уйти, вот тебе и Высоцкий.

Все поняли, кажется, не к месту сейчас эта кассета. Даже Лариса, обожающая барда, поморщилась, попросила Леву: «Сменил бы, Рубин, и так не сладко». Лева переставил кассету. Что-то защелкало, засвистело, а потом грянули синкопы джаза. Лариса прильнула к Саркисову, демонстративно погладила поэта по голове. Петр Самойлович глянул на нее презрительно, усмехнулся. Лариса глаз не отвела, всем своим видом давая понять, что власть его, Петра Самойловича, над ней кончилась. Вспорхнула из-за стола, крутанулась, парашютом взвив юбку. Саркисов подскочил к ней, начал кривляться, изображая не то испанского матадора, не то быка. Лева Рубин наполнил свой бокал, налил и Петру Самойловичу, молча выпили. Потом выпили уже все вместе. Саркисова развезло, полез с объятиями и лобзаниями. Резко пахло от него дешевым одеколоном.

Петру Самойловичу тоже хотелось выпить, но хмель не брал его. Сидел словно на поминках. Суетятся все, танцуют, хохочут, а все же искусственное какое-то веселье. Поминки и напоминает, а не встречу близких людей.

Да и какие они близкие? Тучи едва сгустились - и все враспыню. На их месте, не исключено, и он, Петр Самойлович, так же поступил бы. Зачем он теперь Рубину? А тем более Саркисову - тот рад будет за прошлые унижения отыграться. Льнет к Ларисе, упивается своим торжеством. Встать бы сейчас, пока они веселятся, уехать в город, ключ от ее квартиры в кармане, забрать там все, что куплено на его деньги...

- Что не танцуешь? - прервал его мысли Рубин.

Лева тоже запянул, он всегда хмелел быстро, от выпитого становился добрее. Но сегодня иной Рубин, хотя и пьян, но пытается задеть.

- Надо было в инженерии всего добиваться, - бормочет Лева, - учился ведь, какое бы правление ни было, а инженер всегда нужен. И архитектор, смотри, меня везде зовут, и фирмачи, и Эдуард Евсеевич, а все эти партии - тьфу, муть наносная...

Петр Самойлович не отвечал, что он понимает - Рубин, влачить такое же состояние, как и все инженеры, как Рубин - да стоило ли тогда появляться на свет... Да и какой с него, Петра Самойловича, инженер. С первого курса - комсорг, потом - парторг, мелиорация - командир отрядов в Карелии, на целине - тоже... Партия велела - комсомол ответил есть... Что бы они делали без партии? Кто бы он был без партии...

Лева еще что-то продолжал бормотать, потом отодвинулся, сполз на диван. Счастливчик, подумал Петр Самойлович, заснет сейчас сном праведника. А тут не избавиться от горечи, да и музыка эта, черт бы ее побрал, и Лариса, как заводная, вертится, и Саркисов кривляется... Петр Самойлович тяжело вздохнул, наполнил стакан коньяком и влил в себя основательную дозу. Сразу все закрутилось, поплыло...

Когда он проснулся, долго не мог сообразить, где находится и какое сейчас время суток - то ли вечер, то ли уже светает. На соседнем диване лежала Лариса. Пряди волос разметались по подушке, ноги высунулись из-под одеяла и дразняще белели в полутьме. У самого окна на раскладушке кто-то шумно вздыхал и ворочался. Саркисов, понял Петр Самойлович, - и весь вчерашний день мелькнул перед глазами. Зачем приехал сюда? Что искал? Сидел бы лучше дома. Теперь предстоит объяснение с женой. И без того отношения напряжены, так еще соли на раны подсыплется. Сейчас бы перенестись домой, в свою постель... Ночь, наверное, до города не доберешься...

Петр Самойлович привстал, увидел на столе недопитую рюмку - лучшего лекарства не придумаешь, выпил - сразу потеплело, стало легче и опять потянуло в сон. Он скинул куртку, разулся, постарался устроиться поудобнее. Позавидовал Леве, тот у себя, спит в своей комнате, раздетый. Петр Самойлович натянул на себя байковое одеяло, свернулся, закрыл глаза, но заснуть мешали вздохи Саркисова. Потом поэт встал, побродил по комнате, выпил воды в коридоре, звякнуло ведро, упала крышка. Саркисов бубнил нечто невнятное, уселся к Ларисе на диван. Стал что-то доказывать. Петр Самойлович прислушался.

- Ты пойми, - бубнил Саркисов, - с ним ты не будешь счастлива, он же монстр, такие привыкли, что им все дозволено, видела, как замельтешился - боится власть потерять, погонят его поганой метлой вместе со всеми кровососами... Ну что ты? Какая у тебя нежная кожа, а волосы - ромашкой пахнут. Ты настоящая русская красавица...

- Потерпи, все будет, всему свое время, - это Лариса заговорила.

У Петра Самойловича сдавило внутри, комок в животе застыл, не пошевельнуться. Обида душила. Уже сговори-

лись. Когда только успели? Теперь понятно, почему избегала свиданий в последнее время. Ну и вкус у нее. Все получила, теперь захотела славы, не выйдет номер...

Наконец Саркисов уgomонился, заскрипела раскладушка, слышались опять тяжелые вздохи, потом дыхание стало ровным. А Петр Самойлович все никак не мог успокоиться. Какие-то немыслимые фантастические планы лезли в голову - и во всех этих видениях были толпы на улицах, крики, разбегающиеся люди, ползущий по булыжнику Саркисов и совершенно голая Лариса - то на баррикадах, то цепляющаяся за его, Петра Самойловича, ноги...

То ли потому, что светила невидимая ему луна, то ли августовские ночи столь коротки, но ему показалось, что давно уже наступило утро. Он вытянул руку так, чтобы часы попали в полосу света, идущую от окна. Было всего-навсего два часа. Тогда он встал и подошел к дивану, на котором, казалось, безмятежно спала Лариса, однако, когда он присел на диван, она тотчас открыла глаза и посмотрела на него с испугом. Чего она боится? Всегда они были желанны друг другу, именно постель, как раньше казалось Петру Самойловичу, наиболее крепко связывала их, хотя он и понимал, что Лариса питает к нему далеко не бескорыстную страсть. Но все-таки это была страсть, ни с кем у него так не получалось, как с ней. Теперь же она не только отвергла его, но и боялась. Он осторожно дотронулся до ее оголенного плеча, ощутив пальцами привычную бархатистость кожи. Простыня сползла и открылась ее грудь, выпирающая из-под сорочки. Грудь у нее была большая и всегда возбуждала его. Но на этот раз он просто без всякого желания сжал ее и стал теревить твердеющий в его пальцах сосок. Она попыталась оттолкнуть его руку, он наклонился так, что лоб его уткнулся в подушку. Он почувствовал тепло ее тела, разморенного сном, это невольно возбудило его.

- Не надо, - тихо попросила она и попыталась отодвинуться, но теперь он уже крепко держал ее. - Не надо! - снова, но уже твердо произнесла она. Но его рука уже раздвигала ноги, она вцепилась ногтями в его спину, это еще больше разожгло его.

- Услышат... Я не могу... Прекрати... - взмолилась Лариса.

Он сжал ее сильнее, буквально придавил к дивану. Пусть услышат, подумал он и понял, что даже хочет, чтобы услышали, пусть узнает этот ее новый вздохатель, как она стонет, как кричит. Хотелось растерзать ее, унижить, сделать так, чтобы она кричала не от страсти, а от боли. И хотя она сопротивлялась, ей уже было не совладать с ним, он добрался, вошел в нее, делая все методично и почти бесстрастно, и она, отталкивающая его, вдруг стихла и даже стала ласкать его. И он понимал, что делает она это не потому, что отвечает взаимностью, просто ей необходимо, чтобы он быстрее кончил, чтобы самой не дойти до предела, не разбудить Саркисова. Чтобы не узнал тот, чтобы остаться чистенькой перед ним. И как она ни старалась, ей не удалось совладать с собой. И он заставил ее стонать, сперва робко, потом сильнее, и он все длил и длил эти мгновения...

Заерзал, заворочался на своей раскладушке Саркисов, и Петр Самойлович понял, что добился чего хотел, и теперь уже не стал сдерживать себя. И потом, когда они разъединились и стали существовать отдельно, Лариса вновь застонала, дернулась от него, прижалась к стене и разрыдалась.

-Ты подлец, подлец, - всхлипывала она. - Уходи, я не хочу тебя видеть.

Он спокойно поднялся, молча оделся, поправил свою постель и вышел во двор. Тихо и призрачно было вокруг,

и необычная, мягкая прохлада остужала разгоряченное тело. Ноги были слабые, будто ватные, но по мере того как он все дальше и дальше уходил по тропке, ведущей от веранды к проселочной дороге, мускулы твердели, появлялась легкость в движениях, и, наконец, наступило ощущение полной свободы. Задохнитесь вы все в вашем дерьме, прошептал он. Никто ему сейчас был не нужен, ни Лева с его сочувствием, ни Лариса с ее гибким телом, ни жена, постоянно раздраженная и мнительная, ни место в уютном кабинете, из которого его со дня на день попросят уйти...

Он брел наугад по траве, мокрой от росы, пробирался через колючую чащу, пока наконец не понял, что окончательно заблудился. Он остановился, прислушался - в мире была первозданная тишина, солнце уже встало над горизонтом. Надо идти строго на север, решил он, надо следить, чтобы солнце было все время позади, и стараться не лезть сквозь кустарники - иначе вернешься домой не только мокрый, но и в колючках. И хотя он пошел в строго определенном направлении, но из этого ничего не получилось, никакого намека на близость жилья или хотя бы какую-нибудь дорогу не было. И лишь через пару часов, уставший и измученный, он набрел на какое-то ветхое строение. Возле покосившейся избы кудахтали куры, выскочил из-за гнилого забора верткий песик, залился отчаянным лаем.

- Ну, что ты, Полкан, - послышался глухой голос, и навстречу Петру Самойловичу вышел заросший неухоженной бородой старик.

- Далеко ли до города, отец? - спросил Петр Самойлович.

Старик закрихтел, оглядел незваного гостя с головы до ног и протянул:

- И-и, голуба, здесь до автобусной еще часик канды-  
бать, а до электрички и того поболее, заходи в избу, молоч-  
ком свежим угостись.

Петр Самойлович не стал заставлять долго упрашивать себя, в горле пересохло, да и надо было обсушиться, все брюки вымокли от росы. В избе было уютно и чисто, старик, как выяснилось, вот уже месяц жил один, но порядок, видимо, любил. Жену он свез в больницу, сам управлялся по хозяйству, сыны - в городе, кроме Полкана поговорить не с кем. Вот и рад был гостю. Парное молоко пришлось кстати, ничего более приятного в жизни не пил Петр Самойлович. Старик сообразил, что гость с похмелья, слазил в погреб, выставил на стол двухлитровую бутылку самогона. От одного вида этой бутылки у Петра Самойловича к горлу подступила тошнота. И поначалу он долго отказывался, но потом рискнул и не прогадал. Самогон был чистейший, как слеза, сивухой совершенно не отдавал. Сразу исчезла боль в висках, и все будто просветлело. Старик нарезал домашнюю колбасу, достал краюху ржаного хлеба. На вопрос как звать его, сказал, чтобы называл, как все, по отчеству - Эфраимыч. Он разговорился, не роптал на судьбу, послушать его, так всем он доволен. И Петру Самойловичу стало так уютно, так тепло, что уходить никуда не хотелось. И сам он насколько мог, открылся старику, правда, скрыл, что работает в обкоме. Говорили в основном о сельской жизни. Главный вопрос - кто нужен: колхоз или частник. И подумал Петр Самойлович, слушая старика, что не допустят такие люди, как Эфраимыч, чтобы кулак на землю вернулся, вот ведь уже пожилой Эфраимыч, а работает в местном колхозе сторожем, и всю жизнь - в колхозе. Это демократы кричат, что в колхозе плохо...

- А куда же мы без колхоза, - продолжал Эфраимыч, - вон мне и делянку отвели, и избу поставить помогли, мы

после войны в этот край приехали по набору, у нас на Псковщине фашист подчистую все разорил, братья мои погибли, батя тоже, в партизанах он был. Остался я за старшего, да еще семь ртов, куда денешься... Да, что война... Еще до нее у нас, на Псковщине, все поразорили. Голодуха была, люди, как мухи, мерли, на трудодень, почитай, ничего не получали... Пишут, перегибы были в партии, зазя большевики Россию снасильничали. А нынче жить можно, хоть с колхоза все равно толку нет, но послабления большие пошли, что у себя на участке взрастил, никто не отбирает. Продотряды не шлют, обысков нет. Сколько уж времени прошло, а никого в колхозе не заарестовали, благодать, да и только... А все одно - народ недоволен. В город рвутся, а чего там, в городе, хорошего, как собаки все злющи друг на друга, все орут за плюрализму, свободы хотят... Да приезжай к нам на село, ставь избу и паши, а коли не устанешь - вот тебе и свобода - ори хоть в три горла, не бойсь, никто не посадит. Партия, она очухалась. Ежова да Берию шлепнули, а нынешние, они не злостные. Приедут проверку наводить - налей им первача, да мясца, да домашней колбаски в багажник покидай, только благодарят. Вот жизнь какая пошла - думали ли, что дождемся. А сыны мои все бурчат - темный, говорят, ты, тятя, ничего ты в жизни не видел. Они, конечно, ученые на батькины деньги, они и в заграницах побывали. Я и сам по телевизору каждый день эту заграницу вижу - пропаганда все это. И там голодных полно. Нет такой державы, чтобы голодных не было...

Петр Самойлович не перебивал старика, правы его сыны - темный он, но ведь, сколько доброты, не таит ни на кого зла, и хорошо, что не знает, что гость его к партии имеет отношение. Появились на столе малосольные огурцы, свежие помидорчики прямо с куста, бутыль постепенно пустела. Петр Самойлович разомлел, и пропало всякое

желание продолжать путь. И думалось, как же вот так сделать, чтобы всем все простилось, чтобы стать таким, как этот старик... Захотелось чем-нибудь помочь старику. Предложил в городе в пансионат устроить, подлечат там и его, и хозяйку.

- Никуда я уже не стронусь, - отказался старик и добавил после некоторого молчания - Здесь помирать буду, здесь мне теперь вольготно, да и большевики народ разорять устали...

- Большевики разные бывают, что ты, отец, все на них да на них! - не выдержал Петр Самойлович, хотя и понимал, что ничем он старика не переубедит. Тем более, сейчас, когда билеты партийные пачками несут сдавать...

- Зла ни на кого я не держу, все сдюжим, все вытерпим,  
- сказал примирительно Эфраимыч...

Хорошо посидели, поговорили до позднего вечера, пока не нарушил их уединение Лева Рубин. Ворвался он в избу запыхавшийся, лицо - бледное, стал прямо с порога выговаривать:

- Как можно, ничего не сказав, не оставив даже записки, уйти, это не по-людски! Ты же пьяный, не знаешь дороги! Мы все издергались. С Ларисой был обморок, еле себя привели. Что ты натворил? Коли тебя с места турнули, это не значит, что весь мир рушится! Она сидит, плачет беспрестанно - пошли, успокой ее, извинись перед ней. Саркисов уехал в город, я не знаю, что с ней делать!

Петр Самойлович встал, вышел с Левою в сени, не хотелось при хозяине хаты все выяснять. И так муторно, тошно стало на душе - вот ведь, ворвался, сует нос туда, куда не надо, избави бог от таких друзей...

- Это я-то не по-людски! - вскипел Петр Самойлович.  
- Да как с вами иначе? Я был нужен вам, пока власть у меня была, все вы моей добротой пользовались!

-Добротой за чужой счет! - крикнул Рубин. — Опомнись, загляни себе в душу! Недаром народ возмущен! Россия...

- Народ? - прервал он Рубина. - Да что ты знаешь о народе! Поговорил бы с этим стариком!

- Я знаю его, но даже у таких наступит прозрение, всякому терпению приходит предел! - не успокаивался Рубин.

Петр Самойлович сорвался, стал кричать на него, но, заметив, что Эфраимыч появился в дверях, смутился, резко повернулся и, не оглядываясь, поднялся по скрипучим ступеням крыльца.

- Чего не поладили? - спросил Эфраимыч, когда они зашли в избу.

-Да пошел он к чертям собачьим, народный радетель! - буркнул Петр Самойлович и разлил остатки самогона по стаканам.

Потом Эфраимыч укладывал его на сеновале, где одурманивающе пахли скошенные травы, а он все не хотел ложиться, все возмущался, грозя своим врагам и матерясь, как самый последний урка...

Проснулся он на рассвете, слез с чердака по узкой лестнице, отряхнул налипшие травинки и долго и жадно пил холодную воду из ведра, стоящего в сенях...

В голове у него гудело, и он никак не мог определить - внутри этот рвущий душу гуд или он идет снаружи. И когда вышел на крыльцо, гудение стало более резким. Будто гигантский каток двигался по земле, подминая под себя все живое. Эфраимыч тоже проснулся, вышел из избы, встал молча рядом, прислушивался и вглядывался вдаль. Но над полями стелился туман, и ничего нельзя было увидеть.

- Шоссе там, - ткнул рукой в направлении гула Эфраимыч, - может трактора перегоняют...

Петр Самойлович зашел в сени, сполоснул лицо, от рюмки отказался. Если гул с шоссе так отчетливо слышен, то туда легко добраться, решил он. Уже понедельник, хватит бражничать, если сейчас выйти, то и на работу можно успеть, необходимо успеть...

На этот раз он точно вышел к шоссе, ибо все время двигался навстречу нарастающему гулу. Теперь это уже было не сплошное гудение, и можно было различить и отдельные глухие стуки, и металлическое лязганье и фырчанье моторов. Над землей еще стелился утренний туман, и хотя он заметно стал реже, и шоссе было где-то рядом, но дымка не позволяла различить, что же там происходит. И когда Петр Самойлович подошел к трассе совсем близко, и от гула и грохота стало закладывать уши, он все же не мог понять, чем вызваны эти пронизывающие тело звуки. Он ускорил шаг, он почти бежал - и остановился лишь тогда, когда почувствовал асфальт под ногами и сквозь пелену дымки увидел дорогу. Но шоссе было пустынно, а гул удалялся, становился все тише, терялся где-то впереди. И вдруг накатила новая волна скрежета. Петр Самойлович обернулся - из молочной дымки выросли силуэты то ли крытых машин, то ли комбайнов. И неожиданно почти прямо на него выдвинулось из тумана черное дуло, вершащее бронированную башню. Он отскочил в сторону и отсюда, с обочины, теперь мог наблюдать, что творилось на шоссе. Не было никаких сомнений - там двигалась танковая колонна. И это были не привычные, виденные им раньше танки, а какие-то слишком сплюснутые, широкие, вероятно даже не танки, а самоходки, за ними въехали на дорогу обычные грузовики, крытые брезентом, и нельзя было различить, сидят ли там люди. Как некстати эти маневры, подумал Петр Самойлович, пока не пройдут эти танки и самоходки, рейсовый автобус вряд ли появится. И

он приготовился ждать - пусть полчаса, пусть час - когда-то ведь должен прийти конец этому оглушительному грохоту и лязганью. Но прошло больше часа, а движение все не прекращалось...

Наконец в этом гудящем потоке образовался какой-то перерыв. Пятнистый тяжелый танк, замыкающий колонну, растворился в туманной дымке, а следующая колонна не сразу втянулась в шоссе, лязгая гусеницами где-то в отдалении.

Петр Самойлович вышел на асфальт, который был изъеден и взрыт траками боевых машин. Послышались звонкие голоса. Почти рядом с ним остановилась легковая машина, видимо, тоже армейская. Молоденький солдат, почти мальчик, открыв капот, возился с мотором. Петр Самойлович подошел к нему и, хотя мало смыслил в технике, заглянул под капот, как бы желая помочь. Но уже не нужна была помощь, водитель сам обнаружил неисправность и, довольный собой, распрямился и улыбнулся Петру Самойловичу.

- Куда это вас с утра пораньше гонят? - спросил Петр Самойлович.

- А хрен его знает, - неожиданно басом ответил юноша, - приказ дан - боевая готовность номер один.

И не досказав, смолк, видимо, спохватившись - с какой это стати раскрываться перед незнакомцем. Петр Самойлович достал из кармана куртки свое удостоверение - внушительная красная книжечка не раз выручала его, протянул - смотри, не кто-нибудь, работник обкома партии.

Солдат глянул на документ и сплюнул сквозь зубы. Петр Самойлович уже пожалел, что сунул книжечку солдату, молодые они все сейчас так настроены, что всякого можно ожидать. Но высунулся из машины сидящий там старшина, махнул рукой и сказал:

- Нехай едет с нами, не убудет от нас...

До города, как оказалось, было не так далеко, машина быстро промчалась мимо ушедшей до этого вперед и застывшей в неподвижности колонны танков, и вот уже замелькали дома, акведук кольцевого шоссе, здание мелькомбината...

Выяснить у солдат ничего не удалось, они и сами толком не знали, чем вызвано их движение к городу, и так удачно совпало, что было им задание от их воинского начальства доставить какой-то пакет в обком, так что подвезли они его прямо к дверям родного здания.

На площади, возле обкома, шел какой-то митинг, сотни две людей, не больше, сгрудились около памятника Ленину, явление для последних месяцев вполне обычное - демократы давно уже избрали это место для своих сборищ, что всегда возмущало Петра Самойловича. Обычно манифестации свои они проводили после работы, а тут почему-то собрались с утра, с какой стати? Петр Самойлович остановился у массивной двери обкома, глянул на толпу - у постамента метался низкорослый человек с мегафоном, рядом с ним седоволосая женщина размахивала трехцветным флагом. Отдельные слова можно было различить: «Мы не допустим... Сколько лет давили народ... Безнаказанность... Кровопийцы... протест народа... фашизм... ГКЧП к ответу... »

Обычная песня демократов, решил Петр Самойлович, покричат и разойдутся. И только врезалось в память непонятное словосочетание «ГКЧП», многократно повторяемое. И сравнение коммунистов с фашистами - куда только КГБ смотрит? Он поднимался по широкой лестнице, устланной ковровыми дорожками, и думал о том, что надо туда позвонить, и еще его смущало одно обстоятельство - удобно ли явиться на работу в куртке. Было заведено с

давних пор - работники обкома ходили в пиджаках и при галстукe. Ведь обязательно подколeт кто-нибудь - и ты Брут... под демократа работаeшь. В коридорах было пусто, никто не толпился у дверей тех комнат, куда недавно въехали кооператоры. Мелькнула мысль - может быть, с этой пьянкой все перепутал - и сегодня не понедельник, а воскресенье. Поэтому и митинг с утра. Но военные, с какой стати они затеяли маневры в воскресенье? Черт дернул поехать к этому Рубину! А вдруг арестовали всех обкомовцев - зайдeшь в кабинет - тебя схватят...

Но опасения его оказались напрасными, еще не доходя до своего кабинета, он увидел в коридоре Сёмушкина, секретаря из Приозерска. «Скорее! - крикнул Сёмушкин. - Все давно собрались в малом зале. Мы опаздываем!»

Петр Самойлович поспешил за Сёмушкиным, и в зале заседаний был сразу оглушен ликующими криками. Он не понял, что происходит. Что они, обрадовались его приходу? Не велика персона - бывший заведующий отделом. И бросилось в глаза, что все приоделись, будто собрались на торжественное праздничное заседание. Толпились вокруг второго секретаря Мишутина, тот был и вовсе при параде - вся грудь в орденах и медалях. Мишутин был ортодоксом, и Петр Самойлович не очень легко находил с ним общий язык, уж слишком педантичен был этот служака. Но сейчас Мишутин, заметив его, улыбнулся, как старому другу. И коллеги Петра Самойловича, поняв, что он ничего еще не знает, наперебой начали объяснять ему, какие важные события произошли в это утро: создан ГКЧП, в столицу введены войска, объявлено чрезвычайное положение... В ГКЧП одни коммунисты... Пришла шифровка... Там, в ГКЧП, истинные патриоты, а не слюнтяи... Не надо было Ельцину трогать партию... Получит свое... Думал, что ему сойдет с рук роспуск организаций

на заводах... Да рабочие поднимутся... Горбачев болен - не будет мешать... Полная победа...

Говорили все наперебой, но смысл сразу стал ясен - давно было пора навести порядок. И стало все понятно - и танковая колонна, ползущая в тумане по шоссе, и слишком ранний митинг на площади, и то, что все здесь, в обкоме, в парадных костюмах. Действительно, это настоящий праздник! И только он один в куртке, будто белая ворона. Да еще куртка джинсовая с какими-то медными планками на рукавах... Могут подумать, что его не радует победа, что прибежал он сюда прямо с площадного митинга, что он заодно с демократами...

И чтобы показать, что это не так, что он искренне с ними, со своими коллегами, что не может быть никаких сомнений по его поводу, Петр Самойлович засуетился, стал выкрикивать разные предложения. Заседание не начинали - ждали первого, а тот куда-то запропастился, вроде бы был в командировке, но должен был вернуться еще вчера, однако домашний телефон не отвечал, на даче тоже молчал телефон. И тогда Петр Самойлович решил взять инициативу на себя, он выскочил к трибуне: «Что же мы ждать его будем! Каждая минута дорога! Надо свой комитет создать, надо иметь постоянную связь с войсками! Танки уже подошли к городу! Почему они медлят? Надо послать к ним представителей!» К нему прислушались, поддержали. И выяснилось, что многое они уже успели сделать до его прихода, и что состав комитета намечен, что с войсками связь налажена, а в город они не вошли, так как нет особой необходимости - с демонстрантами и спецназ справится, и что танки будут стоять на окружной дороге так, на всякий случай. Было еще предложение ввести в комитет его, Петра Самойловича, и даже сделать заместителем председателя.

Прибежала секретарша из спецотдела - принесла шифровку из ЦК, прочли ее - поняли, что действуют верно... Петр Самойлович вспомнил о списках демократов, хранящихся у него в сейфе, но решили сегодня арестов не начинать, победа в столице должна была все поставить на свои места, сами крикуны притихнут, и дня не пройдет, явятся с повинной...

Дел было много, стали звонить на заводы, связались со штабом округа, пришел начальник КГБ, у него все было отлажено, получена большая партия наручников, на подходе к городу десантники... В полной победе не было никакого сомнения.

Домой Петр Самойлович пришел поздно вечером, жена накинулась на него прямо с порога. Но теперь оправдываться было легко, и на вопросы, где пропал и почему спиртным несет, и почему не позвонил, ответ есть: «Не каждый день такие события свершаются! Снова все встанет на свои места!»

Стал объяснять ей, как это важно, как опять наладится их жизнь, но жена не разделяла его восторгов. Ясно, злится, не верит, что есть в этой победе его, Петра Самойловича, заслуга. И как старит ее злость: потускневшее лицо, резче обозначились морщины. Разве такая жена должна быть у человека, который станет обладать властью? А тут еще сын полез со своими неуместными рассуждениями: фигня, мол, все это, солдаты в народ стрелять не станут, я с ними говорил, мои годки так и заявили, что в случае чего пушки против коммунистов повернут. «Прекрати сейчас же, - не выдержал Петр Самойлович, - откуда в тебе столько цинизма!» Кончилось все общей перепалкой. Петр Самойлович от ужина отказался, прошел в свою комнату и заснул, едва прикоснулся к подушке...

А утром жена встала на пороге и сказала:

- Не ходи, не суйся ты в эту свару! «Свобода» сообщила - там, в Москве, не продержится ГКЧП! Дом правительства обороняют, вся столица поднялась!

- Побольше слушай вражьи голоса! - выкрикнул Петр Самойлович. - И не смей болтать об этом! В ГКЧП - лучшие партийцы!

- Лучшие, - ухмыльнулась жена, - посмотрела я по телевизору на их рожи, да они все с похмелья, вроде тебя. Пропьют они и свой комитет, и Россию!

- Много ты понимаешь! - крикнул Петр Самойлович и хлопнул дверью так, что известка посыпалась...

Так вот неудачно начался день, со скандала. И в обкоме уже не было того оживления, что царило вчера, и о событиях в столице ползали разные слухи, ясно было, что не все ладится в Москве, что многое упущено.

- Ну, куда это годится, - возмущался Сёмушкин, - вывели танки на улицы, а от решительных действий отказались! Что они, Ленина не читали?

Петр Самойлович с ним согласился, действительно, сколько раз на семинарах, в партшколах вдабливали науку о захвате власти: надо было захватить связь, почту, вокзалы, арестовать Ельцина, а тут - такое промедление. Говорят, даже хотят лететь в Форос к тому, кто партию низвел до последней ступеньки... Нужно ли это? И здесь, в городе, тоже никто не решается на резкие меры. Штаб округа молчит, десантников не было и нет, первого секретаря так и не разыскали, в горсовете сплошные демократы...

После обеда пришел Саркисов, вкатился в кабинет, как ни в чем не бывало, соорудил подобострастную улыбку, и хотя был противен весь его вид, но нельзя было его выгнать, надо было отбросить все личные эмоции, коли человек полезен для дела. Придет время - получит и он свое.

Писателей нельзя упускать, много есть среди них и безумных крикунов, но большинство на стороне законной власти. Вот и сейчас Саркисов готов служить партии. Есть у него план и вполне реальный. В Москве прикрыли газеты левого толка, а здесь, у нас, вышла сегодня такая пресса, за которую по законам чрезвычайного положения можно и к стенке ставить. Саркисов вынул из кармана газету, положил на стол, - действительно, большое упущение - одни заголовки чего стоят...

-Я ведь говорил, Петр Самойлович, - выкладывал свой план Саркисов, - не надо чураться национальной идеи, патриоты на стороне партии, у нас есть силы, чтобы тотчас наладить выпуск своей газеты, дайте команду - сейчас же начнем набор в обкомовской типографии, вот смотрите, в Москве работают оперативно писатели. - Он вынул из кармана еще одну газету. - Вот видите, писательская газета «День» - тут полная поддержка новой власти. И мы такую наладим!

Петр Самойлович позвонил в типографию, но там зартачились, узнав, что придет Саркисов. Распустились - это что же получается, наборщики будут диктовать, что печатать, а что нет. И образумить их не удалось, пришлось звонить в штаб военного округа, пусть пока наберут номер там. После ухода Саркисова связался с городской типографией - там почище фокус выкинули - не поставили в номер материалы с постановлениями ГКЧП - надо разбираться и снимать редактора, так это им не пройдет...

Вечером площадь перед обкомом была вся запружена народом. С трудом удалось уговорить военных выделить хотя бы один танк и самоходку с громкоговорителем. Военные вмешиваться в события не хотели, узнали, что в Москве отдельные части переходят на сторону Ельцина, ждут, чья возьмет. Петр Самойлович понимал, что надо

бы пробиться к трибуне, выступить, образумить людей, но всегда он привык иметь перед собой текст, а здесь говорили все без бумажки, да и будь у него заранее заготовленная речь, все равно не дали бы ее прочесть. Один человек, видно из старых коммунистов, все-таки выбрался на трибуну, но ему не дали и двух слов сказать - свист, крики - вот она, демократия! Петр Самойлович подошел к танку, там тоже собралась толпа. Лейтенанта, вылезшего из башни, окружили со всех сторон. Набросились с воплями, с угрозами, тот только руками разводил и вместо того, чтобы урезонить народ, припугнуть, стал оправдываться: « Да поймите, ни в кого мы стрелять не собираемся! И патронов боевых нет у нас, нам приказали - мы подъехали... » И тут подскочил к нему юнец в очках, худенький, но задиристый, и раскричался, будто его режут: «Как вы посмели! Убирайтесь сейчас же! Иначе мы вашу будку железную опрокинем!» И его поддержала довольно-таки солидная женщина, кажется врач, лицо ее было знакомо Петру Самойловичу. Врач эта стала выговаривать лейтенанту, будто провинившемуся школьнику: «Вам надо покинуть город сейчас же! Вы что, хотите выступить против народа? Напрасно мы вас кормили. Танки - для чего? Чтобы пугать свой народ?» И опять подскочил очкастый паренек и закричал: «Он хочет, чтобы его снова коммуняки в Афган погнали!» И лейтенант не находил, что ответить, а полез в свой танк - и вместо того, чтобы жахнуть хотя бы поверх голов холостыми для острастки, пушку в башню втянул, и стал танк медленно разворачиваться - и ходом с площади под общее улюлюканье...

И уже в этот вечер стали закрадываться сомнения - если войска не поддержат, все может пойти прахом. Дома покойя тоже не было - сын включил на полную громкость радиостанцию «Свобода», там ликовали - и если даже то,

что они говорили, на четверть правда, то дело рушилось. Верить в это не хотелось, скандалить с сыном не было сил. Петр Самойлович вспомнил, что в секретере у него припрятана бутылка водки, идти за закуской на кухню не хотелось, он отпил прямо из горлышка и еще долго сидел, заткнув ладонями уши...

Утром в обкоме подтвердили все, о чем кричало западное радио - вот-вот должны были поступить сообщения об аресте гэкачепистов. Как-либо повлиять на события никто уже не мог, если все провалится или уже провалилось в Москве и Ленинграде, то победа здесь, в городе, ничего не даст. И непонятно - почему не нашлось ни одного решительного генерала или полковника, чтобы возглавить войска. Петр Самойлович ничего не мог понять. Особенно возмущался Мишутин:

- Разве можно так все провалить! Народу нельзя ослабления давать! Вспомните в пятом году - издал царь манифест о свободах, тотчас волнения и забастовки, в семнадцатом - царь отстранился от дел, отпустил вожжи - и сразу его скинули, Горбачев дал свободу писакам - и вот результат...

После обеда стало ясно - полное поражение. Запахло дымом, во всех кабинетах жгли бумаги, по коридорам сквозняки носили клочки. Петр Самойлович, к ужасу своему, хватился, что потерял ключ от сейфа. А там ведь списки всех демократов и особенно важный тот список, где указаны осведомители, если он попадет к демократам - тогда конец. Не только дачи можно лишиться, но и головы. После долгих поисков он понял, что ключа не найти, возможно, потерял, скорее всего, на даче у Рубина. Дурная привычка - носить ключи с собой, и черт дернул ехать туда, к этому Рубину, и еще большей ошибкой было то, что вернулся, не приди он в понедельник, не включили бы в коми-

тет. Вот кто умнее всех оказался, так это первый секретарь - не появился в городе и все тут... Ни за что теперь не отвечает... Но что делать с сейфом? Куда его спрячешь... Надо бы вызвать газорезчика. Петр Самойлович стал звонить на заводы - отвечали уклончиво, то нет газа, то газорезчик заболел - но все это были отговорки, просто не хотели никого присылать в обком. Единственная надежда была, что ключ в куртке, надежда, правда, слабая, уходя из дома, он все из карманов взял. Надо было срочно съездить поискать, но машины ни одной не было, куда-то подевались все шофера, все шло как-то наперекосяк.

И опять пришлось пробираться через заполненную народом площадь и слушать ликующие крики и слова ораторов, усиленные микрофонами. Но дома все-таки повезло - ключ был в куртке, в боковом карманчике, в этих иностранных куртках всегда полно разных потайных карманов. Петр Самойлович зажал ключ в кулаке и помчался к обкому, но тут вышла новая, совсем неожиданная заминка - у дверей обкома стояли милиционеры, один из них даже старый знакомый. И эти милиционеры, обычно бравшие при виде Петра Самойловича под козырек и подобострастно улыбающиеся, неожиданно преградили ему путь.

- Да вы что? - удивился Петр Самойлович. - Я работаю здесь, неужели не узнали?

- Не велено пускать, - строго сказал знакомый милиционер, - здание опечатано - никого не велено пускать...

- Но я вас очень прошу, — взмолился Петр Самойлович, - на одну минутку всего, у меня там ключи от квартиры...

Но никакие мольбы не помогали, стражи порядка стояли на своем, хотя и не смогли объяснить толком - чей же это приказ - не пускать, почему здание опечатано...

Пришлось отступить, он еще побродил вокруг здания, подошел к черному входу, но тот был закрыт. Все - это

был конец. Обнаружат списки - церемониться не станут. С часу на час можно ждать ареста. Иметь, казалось бы, все, и в одночасье все потерять. Могут конфисковать все имущество, с них это станется, машину надо было переписать на сына, дачу... Да пропади все пропадом! Никогда в жизни он еще не влипал в столь ужасное положение. Кто бы мог предположить, что враз все рухнет. Прав Мишутин, распустили людей... Неужели это конец, неужели не поднимутся против демократов миллионы партийцев?

Самая большая партия в стране - неужели даст себя низвергнуть какой-то кучке демократов? И вдруг он отчетливо понял, что так и произойдет. И если бы было иначе, то уже сейчас стояли бы толпы партийцев у обкома, пришли бы протестующие, надели бы свои ордена, вооружились бы - но ведь нет никого... И сам он тоже сейчас не выйдет перед толпой и ничего не скажет, потому что надо скорее скрыться, потому что все можно ждать от распоясавшейся черни, толпа способна на любые зверства... Скорее подальше от площади, его ведь многие знают, он шел быстро, постоянно озирался, но никто не обратил на него никакого внимания...

Теперь он брел по улице, без всякой цели, жался к домам, и все еще казалось — сейчас догонят, обступят, станут выяснять - кто он, может быть, уже добрались до его кабинета, вскрыли сейф, у них, конечно, сразу нашелся газорезчик. Оправдываться перед ними бесполезно. Какой все-таки дальновидный и умный человек - первый секретарь, отсиделся, не вылез, теперь ему ничего не страшно. И тут Петр Самойлович увидел, что стоит он прямо у дома первого секретаря. Особняк с колоннами желтел своими стенами среди густолистных каштанов, и была здесь такая тишина, будто ничего и не происходило в городе - не доносились сюда ни крики толпы, ни фырчанье машин...

Здесь висел знак, запрещающий проезд транспорту, только машина первого секретаря имела право въезжать на эту тихую улицу... Раньше у входа стоял милиционер, теперь его не было... Вот с кем надо посоветоваться, с первым секретарем, понял Петр Самойлович, вот кто поможет найти выход. Он еще сохранял веру во всесилье «хозяина», так называли они между собой Эдуарда Евсеевича, за ним были, как за каменной стеной. Да и побаивались его... В любое другое время Петр Самойлович никогда бы не дерзнул без вызова явиться к нему в дом, но сейчас у него просто не было другого выхода. Петр Самойлович подошел к обитой желтой кожей двери и нажал на кнопку звонка. Долго никто не подходил, и Петр Самойлович намеревался уже отказаться от своей затеи, ясно, что первого секретаря нет в городе, напрасно все это, но вдруг раздались там, за дверью, шаги, потом кто-то долго возился с замком, а затем, придерживая дверь на цепочке, долго расспрашивал: кто хочет видеть Эдуарда Евсеевича и с какой целью...

Наконец дверь раскрылась, и пожилой человек с буденовскими усами, подозрительно оглядев Петра Самойловича, все же впустил его. В просторной прихожей было сумрачно, в углу светился торшер, кидая желтые блики на пушистые ковры, вдоль стен стояли стеллажи с книгами. Петр Самойлович поднял голову и увидел, как по деревянной лестнице спускается человек, и не сразу признал в нем Эдуарда Евсеевича, ибо тот был в каком-то немислимо ярком халате, скорее даже кимоно, и походил на японца, и улыбка у него была японская, деланная, видно, вовсе не хотел он никого видеть, но так, приличия ради, приходится...

- Какими судьбами, - протянул Эдуард Евсеевич, захватывая халат-кимоно.

- Я очень извиняюсь, но случилось непоправимое, я виноват, не было ключа, забормотал Петр Самойлович, - но мне нужно посоветоваться с вами, я виноват...

- Да будет вам оправдываться, что это вы, - произнес Эдуард Евсеевич, - как ваше здоровье, как близкие?

По его тону Петр Самойлович понял, что хозяин находится в хорошем расположении духа, что не охвачен он общей паникой, и силу свою и спокойствие, как всегда, сохранил. Они прошли в кабинет, здесь, усаженный в мягкое, уютное кресло, Петр Самойлович окончательно успокоился и впервые за эти дни почувствовал, что все тревобления позади, что хозяин не даст ему пропасть.

- Я только вчера из Японии, - объяснил Эдуард Евсеевич, - очень удачная была поездка, договорились с крупным концерном.

- Эдуард Евсеевич, но вы в курсе, вы знаете, что здесь творится? - спросил Петр Самойлович.

- Само собой, разумеется, - ответил хозяин, - все мне известно, можете не рассказывать... Знаю, батенька, нарубили вы дров без меня. Кто вас просил проявлять такую поспешность, создавать комитет, вызывать войска - в России издавна все решается в столицах, надо было набраться терпения...

- Да мы же хотели как лучше, мы же не знали, да и вас не было, - стал оправдываться Петр Самойлович.

- Но вы не волнуйтесь, ничего страшного не произошло, все это я предвидел, партия изжила себя, признайтесь - мы ведь с вами тоже давно в ней разуверились. Мы не можем далее плестись в хвосте всего просвещенного мира...

Петр Самойлович от удивления даже привстал - о чем это говорит хозяин, да и что же это он, неужели перекрестился в демократа?

- Весь этот путч и все это безумие - временные явления, одно непрерываемо и ясно - все диктует экономика, идеология вторична, - продолжал хозяин, - только предпринимательство выведет нас из трясины...

- Это все потом, возможно, вы правы, - согласился Петр Самойлович, - а сейчас что делать? Катастрофа сметет все, так глупо вышло, мне-то куда деться?

- Есть проблемы какие-то? - спросил Эдуард Евсеевич и нахмурился. Теперь выражение его лица стало таким, к какому привык Петр Самойлович, и потому стал он все излагать, торопясь, оправдываясь, - и про сейф, и про то, как искал газорезчика, и про толпы у обкома, и про танки...

Эдуард Евсеевич слушал внимательно, ни разу не перебил, и когда закончил свой рассказ Петр Самойлович и откинулся в кресле, ожидая сурового приговора и осуждения своих поступков, хозяин кабинета улыбнулся и сказал:

- Ерунда все это, кому нужны ваши досье на демократов и списки осведомителей, да у нас каждый четвертый осведомитель, так сказать, сексот, никому нет резона предавать эти списки огласке - начнется тогда гражданская война или охота на ведьм и прочие ужасы, от этого давно все устали... Вы же сами говорите, что танки не вошли в город, никто не хотел стрелять... И правильно сделали, крови еще нам не хватало...

- Но ведь власть потеряна, - растерянно произнес Петр Самойлович, - ведь не удержали...

- Есть другая власть, мой дорогой, - сказал Эдуард Евсеевич, - помните, я вам советовал купить акции, вы последовали моему совету?

Петр Самойлович кивнул.

- Так вот, вы их приобрели всего-то за какие-то жалкие двадцать тысяч рублей. Наверняка с неохотой расставались с этой весьма незначительной суммой, так вот, смею

вас заверить, что сегодня цена каждой вашей акции достигла миллиона. В наше предприятие, которое вскоре будет именоваться «Торговый дом Сакура», японцы вкладывают миллиард иен, это вам что-то говорит?

Петр Самойлович невольно охнул, какой-то жар заполнил голову. Неужели это все так! А ведь как было тяжело уговорить жену внести эти двадцать тысяч. Да и сам сделал это без всякой веры в то, что деньги вернуться, не посмел просто послушаться совета хозяина, а теперь вот как повернулось. И с ужасом вспомнил он еще одну свою промашку - как препятствовал он переводу денег со счета обкома на строительство офиса для иностранной фирмы, ну не идиот ли был, ведь не исключено, что деньги вкладывались в этот самый торговый дом, вот уж воистину не знаешь, где найдешь, а где можно и впросак попасть. Трудно даже представить - два миллиона, этого ведь и до конца жизни хватит, сколько надо было бы выслуживаться, чтобы такие деньги заиметь, а здесь - одним махом. И тут еще одна мысль повергла его в еще большее смятение - если бы пучк победил, это же было бы страшно - тогда не видать этих денег! И он не выдержал, вырвалось у него:

- На риск ведь шли, Эдуард Евсеевич! Ведь могли всего мы лишиться!

- Вы наивный человек, - разрешил его сомнения Эдуард Евсеевич, - риска никакого не было, наступает эра бизнеса, и для нее совершенно безразлично, кто занимается политикой... Мы обретаем совершенно новые горизонты...

Уходил Петр Самойлович от хозяина окрыленный, прежнего страха не было и следа. И уже не пугала толпа на улицах, крики, фейерверки. Пусть празднуют победу, пусть выкричатся! Главное в жизни - это везение, и коли предназначено оно судьбой, все сложится само собой. Еще в

студенческие годы это подтвердилось: в какой камнепад попал с альпинистами, а ведь сумел укрыться, нашлась неожиданно пещера, и потом, возможно, по наитию, но всегда выбирал правильный путь - не на завод пошел, а в инструкторы, посмеивались однокурсники, а что они? Чего добились? И все промахи последних дней уже не казались ему камнепадом, свалившимся ему на голову, все эти переживания из-за Ларисы, ссора с Рубиным, нелады с женой, обидные слова сына - все это теперь ничего не значило...

Вечером он смотрел по телевизору, как в Москве валят памятник Дзержинскому, и хохотал вместе с сыном.

## **Я УЕХАЛ ЗА МОРЕ ...**

*Я уехал за море. И поселился на острове, где так тихо ночами, что кажется, и вовсе здесь нет жителей. Лишь тени прошлого обитают в руинах соборов. Нижегородские купцы пересчитывают собольи шкуры. Литовцы катят бочки с медом. Датчане сгружают медные бруски. Поляки привезли бревна. А вот и пруссы. Они стараются держаться в тени. Они привезли янтарные бусы. За вход в ганзейский город надо платить. Множество ворот в крепостной стене и все закрыты. У Пороховой башни стража собирает дань. И открываются двери церквей, кирх, костелов, соборов, синагог - и повсюду молятся своему Богу. Ганзейский город открыт для всех. Дома стоят плотно один к другому. Все хотели уместиться за крепостными стенами. Так было.*

*Я складываю ладони рупором и кричу в ночи. Эхо возвращается от полуразрушенных стен соборов. Стражники не слышат меня. Нас разделяют столько веков, столько лет кипела жизнь, а тебя в ней не было. Это также страшно представить, как и свою смерть! Твое появление - случайность. В длинной цепочке рождений и смертей - ты не самое сильное звено. У тебя нет меча и лат, у тебя нет вообще оружия. У тебя нет никакого товара для ганзейского города.*

*Зачем же ты приехал сюда. Соединять слова можно и не на острове.*

*Возможно, я ищу следы своих предков. Когда я подхожу к крепостным воротам или стою у Пороховой башни, я соединяюсь с их тенями. Со стен башни могут облить кипящей смолой, я невольно отскакиваю. Оглядываюсь. Вдоль стены стоят машины самых различных расцветок. В городе почти нет места для парковки. Маши-*

ны усталились фарами в серый замшелый камень стены. Такими же рядами стояли рыцари, ожидая сигнала, чтобы ринуться на штурм. Мои предки не были в их рядах. Они таились в темных катакомбах...

*Мне нечего таиться. Никто не заставляет меня поменять веру. Мне нечего менять.*

*Я говорю морю: Бог един. Он в тебе, в твоих вздохах, он во мне, он в каждой травинке, он в порывах ветра, он в свете звезд. Море с шумом подтверждает истины.*

*Вот уже много лет оно отступает от берега. Раньше крепостные стены стояли вдоль кромки прибоя, теперь между ними и морем широкая полоса и на ней мелкие камни, кучки коричневых водорослей, кусты шиповника и карликовые деревья. У очередных крепостных ворот раскидистая яблоня. Земля подле нее усеяна красными плодами. Палые яблоки, прихваченные первыми морозами, самые сладкие яблоки. Их некому собирать. Красные крупинки вокруг: шиповник и рябина. Вчера прошел снег, и пока он не растаял в природе, царили два цвета: белый и красный. Я присел на камень и стал кормить лебедей, которым лень улетать на юг. Красные клювы осторожно сжимают кусочки булки.*

*Возможно, я приехал сюда, чтобы кормить лебедей.*

*Или спеть лебединую песню, саженками меряя холодное море.*

*И трудно представить — столько еще не написанных слов таится вокруг...*

## **СЛИШКОМ «БИЛЛИХ»**

Когда я брал билет на паром в Нунесхамане, стал на своем ломаном немецком объяснять кассирше, что мне

нужно место в самой дешевой каюте. «Биллях, биллих», - повторил я несколько раз. Не знаю, почему прониклась она ко мне особым вниманием - возможно, пожалела старика, приняв меня за новоявленного эмигранта, ищущего покоя в тихой Швеции. Сама она внешне не была похожа на шведку, скорее всего, в нас обоих текла кровь древнего гонимого народа. Ее большие черные глаза повлажнили. Она спросила - пенсионер ли я, когда я протянул в окошко паспорт, чтобы оттуда она сумела переписать фамилию в билетный бланк. Я ответил, что пенсионер и что это подтверждает дата моего рождения в паспорте. « Я, я », - закивала она. И билет обошелся мне всего в каких-то двадцать долларов, вместо сорока. В таких случаях всегда улучшается настроение, и, кажется, - вот, наконец, жизнь поворачивается к тебе не тыльной стороной.

Но уже при посадке на паром я понял, что несколько поторопился радоваться. Понял я это, когда в регистратуре мне долго объясняла светловолосая и улыбчивая женщина, как мне найти свою каюту и как надо пройти вниз до самого конца. И я начал спускаться по трапам, отягощенный своей огромной сумкой, набитой книгами. Она тянула меня вниз, заставляя ускорять спуск.

Каюта моя обнаружилась на самом днище парома, рядом виднелись платформы, уставленные автомобилями. Я прошел по настилу туннеля гребного вала. Пахло мазутом и сыростью. Все увиденное и оставленное наверху казалось нереальным. Весь тот праздничный свет огней многочисленных баров и ресторанов был уже не для меня. Здесь, на дне, было истинное лицо корабля. Чрево огромного кита - темное и смердящее. Стук дизелей, дрожь переборок и вращение огромного вала прямо у меня под ногами возвращали меня в то далекое прошлое, где морские рейсы длились полгода, и от запаха аммиака и рыбной муки некуда было деть-

ся. Каюта здесь, на пароме, тоже оказалась под стать тем тесным обителям рыбацких траулеров, которые становились мне домом на долгие месяцы. Она была четырехместной, в ней не было ни душа, ни туалета, ни даже элементарной раковины. И, конечно же, она была без иллюминаторов.

И в ней был еще один пассажир - на койке сидел юноша с глазами затравленного волка, вздрагивающий от каждого скрипа. На голове у него была повязана черная косынка. Он не говорил ни по-английски, ни по-немецки. Оказалось, что он мексиканец. Я, с трудом подбирая испанские слова, объяснил, кто я и как меня зовут. Он назваля Рикардо. Возможно, он придумал это имя. Когда он снял косынку, я заметил, что волосы у него выкрашены в желтый неестественный цвет. Наверное, он хотел стать блондином, стать похожим на шведа. Но из-под желтых прядей упрямо торчали черные как смоль кудряшки. Правая рука у него была перебинтована, на скуле синяк. Он весь был напряжен. И эта его напряженность невольно передалась мне. Оба мы всю ночь спали чутко, даже нельзя назвать это сном, мы полудремали. Мы боялись друг друга. Я старался придумать историю этому мексиканскому парню, но выходило все слишком киношным...

Утром, невыспавшийся и неумытый, я тащил свою сумку с днища парома к верхним палубам, откуда уже сходили на берег уверенные в себе и улыбающиеся жители благодатной страны. Я с трудом преодолевал крутые трапы и в который раз проклинал свою удачу при покупке билета. Уж слишком «биллих» все получилось. Мексиканец сразу обогнал меня. Больше по трапам никто не поднимался. Только я и мексиканец провели эту ночь на самом дне парома. И теперь мы вступали в иной праздничный мир. Он светил нам в лицо яркими причудливыми огнями. Мы должны были вписаться в него. Мы, изгой этой ночи.

## ПУТИ ПАРОМОВ

Томительная ночь позади. Утром спускаешься по гранитным ступеням. Ивы сплели зеленый коридор над головой. Он обрывается у набережной, где в глянцевой воде мерно покачивается плавучий вокзал. Путешествующий от острова к острову, ты так и не решился ни на что. Ты не можешь объяснить, куда хочешь плыть. Выведавающая твой путь белокурая девушка, бойко лепечущая на непонятном для тебя языке, смотрит с недоумением, она высывается из окошка - говорящий манекен в ослепительной витрине. Ты показываешь палец. Неужели не понятно? Один палец. На первый отходящий паром один билет. Биль, биль? - настойчиво вопрошает та, что решает твою судьбу. Наконец ты понимаешь, - она хочет знать, будешь ли ты оплачивать машину. Ты с машиной? Ноу. Это удивляет ее. Здесь не путешествуют без своей машины. Сойдешь с парома - и как ты будешь передвигаться дальше, как одолеешь дороги, опутывающие острова. Стучит аппарат, на табло компьютера скачут цифры. Билет не просто бумажка, это небольшая книжка. Это твой единственный документ. В нем вписана твоя новая фамилия. Ты можешь плыть куда угодно. Но ты уже догадался, что в конце любого маршрута тебя будут ждать те, кто посланы так, на всякий случай, для подстраховки. И они поставят точку, если ты не решишь все сам...

На табло загораются цифры. Звонкий голос что-то объявляет по трансляции. Переходной суставчатый рукав втянулся в раскрытые двери парома. Он поглощает немногочисленных пассажиров, бредущих молча, как на заклание. Поднимаешься на шлюпочную палубу и смотришь на черную полосу воды, отделяющую паром от берега.

На берегу не спеша сбрасывают толстые пеньковые канаты. Словно ожившие змеи, они скользят в клюзы. Паром медленно отходит от причала, делает круг и, встав на курс, пенит воду. Ты не знаешь номера своей каюты. Возможно, тебе и не дали места в каюте. Если нет машины, можешь обойтись и без каюты. Самый дешевый способ передвижения - кресло на верхней палубе. Сиди и смотри на простор вод, сливающихся с небом.

Море всегда притягивало тебя. Раствориться в море - это не самый худший вариант. Если ты всегда любил море, его просторы, его свободу и его бесконечные накаты волн, если оно было твоей мечтой, - то теперь ей дано исполниться, - ты сольешься с ним навсегда. Хорошо плыть насколько хватит сил, устремляясь к отодвигающемуся горизонту, к скалистым фиордам, тающим вдали. Ощутить всем телом последние мгновения, осознать, что вода-тоже живое существо, впитавшее твои последние мысли, твою судорогу, твой предсмертный страх. Этого были лишены многие твои друзья, покинувшие мир. Их плач в криках чаек. Птицы окружили паром, повисли над палубами - посланцы из другого мира. На крыльях своих они несут души моряков, вознося их из могильной купели, и жаждут выкричать все, что не успели те сказать при жизни. Крики раздирают сердце. Крики избавляют от боли. Вот так бы - встать на палубе и закричать во всю силу легких.

Молчание всегда тяжелее. Уже третьи сутки болтаешься между островами и молчишь. Никто не понимает твоего языка. Ты этого хотел. Они правильно рассчитали - те, для кого ты уже не существуешь. Уверенные в себе и в своей власти. Всему приходит свое время. Раньше им нужен был ученый, обязательно доктор наук, обязательно по экономике. И ты уверовал в миссию спасителя. Шум аукционов и бирж еще звучит в твоих ушах. Пока человек

живет, он не может рассчитывать на покой. И только для ушедших душ, если они не переселились в крикливых чаек, открывается заветный мир молчания. Скользящие немые токи овевают их бестелесность. Лучи, пронизывающие мир, словно рельсы метро, втягивают в себя потоки тех, кто закончил свой путь. Движение необратимо. Манящий мерцающий свет, как награда, ожидает в конце туннеля. Жалобы и стоны бесполезны. Их такое множество, что присоединение еще одного ни о чем не говорит. Еще не развеялся запах дыма из труб крематориев Освенцима и Дахау. Еще те предсмертные стоны не дошли до Всевышнего. Жди своего часа. После войны ты привык к длинным очередям. У каждого на ладони невидимыми чернилами написан свой номер. У тех, чья очередь впереди, номера были выколоты на теле.

Об этих номерах вспоминает твой случайный попутчик, пассажир парома, тучный поляк, на вид интеллигентный, но весь какой-то растрепанный, с распушенным узлом галстука. Он преследует тебя, как тень. Он догадался из какой ты страны. Он знает твой язык. Он был в Сибири. Вы можете понять друг друга, но не хотите. В его душе стоны Катыни. Он настойчиво предлагает выпить. Ты скрываешься от него на верхней палубе.

Поначалу казалось, так легко закончить счеты со всем, так просто исчезнуть здесь, в сердцевине морей. Прыжок за борт - и паром продолжит путь без тебя. Но днем, при ослепительном свете солнца, нельзя уйти незамеченным. Сразу будет объявлена тревога: человек за бортом. Паром затормозит свой путь. Спасательные круги полетят вслед тебе. Заскрипят тали, спуская на воду шлюпки. Ты причинишь столько беспокойства людям. Ты станешь поводом для всех пересудов и разговоров. Вокруг столько детей - как объяснишь им все происходящее. Ты не решился ни-

чего сделать вчера, и сегодня опять стоишь и смотришь на пенящуюся у борта воду. Единственное, на что тебя хватило еще на первом пароме - это незаметно, тайком, выкинуть за борт портмоне с документами, паспорт с визой, ключи - легкий всплеск не привлек ничего внимания. Ты отрезал себе путь к возврату. Ты человек без фамилии, без гражданства. Ты ждешь наступления ночи. Так проходит еще один день, не ставший последним.

Ночью паром весь освещен огнями, мерцающие гирлянды повисли на мачтах, яркие глаза прожекторов устремлены вперед, по ходу движения, голубоватые огни дрожат в окнах ресторана на прогулочной палубе, яркие всполохи красных искр вспыхивают в зале на ночной дискотеке. Там мечутся тени, танцы на воде - что может быть романтичнее. Музыка несется над ночным морем - но это уже не для тебя.

Встать незаметно на леера невозможно, на всех палубах прогуливаются полуночники. Надо вскочить рывком на фальшборт - и вниз, в бурлящую темноту воды, но в ногах уже нет прежней прыти. Они не способны на прыжок. Надо перешагивать. Уже занесена одна нога. И вдруг окрик из темноты - это появляется полупьяный поляк, в руках у него бокал. Он протягивает его тебе. Он говорит о том, что сегодня - полнолуние, что настала ночь всепрощения. Ты берешь бокал. Несколько глотков - и все теплеет внутри.

Теперь ты его должник. В полутемном баре громкая музыка не дает вам говорить. Ты избавлен от расспросов. Поляк засыпает, опрокинув голову на край стола. За окнами постепенно развеивается мрак ночи. Яркая луна становится бледным пятном.

В рассветной дымке на пути парома встает очередной остров. Длинная каменная гряда на горизонте постепен-

но растет. Начинаешь различать цвета - красные крыши домов, серые крепостные стены с желтыми башнями, зеленые парки. Этот остров, как выясняется, и есть конечная цель парома. Ты понимаешь это, когда все пассажиры тянутся к выходу. Объявления по судовому радио прошли мимо тебя. Набор непонятых звуков. Чужой мурлыкающий язык.

Не хочется возиться с багажом, да и нужен ли он тебе. Твоя сумка одиноко приткнулась к столику. Никто ее не возьмет. Она совершит еще несколько рейсов. Если нет документов, то вещи уже ничего не решают. Поток людей увлекает на берег. Ты сворачиваешь к билетным кассам. Надо опять брать билет. Никто не понимает тебя. Ты мечешься от одной кассы к другой. Через час выясняется, что никаких паромов сегодня не будет. Никуда. Ни на один остров. Тебя направляют в отель. Боятся, что ты останешься возле касс. Им пора закрываться. Ты пытаешься объяснить, что у тебя нет документов, и тебя не поселят в отель. За долгие годы жизни в своей стране ты привык к паспортному режиму.

Здесь все проще. Ты поднимаешься по взгорью к большому светлому зданию, похожему на королевский дворец. В пустом вестибюле появляется улыбающаяся рыжеволосая женщина. Она искренне обрадована. Поток английских слов низвергается на тебя. Она говорит слишком быстро. Никаких документов не требуется. Тебе нужно только заплатить. Никому никакого дела нет до цели твоего приезда, ничего не надо заполнять. Почти все номера в отеле пустуют. Ты можешь выбрать любой. Ты желанный гость. Живи здесь хоть вечность, если есть валюта.

В просторном номере - добротный письменный стол, черное дерево отбрасывает блики, в углу затаился телевизор. Посередине - широкая кровать. На столе раскрыт рек-

ламный буклет - виды города, расписание паромов. И в расписании четко обозначено - сегодня есть рейс на тот остров, куда ты тщетно пытался купить билет. Можно еще успеть. Ты сбегашь вниз и мчишься напрямую через аккуратно подстриженные газоны от гостиницы к причалу. Кассы закрыты. Но выясняется, что есть еще одна пристань - от нее отходят паромы другой судоходной компании, ты мог бы успеть, если бы узнал это сразу. Теперь поздно. «Вот, смотрите, - показывает тебе местный матрос - вон там, почти на горизонте, видите точка. Это «Вестфалия». Ушла полчаса тому назад». Матрос довольно-таки неплохо изъясняется по-русски. Он сочувствует тебе. Не хочется с ним расставаться. Но его зовут, он на работе. Ему еще надо растащить по кнехтам причальные канаты. У него вздернутый пухлый нос и веснушки на лице. Он так похож на Кирилла. Бедный Кирилл. Лучше бы он был матросом. Теоретик, пишущий стихи. Попытки уехать на Запад кончились ничем, слишком долго он работал в номерном ящике, слишком многое знал. Работал на оборонку, теперь его работа никому не нужна. Он узнал об этом раньше всех, залез в ванну и резанул вены. Розовые припухлости на запястьях казались простыми волдырями. Абсолютно белое лицо и красная вода. Никто не хотел верить в такой конец. Ты стоишь и вглядываешься в матроса. Руки, покрытые белыми шрамами. Нет, на запястье, кажется, ничего. Впрочем, издали не разглядеть. За год перед смертью Кирилл хотел устроиться на траулер, визу не открыли. Все время он хотел быть матросом. «Эй, - окликаешь ты того, кто так похож на Кирилла, - эй, я подожду тебя!» Но матроса уже нет, он так неожиданно исчез, будто провалился сквозь настил причала.

Восемь часов вечера. Как быстро промелькнул день. Ты еще ничего не ел. Во рту сухо, сейчас бы кружку хо-

лодного пива. Спросить, где его можно купить, не у кого. На твоём пути ни одного человека. Впечатление такое, что жители покинули город. Все взяли билеты на «Вестфалию» и отплыли. Мостовые блестят. Несмотря на отъезд, перед своим исходом жители успели их вымыть с мылом. Игрушечные дома, покинутые ими, взбираются на взгорье и тонут в сочной зелени садов. Серый утес слева повис над невидимым отсюда морем. В ещё светлом небе плывет большая луна. Ты вспоминаешь - сегодня полнолуние. В такие ночи лучше не выходить из дома - обычно говорила мать. Тебя уже ничего не страшит. И некому остерегать тебя. И мать, и отец - давно уже там, за этой пугающей призрачным светом луной...

Пустой город завораживает тишиной. Мостовые так чисты, будто по ним никто никогда не ходил и не ездил. В освещенных неоновыми лампами витринах магазинов все, что угодно, рядами - холодное пиво, испарина на стекле бутылок. Но все магазины закрыты. Двери всех домов тоже закрыты. Но вот впереди большое здание, надпись на фасаде буквами из меди - переводится легко - Народный дом. Стены заклеены яркими афишами. В широких окнах стерильный голубой свет и никакого движения внутри, ни одной даже самой мимолетной тени. Если заблудишься, не у кого будет спросить, как возвратиться в отель...

И вот, наконец, на взгорье перед тобой обитель с открытыми дверями. Старинные резные двери окованы почерневшей медью. Тыходишь в них - и сразу попадаешь в царство зажженных свечей. Это костел. Высокие своды, деревянные отполированные временем сиденья, алтарь - и в нем двенадцать апостолов выстроились перед тобой. В костеле совершенно пусто, ты зажигаешь свечи за тех, кого уже нет. Ты сбился со счета. Свечей не хватает. В горле сухой жесткий ком.

Позади тебя строгое деревянное распятие парит в воздухе. Ты поворачиваешься и видишь страдающее лицо. На стойке у переднего сиденья лежит толстая книга - Библия. Смотришь в раскрытую страницу. Значки незнакомых букв. И вдруг в начертаниях слов проступает смысл нетленного текста. Книга судеб едина для всех. Яростные проповеди пророков, кровь и озарения, история падений и взлетов, тяжкий путь к истине. Надо быть распятым, чтобы тебя поняли, претерпеть муки ради других, ради правды. Можешь сидеть в этом соборе все оставшиеся дни. Сюда никто не войдет из тех, кто захочет преследовать тебя. А можешь взойти на утес, он как раз за костелом, вскарабкаться по камням на самую вершину... Время падения, длящееся мгновение, растянется на всю земную жизнь, она повторится внезапно вырванными кадрами, в которых ничего нельзя уже изменить...

Ты выходишь из костела в сгущающуюся темноту чужого города. Ничего нельзя изменить. Ты ведь захотел тогда славы, признайся. Было все - и кафедра, и ученики, и признание. Захотелось стать спасителем. Давно разработанные матрицы развития так легко могли быть использованы. Взлет экономики. Локальные зоны. Разрешено все, что не запрещено. Ты задумал накормить народ тремя хлебами. А за твоей спиной спокойно гнали лес и янтарь по дорогам Европы. Им нужна была просто фигура для прикрытия. Авторитет. Слово, опошленное блатным его значением. У всех, у них, был в ходу воровской язык. Язык, который ненавидит. Они и тебя пытались приучить «ботать по фене». Никто не хотел вникать в формулы и расчеты. Зато они точно знали, что можно присвоить и наизусть помнили свои счета в бельгийском банке. Ты пытался делать не то, что они хотели. Тогда поняли, догадались, что ты не желаешь быть директором «Фунтом». И на очеред-

ном банкете, навис над тобой тот, который был до времени в тени и казался простачком, сжал ключицу до хруста, обдал зловонным запахом гниющих зубов и прошипел: «Забудь все профессор и исчезни!» Рушащаяся пирамида была беспощадна. Исполнители должны были погибнуть под обломками. Вот и вся свобода. Матрица не имеет положительного решения...

Сухость и жажда раздирают глотку. Назад - в гостиницу. Только там можно, наверное, купить воды или пива. Все эти страхи и глупые размышления рождены жаждой. Перестань перетряхивать хламье из прошлого. Улыбнись, видишь - рыжекудрая хозяйка ждет тебя. Она знала, что все в городе закрыто, она припасла специально для тебя две бутылки пива. Она протягивает их, ты догадался, что ключ от номера может служить открывашкой. Ты поглощаешь пиво прямо здесь, в вестибюле. Тело оживает, наполняясь влагой. Вода умеет гасить жизнь, но умеет и продлевать ее.

Возвращаешь пустые бутылки. Ваши руки на мгновение соприкасаются. У нее теплая бархатистая кожа. Твои пальцы скользят по ее руке. Она по-своему истолковывает соприкосновения. И когда ты уже собрался подняться в свой номер, протягивает глянцевого журнала. Раскрываешь его и сразу отталкиваешь назад. Даже смотреть неудобно, кощунственно. Но взгляд уже невольно схватил изображенное и отпечатал в памяти. Женские жаждущие губы, похотливые улыбки, обнаженные тела, вывернутые, доступные, порочные - под каждым снимком номер телефона. Одна из них удивительно похожа на Таю из железнодорожной школы. Выставленный оттопыренный зад и при этом застенчивый взгляд. Глаза с поволокой. У Таи тоже был такой взгляд. Всегда стеснялась. Убегала с пляжа, завидев тебя. Соединила вода. Первые объятия были в воде.

Она притворилась, что тонет, ухватилась цепко за плечи, обхватила бедра ногами, счастливое детское узнавание друг друга.

До сих пор ты не можешь понять - почему она уехала в другой город. Там получила свой дачный участок. Всем начали давать землю. Дождалась. Она всегда была слишком задиристой, всем любила делать замечания, боролась за правду. Это ее время пришло. Можно жить без оглядки. Она не захотела возвращаться. Сделала все, чтобы соединить тебя со своей двоюродной сестрой. Они были так похожи, что ты быстро сдался. Жалеешь ли об этом? Вряд ли. Заменявшая Таю была терпелива. До последнего момента держалась. И только в этом году не выдержала, скрылась у матери. Ждет, чем все кончится. Таю ты слишком быстро забыл. Были годы эйфории. Только что создали биржу, и ты возглавил совет директоров. Шумные банкеты, обилие тостов, фуршеты. На один из банкетов Тая обещала приехать. Но потом - молчание. Ты не успел на ее похороны. Нелепая, страшная смерть. Какие-то бомжи встретили ее у подъезда дома, потребовали денег, она стала кричать, ударила одного из них, другой железным прутом ударил сзади, потом свезли ее тело в избушку на пустыре и подожгли это подобие дома. Известию о той трагедии не хотелось верить. Вину всегда надо принимать на себя. Если бы не отпустил, этого не случилось бы. А вдруг все это было выдуманно. Захотела порвать окончательно, чтобы не искал, не домогался. Написала сестре - выручи, скажи, что меня нет. Избушку ту подожгла сама. И вот теперь здесь, на островах, предлагает себя путешествующим. Надо только набрать указанный номер.

- Я-а, я-а, - кивает хозяйка отеля, рыжая бестия, а может быть и не хозяйка, все разъехались - оставили дежу-

рить, дежурить и соблазнять, - Бон Вумен, Бон Вумен, телефонирен...

Остальные слова не понятны. Пробуешь объяснить, что твои женщины далеко отсюда, что никогда не платил за это...

— Bravo, bravo! - восклицает рыжеволосая и опускает глаза.

Ты уходишь наверх. Садишься за стол, листаешь рекламные буклеты. В папку для гостей вложены конверты, чистые листы бумаги. Можешь написать завещание, можешь сочинить письмо. Когда-то в студенческие годы ты любил писать и даже сочинил нечто вроде романа - глупая трата времени. В папке карта, разворачиваешь ее и садишься в удобное мягкое кресло. Включаешь торшер. Можешь продолжить путешествие. Вверху, на севере, пространство вод изрезано зубцами фиордов, на юге, внизу, заполнена пятнами островов. На каждом острове можно воссоздать свой Эдем. Причуды воображения могут подменить жизнь. Острова можно заселить теми, кого уже нет. А нужно ли их возвращать к жизни. Их, приблизивших падение империи? Оживить, чтобы отдать во власть мафии. Ведь все они были твоими друзьями и захотят вступить за тебя. Эдем - это утопия. А утопии всегда опасны. Сон разума рождает чудовищ. Захочешь равенства - получишь тех же паханов, которые будут распределять это равенство. Быстро присвоят райские сады, красные директора, большевички приобретут твой Эдем. Ни ты, ни твои друзья, покинувшие землю, не захотите иметь с ними дело. Хватит.

Нет возврата твоим друзьям. Ты давно уже их оплакал. Они печально взирают на тебя с вышины небес.

И тот, кто женился на девушке, которую ты любил, потому что хотел стать тобой; сердце его остановилось на пляже, переполненное солнцем. И другой, которого испо-

лосовали лезвиями ножей. Кому-то пришлось не по вкусу его иудейская улыбка пересмешника. Кровь его пропитала землю под Невелем. И тот, кто захлебнулся в собственной ванне, кто был всегда пьян и даже смерти своей не почувствовал. В те годы все пили, и ты - тоже. Казалось, выхода нет - обречены, замурованы, закрыты железным занавесом. Пили, чтобы окончательно не превратиться в рабов. Не думали, что придет свобода. Были слишком наивны. Те, кто объявил свободу, быстро сообразили, для чего она нужна. Стало легче воровать. Вот и создали фирмы, биржи, пирамиды. Поверил ты, поверил поначалу и Кирилл. И был еще один - молодой кандидат наук, обладающий необыкновенной памятью, все данные, все номера счетов, все тайны сейфов вмещались в него. Сердце его разорвалось в полете. Внуки железного Феликса сбросили своего казначея с двадцать четвертого этажа.

И еще смотрит вниз сейчас тот, кто был лучшим другом, с которым столько переговорено, столько пройдено. Родственная душа. Математик от Бога. Талант, сгубленный огненной водой, сжигавшей его почки. Спирт лаборатория получала без всяких проблем. Спирт не всегда был очищен. Теперь друг этот уже ничем не сможет помочь. В небесах друзей больше, чем здесь, на земле. Там все, кто учил тебя, там те, кто дали тебе жизнь - родители.

Они бессильны, думаешь ты, они не могут воздействовать на оставшихся. Растворенные в общем потоке лучей, в лучшем случае, они просто незримые судьи.

Тебе же дано тело - его ощущения, радости и боли, восторги любви и гнусности падения. Ты насыщаешься или томишься от голода. Ты ищешь признания в себе подобных. Ты хочешь их похвал, и сам не замечаешь, как тебя грабят. Они, твои коллеги, привыкли воровать. Раньше у государства, теперь у самих себя. Тебе дано обрести себя

в другой ипостаси. Доселе случайные встречи сплетали путь твоей жизни. Он гибелен и для тебя, и для других. Ты теряешь друзей. Чтобы продолжить твою жизнь, прекращают свое существование рыбы, животные, растения. Ты не смог в суете и спешке отпущенных тебе лет остановиться и пасть на колени в раскаянии. Покаяние чуждо стране, где тебя взрастили. В стране, которая в отличие от этих скалистых островов обширна и непредсказуема. Ты давно слился с ней. Страна, где любой случайный спутник может открыть тебе свою душу, может стать другом, а может и возненавидеть и броситься с кулаками. Совершить убийство и плакать над слезой ребенка. Может лобызать портреты пахана, уничтожившего миллионы. И может так распрямить спину, что все эти сподвижники пахана задергаются от страха, как жалкие черви, нанизываемые на острие крючка. Никому не дано до конца понять твою страну.

Чтобы почувствовать ее лучше, надо из нее уехать. Очутиться в городе, где никто не понимает твой язык, сидеть ночью в гостинице над абсолютно белым листом и осознавать, что слова давно уже не подвластны тебе, что смысл их заменили цифры, хранящиеся в памяти, как на дискетах. Как сообщить свои мысли тем, кто ушел в иной мир, как получить от них ответный сигнал? Зачем метаться среди островов, зачем оттягивать то, что должно произойти. Проще всего без метаний, сразу соединиться с ними, или как писали библейские пророки - приобщиться к народу своему. Казалось, в миг, когда освободился от документов, и море беззвучно приняло их, так легко и самому повторить этот путь. И все же, признайся, ты не можешь избавиться от глупого инстинкта самосохранения. Животный страх живет в глубине твоей души. Не удивляйся, он присущ любому существу. Помнишь, как наловили раков.

Любитель их - коммерческий директор, одаренный цепкой хваткой во всем, ловко вытряхивал их из бредня. Набили полное ведро. Черная вздрагивающая масса казалась единым существом. Потом обнаружилось особи. Когда мыли их в раковине, каждый норовил уцепиться за поварешку, за руку, за кран - только бы вылезти, только бы выкарабкаться из таза. А когда вскипела вода в большом котле, и туда бросили первую горсть - все остальные словно замерли. Уже не цеплялись, уже не рвались наружу из холодной воды в тазу. Ибо был им сигнал о страшной смерти от тех, кто опрокинутый в кипяток вмиг становился красным. От тех первых, кто шел на гибель, как на освобождение. Хорошо быть первым. Не знать ни о чем и умирать без раздумий. Страшна не смерть, а ее ожидание...

Оно, это ожидание, длится уже более года, с тех пор, как понял, что тебя подставили, что твое слово, твои формулы уже никому не нужны. Под твое имя просто выкачивали деньги, и вина за все это теперь только на тебе.

Ты распахиваешь окно, ночная прохлада проникает в комнату, свет луны стал еще ярче. Можно не включать лампу, все видно и так. Читать трудно, но можно рассматривать карты. Архипелаг островов и причудливые, острые, как зубья пилы, выступы скалистого берега. Ты уже пересек острова с юга на север - потом опять вниз, и, наконец, два последних парома - прошли поперек, совершенно равные концы, будто крестился - от одного острова к другому. Путь твой - образовал крест на голубом пространстве карты. Уже нет никакого смысла рваться на тот далекий остров, где возможно тебя ожидает западня. Прошло достаточно времени, чтобы понять, что там ты уже не появишься. Ты начертал крест в пространстве. Ты надеешься, что его увидели сверху. Теперь надо просто набраться терпения и ждать ответа. Пришлют тебе своего

Харона - перевозчика до врат Аида, и тогда, для уплаты за перевоз, ты положишь в рот монету, так, кажется, делали твои далекие предки. Возможно, теперь лодки не в ходу, их не хватает. И Харон управляет паромами. Но ведь паромы ходят туда и обратно. Никогда не теряй надежды. Это твоя привычка - диктовать условия. Забудь ее. И никогда не раздумывай слишком долго...

Помнишь, перед отъездом - последняя попытка твоих так называемых коллег найти с тобой общий язык. Совместный отдых на природе. На двух машинах помчались к морю, не к тем пляжам, что забиты людьми, а в пустынную заповедную зону на косу. В одной машине ты и тот, который фактически теперь управлял тем, что осталось от биржи, ты сел на заднее сидение, чтобы не ощущать гнилостный запах из его вечно улыбающегося рта, тебе хотелось молчания, а он говорил без передышки - хотел заставить тебя поверить, что вновь созданный банк сохранил все деньги. Во второй машине ехал назначенный директором этого банка - главный авторитет. И с ним две девицы лет шестнадцати. «Видишь, каких дочек вырастил!» - сказал новоявленный директор, когда рассаживались по машинам. Дочки эти тоже были знаком к примирению. Если бы хотели расправиться, то зачем тогда брать с собой этих очаровательных прелестниц. Коса была всегда твоим любимым местом на земле. Так много было связано с этими первозданными песками, с высокими дюнами, с квадратами переплетений на них - вроде игрушечных заборчиков, охраняющих пески. Увы, существовала вечная угроза передвижения песчаных гор. В прошлом были и песчаные бури и занесенные песком деревни. В твоей юности об этом мало задумывались, когда со смехом и криками катились с песчаных вершин дюн в залив. Тогда не остерегались ничего,

даже ждали ветра. Ждали высоких волн, чтобы выскочить на берег моря, поймать момент, когда накатывает масса воды, поймать большую волну, дать ей схватить тебя, дать волоочь гибельно навстречу неизбежности, а потом вырваться в последний момент. Ощутить себя победителем, с горящим телом выскочить на берег и упасть на песок. Никакой усталости. Бежать, не останавливаясь, вверх по звенящему песку.

Теперь это делали дочери банкира. Длинноногие, загорелые нимфы, мелькающие розовыми пятками. Две красавицы с хитроватыми, полными искринок глазами. Никто не заставлял тебя бежать за ними. Мог остаться в ложбине, раскладывать костер, готовя шашлыки. А теперь вот задыхался, пытаюсь не отставать от девиц. Подъем казался бесконечным, пески волнообразно тянулись от леса к прозрачному дрожащему от зноя небу. Песчинки также звенели под ногами, также были первозданны и чисты, как в годы твоей юности. И сейчас тебе тоже хотелось легко бежать вверх, но ты вдруг почувствовал, что ноги тяжелеют и тебе не взобраться на вершину дюны, не съехать по ее склону к заливу. Сжало все внутри, и ты по инерции еще двинулся на несколько шагов и застыл, наблюдая, как растворяются в мареве тонкие фигурки девиц.

И оттуда - от дюн, от залива возвращались к лесу уже свершившие свой поход, цепочка людей, обвешанных фотоаппаратами, среди них мелькали знакомые лица. Они кивали тебе, что-то говорили, ты не мог расслышать, в голове стоял гул, они улыбались, подмигивали, это были аспиранты с твоей кафедры, с бывшей твоей кафедры. Что-то недоброе было в их взглядах. Ты догадался: они осуждали тебя - задыхающегося, они увидели в тебе похотливого сатира, не рассчитавшего свои силы в погоне за юными прекрасными созданиями.

- Это дочери моего товарища, это дочери банкира, - пытался объяснить ты. В ответ недоверчивые улыбки, кто-то навел фотоаппарат, ты заслонился рукой...

У костра сидели долго, пили вино, ели сочные шашлыки. И девицы хохотали без умолка. Потом поставили палатку, и банкир сказал извиняющимся тоном: - Старик, их только двое, надо было тебе самому позаботиться. Но если хочешь, могу уступить, а то давай, на пару...

Ты расхохотался, смеялся над собой - сколько можно позволять надувать тебя, всему ты верил и веришь. Ничего они уже от тебя не хотели, все у них было сговорено заранее...

Ты успел на последний автобус. А ведь уже тогда, на косяке, мог бы высказать им все начистоту. У тебя уже были такие документы и сведения, против которых они были бессильны. Ты всегда слишком долго раздумывал, прежде чем совершить действие. Скандал ведь мог быть сочтен за обиду - не досталось девицы - вот и вспылел...

В отношениях с женщинами ты всегда чувствовал себя виноватым. Начиная с той, самой первой, со школьной любви. В том, что ее постиг страшный конец, есть и твоя вина. Почему не остановил ее, почему дал ей уехать, обрек на одиночество, не отвечал на ее письма, в них ведь был крик о помощи. Она задыхалась в провинциальном городке, в школе, где дебилы не вынимали руки из карманов и гнусно сопели на ее уроках. Потом один из них подрос и обрушил железный прут на голову своей несбывшейся мечте и сжег ее в избушке на пустыре. А может быть, и не сжег...

И вот теперь здесь, в рекламном буклете, она предлагает свои услуги, открывая взору самые интимные позы. Теперь она доступна каждому, у кого есть деньги. Конечно, это она. Не могут родиться на земле столь похожие

друг на друга женщины. Только в том случае это возможно, если здесь, на островах, совершенно другой мир. Здесь чистилище. Затаились, ждут того, что не сбылось, все, кто отринут и смят прежней жизнью. Всем воздастся.

Тогда почему же медлишь. Спустишь вниз, потребуй Вумен. Набери ее номер и, если она не занята... Конечно, нет, она ждет, ведь в городе почти никого не осталось. Но почему она должна остаться? Она ведь тоже могла сесть на паром с названием «Вестфалия», там, на пароме, так легко найти клиента, там есть отдельные каюты. Легкое покачивание на волнах возбуждает одиноких путешественников. В каютах люкс невозможно и глупо засыпать одному на просторном ложе...

Ты высовываешься в окно. Пронзительный свет луны вырывает из темноты твою седеющую голову. Ветер перебирает листву, и тени деревьев со всех сторон набегают на стены отеля. Никого ты не решаешься искать. Ты хочешь, чтобы она сама тебя позвала. Этого не будет. Полнолуние совсем не подходящее время для любовных утех. Любви больше подходит мерцающий свет звезд. Сегодня их затмила луна. Приходится почти всем туловищем вылезти из окна, чтобы, удерживаясь за створки, разглядеть на небе дрожащие точки. Окна выходят на север. Но невозможно найти знакомые очертания Медведицы. Странное небо, как будто попал в южное полушарие. Конечно - вот же видится звездный крест, только его и можно различить. Холодок пробегает по телу...

Прохладная ночь проникла в гостиничный номер. Пора закрыть окно. Но тогда ты отгородишься от пространства, и никто уже не сможет ответить тебе. Пусть будет открыто. Натягиваешь на себя одеяло. Веки давно уже отяжелели, и ты сразу проваливаешься в темное небытие сна. Тебе снится, что душа твоя покинула тело, и

ты наблюдаешь себя самого. Ты видишь человека, сидящего в кресле в номере гостиницы и читающего газеты. Прочитанные листы летят на пол. Но тотчас, возникающий совершенно неслышно вислоухий почтальон подносит новые. Остро пахнет типографской краской, похоже, эти газеты доставляются моментально, прямо из типографии. Человек, читающий газеты, никак не реагирует на те сообщения, что бросаются в глаза. Ты тоже их читаешь. Мелькают твои портреты, фамилия в черной рамке, сообщается о времени панихиды. Все так, будто умер человек, много значивший в этом мире. Рой подписей. Ты и сам не раз подписывал такие некрологи. О мертвых или ничего, или только возвышенное. И все-таки любопытно читать, что еще можно выдумать о себе. Иконописный портрет слагается из давно забытых заслуг. Твои матрицы не такое уж открытие, докторская добыта долгим трудом, уход в коммерцию - это не подвиг, это скорее предательство. Подписи таких людей, коих ты и в лицо не знаешь, просто в данный момент они занимают важное положение на иерархической лестнице. Они перечисляют твои награды. Бронзулетки из прошлого. Была такая эпоха, когда медали раздавали почти ежегодно. Теперь их можно нести на подушечках. Медали они найдут в тумбочке. Но откуда они возьмут тело. Впрочем, всегда можно найти в морге. Всякий раз там лежат неопознанные, не востребованные. Если не всматриваться в лица - все люди похожи друг на друга. Можно намалевать подходящие глаза и губы, призвать косметологов - и все в порядке.

Так рассуждает твоя душа во сне, а тело медленно остывает и газета выпадает из рук. Но ты уже независим от тела, ты продолжаешь читать газету, лежащую на полу. И вдруг тебя словно током ударяет короткое сообщение. В

далекой Молдавии - автомобильная катастрофа, среди пассажиров «фиата» фамилия и инициалы той, с которой ты прожил большую часть своей жизни. Может быть, это просто совпадение - думаешь ты, но, увы, нет, ибо дальше разъясняется, что это твоя бывшая жена. Бывшая - эпитет не для нее. Даже не выдержав, даже устав от всего и уехав к матери, она продолжала существовать в твоей жизни, и сам факт ее существования сохранял надежду на возврат к тому времени, когда тебе не нужно было обустроить страну, когда тебе ничего не нужно было кроме ее и друзей. И вот теперь человек, который любил тебя и которого так любил ты, не существует. Весть об этом поражает сильнее, чем собственные некрологи. А вот и еще — более подробное сообщение - оказывается она была не пассажиркой, напротив, эта она сидела за рулем в «фиате», который выскочил на встречную полосу и врезался в бензовоз, есть даже снимок - пылающий факел на дороге. И ты теперь отчетливо осознаешь, что ее смерть последовала сразу за твоей - это случилось, судя по датам на газетах, через два дня после публикации некрологов на твою персону. Значит, она не захотела жить на этой земле без тебя, и ты - косвенный виновник ее смерти. Если бы ты не скрылся, не стал метаться среди островов - никто не посмел бы заживо хоронить тебя. А теперь, те, кто хотел, чтобы ты исчез, зафиксировали твой уход. Она прочла - и, возможно, гнала машину на вокзал или в аэропорт, и глаза ее были затуманены слезами. Все-таки семь лет вместе, худо или хорошо, но успели срастись души, жить без тебя она не хотела. У нее не оставалось надежды. Ты, а вернее, твоя душа - понимает весь ужас происшедшего. И эта душа врывается в безжизненное, вяло осевшее в кресле, тело. Пот выступает на твоём лбу, и ты просыпаясь от резкого трезвона телефонного аппарата.

Голос в трубке так знаком, так привычен, но невозможно разобрать слова, в них нет никакого смысла - чужой мурлыкающий язык и, наконец, ты разбираешь только одно слово: факен, факен...

Международное нелепое слово, столь чуждое для обладательницы родного голоса. Плевать на это слово. Лишь бы не умолкал голос. Голос, стирающий бред безумного сна.

- Говори, говори, не прерывайся! - кричишь ты.

И радость заполняет тебя - сразу спала тяжесть, стало так легко внутри, будто качнули в тебя освежающий озон. Ты легкий, как дирижабль. Сейчас ты сделаешь движение руками и поплывешь в ночи навстречу голосу. И никакой автокатастрофы. Никаких факелов на дороге. Ты не виновен. Она жива, она нашла тебя.

Теперь она притворяется, предлагает себя на мурлыкающем островном языке. Она думает, что ты легко клюнешь на приманку. Она проверяет тебя. Всегда в жизни она подлавливала тебя. Чтобы застать врасплох, подстроила этот сон и некрологи, и сообщение о своей гибели. Она умела вторгаться даже в сны. Приставала всегда - расскажи, что ты видел, почему стонал. Ударили. Не верю - это были стоны сладострастия, расскажи, как все было, с кем ты был. И добившись своего, надолго замолкала. Мучила этим своим молчанием, этим презрением к тебе, слабому, не властному над своими снами. Ведь сны это тоже продолжение жизни. Хотела, чтобы принадлежал ей и во снах. Отстаивала свое единоличное право на тебя. Всю жизнь носила на лице маску, изображая вычитанную в детстве из книг принцессу, лишённую трона, обиженную и униженную. И в то же время была предана тебе, верила только в тебя. И согласилась даже на то, чтобы вложить все ваши сбережения в фондовую биржу. А там проглотили и не заметили. Какая отдача? Какие при-

были? Растащили вмиг по карманам. Ни словом не попрекнула. А потом - резко так все изменила - и исчезла, к маме рванулась, разуверилась во всем... Но ведь сейчас, когда все поставлено на карту, когда решается - жизнь или смерть, сейчас примчалась...

- Ты понимаешь, как все серьезно! - кричишь ты в трубку. - Прекрати игру! Мы на волосок от гибели!

- Телефонирен мих, - залепетал голос, - номер цвай унд цванциг, цвай унд цванциг...

- Да прекрати же! Я ведь все равно узнал тебя! - кричишь ты. Но в трубке уже звучат длинные гудки. Все - связь оборвалась.

Что она говорила? Какой-то номер - двадцать два, двадцать два. Ты еще не включил свет, цифры на диске не различить, и луна скрылась за крышей здания. И нет ее пронзительного сияния, которое кружило голову и заставляло стыть кровь. В темноте никак не найти выключатель. А может быть, его и вовсе нет на стенах. Но ведь есть настольная лампа, есть торшер - куда они подевались. Легче растворить дверь. Коридор заполнен мягким зеленоватым светом. Теперь можно все разглядеть. Конечно, никакого выключателя на стенах нет, зато рядом с телефоном настольная лампа. Яркий свет ее вырывает из темноты карту островов - крестом обозначен путь паромов. Должны были это заметить. Возможно спасение в этом номере, состоящем из четырех двоек. Ты набираешь их - никаких гудков. Или это обман, или ее очередная выдумка. А, скорее всего, надо набрать перед номером девятку - обычно она дает выход в город, но и с девяткой ничего не получается. Значит, есть еще цифра - для отеля, у каждого отеля свои цифры.

Ты поспешно спускаешься вниз по деревянной лестнице. В вестибюле - пустота. Никто не охраняет вход в

отель. Это не в твоей стране, где для прохода в гостиницу нужен пропуск. Кому охота рваться сюда ночью, здесь и днем в городе почти нет людей. Ты садишься в глубокое кресло, ноги твои не в силах удерживать груз тела. Глаза слипаются. Сердце тяжело бухает. Это стресс, надо успокоиться. Ты же всегда, в любых ситуациях оставался спокойным.

И вот, наконец, распаивается дверь дежурной - в проеме проявляется золотокудрая красавица. Тело ее пышет жаром, ямочки у локтей притягивают взгляд, мягкая улыбка говорит о готовности сделать все для гостя отеля. Она мягко опускает руку на твое плечо. Как ей объяснить, что тебе не нужны ее объятия, как не обидеть ее. Ты пытаешься рассказать о твоей бывшей жене, о ее причудах, о телефонном звонке.

- Телефонирен, телефонирен, - понимающе кивает дежурная. И протягивает тебе все тот же красочный каталог. Он раскрыт на том месте, где изображена женщина так похожая на твою школьную пассию. Возможно, это она и есть. Ее не убили бомжи, она просто уехала на заработки. Но ведь возраст, соображаешь ты. Это, скорее всего, ее дочка. А может быть, и твоя тоже. Тогда ее надо выручить. Надо срочно увезти отсюда, с этих затерянных островов. Номер телефона под ее снимком тоже сплошные двойки, но есть еще и семерка. А если жена воспользовалась ее телефоном. Ведь они же двоюродные сестры. Сердце твое сжимается так, что не продохнуть.

И в этот момент ты слышишь, как начинают бить колокола. Для созыва на утреннюю службу еще рано, да и быют они подряд, будто скликают на пожар. Дежурная бросается к входной двери, распаивает ее. Бой колоколов заполняет все вокруг. Ты пытаешься что-то спросить. Но твой голос уже не слышен. Вы выскакиваете на улицу.

В рассветных сумерках скользят мимо вас беззвучные тени. Откуда столько людей? Поток устремляется к причалам, вы пытаетесь остановить кого-либо, чтобы узнать, что же случилось. Наконец, один из них хватается за руку женщину из отеля и что-то кричит. Так это же тот матрос, что так похож на Кирилла. Теперь вы бежите втроем. Из их слов понятно только одно: Вестфалия. Это название парома, на который ты опоздал. Бой колоколов становится все громче, все тревожнее. Вы выбегаете на набережную. Плотный слой тумана повис над морем. Люди, натыкаясь на ограждения, останавливаются. Слышны чьи-то рыдания. Шумные всхлипы. Будто это и не человек, а огромный кит, выброшенный прибоем и хватающий широким ртом воздух. Наконец всхлипы прекращаются, и на смену им приходит пронзительный плач ребенка. Со скрипом раскрываются ворота, ведущие в порт. Люди в форме отбирают из толпы несколько человек, ты и матрос в их числе, вас проталкивают вперед, туда к набережной, где прямо на пирсе ты замечаешь белые холмики. Смолкают колокола. В тишине еще более отчетливым и пронизывающим становится плач ребенка. Как призрачно и хрупко все в это туманное утро. Ты хочешь, чтобы это было сном. Чтобы сон прекратился. Но тебя подталкивают к белым холмикам. Это покрытые простынями трупы. Матрос пытается объяснить, что хотят от тебя люди в голубой форме. Он не может вспомнить нужного слова. Знать, говорит он, и еще добавляет - знать, кто есть. Опознать, понимаешь ты. Все, пришедшие на пирс, соединены общим горем. Люди не успели привести себя в порядок. Женщины в халатах, волосы растрепаны, мужчины в майках. Несмотря на прохладное утро - повсюду острый запах пота. Ты тоже вытираешь лоб, холодные как роса капли. Рука матроса на твоём плече, ты видишь совершенно от-

четливо розовую припухлость на его запястье. Кирилл, окликаешь ты его. Он пожимает плечами. Он говорит, что все надо узнать. Почему это требуется сделать тебе - ведь ты, наверное, единственный среди этих людей, кто почти ничего не знает.

Матрос с трудом подбирает русские слова. Не из слов, а скорее из его жестов, ты понимаешь, что случилось несчастье, что затонул паром «Вестфалия». Тот самый паром, на который ты не успел. Ты обязан был на него попасть. Это было бы самым желанным для тебя выходом. Но пострадали другие ни в чем неповинные люди. Предчувствовали ли они свою судьбу. Понимали ли, как опасно отправляться в путешествие в полнолуние. Паром вмещает сотни пассажиров. Здесь же, на набережной не более десяти. Где остальные? Неужели их всех поглотили ночные воды? Сентябрь, вода уже успела остыть после летних дней. Умирают не от того, что не могут выплыть. Есть нагрудники - они удержат на воде. Умирают от страха или переохлаждения. Страх за собственную жизнь всегда губителен, он отнимает разум. Для того же, кто ищет смерти, даже холодная вода - манящий и не самый страшный исход. Ты мог быть там, на пароме. Кому нужно было оберегать тебя и отнимать эту возможность обретения последней свободы? Но нет, оказывается, всё не в твоей воле. В этих водах уже тонул когда-то паром - сотни жизней унесла та катастрофа. И теперь были готовы все - и команда, и пассажиры парома к борьбе за жизнь. Об этом рассказывает один из полицейских, это знакомый матроса. Нет, нет, люди не погибли, люди сели в шлюпку. Почему в одну? Был сильный крен, объясняет матрос, пассажиров было мало, они поместились в эту единственную шлюпку, которую успели спустить на воду. Набилась полная шлюпка. Их ждут. А эти под простынями? Их выло-

вили катера, они не утонули, потому что были в нагрудниках. Но они мертвы. Слишком холодной была вода. Вас по очереди подводят к ним. Открывают простыни. Это не умиrotворенные лица мертвецов. Ужас сковал их черты. Последние длящиеся крики отчаяния скривили рты. Ты не хочешь вглядываться в лица. Ты понимаешь, что тебя не случайно избрали из толпы. Ты должен кого-то опознать. А вдруг - это она. Ведь сон твой был в то время, когда тонул паром, когда крики отчаяния носились над морем. Тебе подавался сигнал. Ты должен был сразу же осознать, что грозит ей. Она не раз спасала тебя в жизни, а ты единственный раз не смог ничего сделать, когда пришел твой черед.

И вот полицейский с силой тянет тебя за руку. Открывается одна простыня за другой. Смотри внимательно, говорит матрос. Нет, это все мужчины, большинство из них почти старики. Перед одним из них тебя останавливают. Он моложе всех. Ты невольно вздрагиваешь. Это же твое лицо. Черты, искривленные ужасом. Лежащий похож на ту фотографию, где запечатлен ты играющий в регби за институтскую команду. До сих пор в тебе живет та боль, которую пришлось преодолеть, у тебя было сломано ребро, но заметить тебя было нечем. Там на фотографии у тебя также оскален рот, ты приготовился принять удар на себя.

Кто он, лежащий здесь на пирсе, кто он - это допытываются у тебя. Наме. Имя, фамилия. Брудер? Брат. Да, соглашаешься ты. Теперь надо заплакать, закричать. Но все сковало внутри. Ты отчетливо произносишь свою фамилию. Полицейский что-то записывает в блокнот. К тебе подскочил фоторепортер. Матрос заслоняет тебя, он видит, что тебе это неприятно. Он думает, что тебе надо сейчас попытаться пережить несчастье. А тебе надо просто скрыться. Ты смотришь на запястье матроса. Потом тебе

в глаза бросаются руки погибшего. Синие раздробленные пальцы. Такие же и у остальных.

Есть ли предел жестокости людей? Как теперь им жить, спасшимся на шлюпке. Как быть тебе, уже вычеркнутому из сонма обитателей земных. Необходимо сесть на паром. Но говорят - паромов не будет, пока не обнаружат и не приведут в порт шлюпку с «Вестфалии». Люди на пирсе не расходятся. Там, в шлюпке, их родные, их друзья.

Общая усталость овладела людьми. Рассаживаются на взгорье перед портом, полудремлиют, уткнув головы в ладони. Никто уже не хочет обсуждать событие. Томительное ожидание не приносит ничего. Катера бесполезно обшаривают район гибели парома.

Ты уходишь от толпы, идешь вдоль берега залива. Солнце бликами отражается на спокойной воде. К полудню прогревается и море, и окрестный берег. Шлюпка еще не скоро придет, догадываешься ты. Они, спасшиеся, сейчас, наверное, скрываются в одном из фиордов. Они хотели бы войти в порт, когда сгустится мгла вечера, хотели бы пристать в темноте, чтобы никому не смотреть в глаза. Ты тоже спасшийся, но ты затаился, ты хочешь перехитрить судьбу. Но ты уже понял, что не можешь управлять ею. Те, кто спаслись в шлюпке, выжили за счет жизни тех, кто лежит под простынями на пирсе. Прежде чем погибнуть, они цеплялись за шлюпку, они вопили, они просили помощи, а получали веслами по рукам. Шлюпка была переполнена, люди могли спастись, только оттолкнув тех, кто рвался в нее. А ты бы смог так поступить. Бить веслом по судорожно сжатым пальцам, видеть, как захлебываются в воде твои спутники по парому, мог бы? Чем ты лучше тех, которые спаслись. Они ждут темноты. Ты же решил ничего не ждать. Захотел тихо уйти. Не для этого ты спасен. Не для этого в завтрашних газетах среди погибших будет указано твое имя.

Потом, может быть, хватятся, уточнят, но важно это первое сообщение. Его прочтут твои бывшие коллеги, они успокоятся и будут уверены, что опасность миновала, что зло не всегда наказуемо. Никто уже не будет знать номера их счетов, они переждут и начнут сначала. Найдут такого же чудака, как и ты, будут кричать о благе народа. Зло всегда прикрывается добром. И как различить их - добро и зло. В тени дерева погибают травы, животных закалывают, чтобы усладить других животных, вставших на две ноги. Смерть одного во благо другого. Без зла не узнаешь, что же это такое - добро. Ты можешь сделать доброе для себя, ты можешь стать обладателем больших денег и особняка на Канарах - но для других тогда, кем ты будешь для других? Ты никогда не сможешь вернуться и посмотреть им в глаза. Твой крик о помощи был услышан, и ты не имеешь права делать вид, что спасен случайно. У тебя достаточно денег, чтобы взять обратный билет.

Ты отлично понимаешь все это. Идешь через толпу к кассам. Собираешь весь запас английских слов. Кассирша удивлена. Она говорит очень медленно, выделяя каждое слово. Разве вы не будете хоронить брата? Ты пытаешься объяснить - это не мой брат. Братья, все братья, - говорит кассирша, - она явно не поняла тебя или не хочет понимать. Ты опять повторяешь название того порта, куда обязан вернуться. Кассирша показывает пальцем на противоположную стену. Там на многих языках и даже на твоём родном - яркими светящимися буквами: «Обратных билетов кассы не выдают». Ты стоишь и смотришь на нелепую надпись, оглушенный плотной тишиной.

И в это время раздаются крики на пирсе - это патрульные катера ведут на буксире шлюпку, переполненную теми, кто спасся. Ты не понимаешь слов, но явно чувствуешь в них и радость и ненависть одновременно...

## **ВИСБЮ**

*Замерли в вечерней дымке башни соборов и крепостные стены. Сгустились тени, стали темными кроны деревьев. Ганзейский остров незаметно плывет в молочной воде моря. Пальцы тишины нежно прикасаются к побережью. Свет из комнаты вырывается наружу и соединяется с желтым мерцанием фонарей, бегущих по взгорью. В тишине слышно, как овцы топчутся в загонах. Они готовы безропотно встретить свою участь. На улицах застыли их молчаливые каменные изваяния. Давно заснули все пастухи Готланда. Некому оповестить о рождении Мессии. Выключаю свет, чтобы не тревожить засыпающее побережье. Приказываю себе: ни о чем не вспоминать. Жить сегодня и сейчас.*

*Ночью в темном пространстве, очерченном рамой окна, повисает светящийся остров. Это паром из далекой страны. Сияние его огней наталкивается на силуэт Собора. Освященный белый камень стен проступил в ночи, и в отсветах огней блеснули золотом узкие шпилы. Распахиваешь окно, и морской воздух врывается в комнату. Собор торжественно плывет навстречу парому. Каменные своды кажутся легкими и воздушными. Он весь устремлен ввысь, слова повторяемых стократно молитв стекают на острия шпилей, и эти небесные антенны направляют мольбы в небо. Моля о спасении и прощении, научимся ли прощать? В компьютере легко стереть прошлое, нажав «delete», но как заставить его смолкнуть в своей душе. Едкий освенцимский дым стелется над морем. Все красивые слова теряют смысл. Чем оправдана твоя жизнь? Где хранится пароль к твоим нераскрытым файлам? Бессонница не приносит ответов.*

*Утром пелена молочного тумана окутывает остров. Мир погружается в белое безмолвие. Жестяной петух на острие соборного шпиля один царствует над белизной. Он обречен на молчание. Гуси, спасшие Рим, спрятались в камышах. Дозорные давно покинули сторожевые башни. Надписи викингов на каменных плитах — руны — витиеваты и не поддаются расшифровке. Одна из немногих прочитанных гласит: я здесь жил. Короче не скажешь. В рассеивающемся тумане начинают прорисовываться красные островерхие крыши. В Соборе звонят колокола. День возвращается на остров, в ганзейский город Висбю, чтобы в который раз призвать тебя к ответу.*

## КАПКАН ДЛЯ ЗУЯ

Бывший штурман тралфлота с редким именем Савва, жаждавший стать писателем, в течение многих лет самым неожиданным образом врывается в мою жизнь. Он считал меня своим другом и мог осчастливить своим появлением в любое время суток. Я давно уже перестал предлагать свои рассказы для издания, он же был уверен, что я совершаю непоправимую глупость, и что признание приходит к тем, кто его хочет. Он упрекал меня в том, что я так и не выбрал главного направления в жизни и, словно Буриданов осел, плетусь между двумя клоками сена и не вкушаю ни от одного из них. Сам же он вкушал от многих... Кем только он не был! И юристом, и мореходом, и шкипером какой-то баржи в затоне, и инженером по технике безопасности и даже штатным лектором в обществе «Знание». Он хотел прижизненной славы и любил женщин. Он метался по стране. И в то же время он был настоящим семь-

янином, у него была суровая работающая жена и двое детей, которых он никогда не забывал во время своих скитаний в морях и по стране, и в самых, казалось, безвыходных положениях старался обеспечить их существование. Ему уже было сорок, и пора было успокоиться, но заведенный однажды мотор честолюбия вращался в нем все с большей скоростью и не давал стоять на одном месте. Его дочка твердо верила, что у отца есть пропеллер, который он, как и Карлсон, надевает на спину, чтобы умчаться среди ночи неведомо куда.

И внешне он был похож на Карлсона. Шустрый толстяк, с короткими, покрытыми рыжими волосами, руками и очень короткими толстыми пальцами, он и минуты не мог усидеть спокойно. Когда он вскакивал, то между белыми подтяжками выкатывался круглый живот и вздрагивал, словно в нем был заключен пыхтящий движок. Рыжая короткая бородка при отсутствии усов делала его круглое лицо еще более круглым. Все остальное заявляло о морском положении. В зубах трубка, изображающая чертика, на плечах куртка с шевронами и лычками. Лычки соответствуют званию капитана рыболовного траулера. Капитаном он никогда не был. И давно уволенный из тралфлота, с курткой не расставался. В издательствах он появлялся только в ней, уверовав, что морская форма и вид бывалого морехода неотразимо действуют на редактрис и корректорш.

Мы познакомились в тот период, когда бывшего штурмана тралфлота придавливали со всех сторон. Была черная полоса в его жизни, да не одна, а сразу несколько. Сначала его выгнали из института, где он преподавал и даже делал диссертацию. История была связана с женщиной — завкафедрой, полюбившей его, а потом мстящей за свое разочарование. И, наконец, все эти беды с кварта-

рой. Он получил квартиру, как оказалось, незаконно, вне очереди, устроил это благо ему председатель горисполкома, очарованный, по словам Саввы, обещанием воспеть исполкомовскую власть в большом очерке для столичной газеты. Но едва успел Савва вселиться в квартиру, как этого председателя с треском сняли, и в вину ему поставили именно эту квартиру, данную вне очереди. И Савву выселили, не дав даже расставить мебель. В одночасье он остался без жилья и без работы. И с институтских высот ему опять пришлось спуститься на самое дно тралфлота. Он стал шкипером на барже, которая стояла в затоне и служила плавучим складом для всякого ненужного на судах барахла, носить которое невозможно, но и списать нельзя - срок не подошел. Работа была нехитрая, сутки через трое, свободного времени много, и Савва принялся бурно заполнять листы белой бумаги рассказами о своих приключениях.

Когда его впервые привели ко мне в рабочий поселок, где дверь моей неустроенной и холодной квартиры была всегда открыта для пишущих, я обрадовался новому знакомству, и Савва, видя мою заинтересованность, читал рассказы всю ночь. Рассказы были плохими, хотя кое-где проскальзывали и запоминающиеся детали. Савва знал морскую жизнь. Эти-то детали и вселили в меня надежду на будущее Саввы, и я внес свою долю в разжигание костров его амбиций. Впрочем, костры эти не требовали новых дров, они и без меня бушевали с такой силой, словно ежеминутно вплескивались в них канистры бензина. К тому же, казался Савва мне несправедливо отверженным и гонимым, и я предпринял все возможные усилия, чтобы пробить его рассказы сквозь издательские барьеры. Однако, где бы я не начинал речь о достоинствах его текстов, мои пылкие слова натывались на холодное молчание. Меня

даже пытались разуверить в самом Савве. Говорили, будто бы он дал крупную взятку горисполкомовскому начальнику, и купюры были мечены, потому-то и удалось свалить этого непотопляемого босса. Выводы эти делали потому, что видели, как Савва выходил из здания гэбэшников. Я отвергал эти наветы. Что же, получается, Савва сам себя на улицу выселил! Зачем ему нужна такая хитрая игра с мечеными купюрами? Было и еще одно обстоятельство, раздражавшее меня, - мои друзья не хотели знать Савву. «Где ты отыскал этого нахалюгу?- говорили они. - Да он же типичный самонадеянный авантюрист!» Я объяснял друзьям: «Да, у него много самоуверенности. Но человек, вступивший на стезю творчества, должен быть уверен в себе, иначе не стоит и писать». Правда, в этом я соглашался с друзьями, самоуверенность эту нельзя выпячивать. Время все расставит по своим местам. Об этом я не раз говорил и Савве. Но он и слушать меня не хотел. Ему не нужна была посмертная слава, он жаждал немедленного признания.

- Почему?! - возмущался он. - Почему печатают всякую ерунду! У меня же не хуже!

- Но и не лучше, - охлаждал я его пыл.

- Но почему одни должны хватать все, а другие питаться объедками с их стола! Ведь мы с тобой заслуживаем большего! Вот увидишь, я добьюсь своего! Моя книга выйдет!

Я пытался объяснить ему, что главное не в публикации, говорил, что цензура все равно изуродует текст, и главное для себя убедиться, что каждое слово стоит только там, где оно должно стоять. Когда я неосторожно похвалил один из его рассказов, он тотчас ухватился за это, он требовал, чтобы я добился включения этого рассказа в сборник молодых литераторов, который готовился в издательстве не без моего участия. Но отношения мои с изда-

тельством были вконец испорчены, и я не только не смог вставить рассказ Саввы, но и мои все рассказы вылетели из этого сборника. Но я и не гнался за публикацией, тем более не рассчитывал ни на какие гонорары. У Саввы было положение хуже. Я помог ему снять комнату недалеко от моего жилья, с трудом мы втиснули туда книги, стол было поставить уже негде. Жена с детьми уехала к своим родителям на Урал. Савва сник и с каждым днем становился все мрачнее и раздражительнее. Стал пить. Несколько раз он приходил ко мне почти в невменяемом состоянии, я отпаивал его крепким чаем и укладывал спать. По утрам он был угрюм и неразговорчив, да и мне было не до бесед, на работу в порту надо было добираться около часа и вставать приходилось рано. У него же теперь и работы постоянной не было. Какой-то скандал произошел на барже. Лишенный работы, отвергнутый местными издателями и писателями, он не выдержал и решил уехать. - На Урал? - спросил я его. - Только не туда! - почти выкрикнул он. И чтобы смягчить расставание, сказал, что ему будет не хватать меня. И еще он обещал обязательно вернуться, но вернуться на белом коне.

Прошло пять лет. Связь наша оборвалась, письма писать нас отучило время, нельзя было доверять листу свои сокровенные мысли. И лишь по слухам, изредка доходящим в наш город, я мог проследить путь неугомонного бывшего штурмана тралфлота. Слухи были разноречивы, их доносили до нас писатели, приезжающие из Москвы. В тамошних издательствах Савва появлялся часто, осел же он где-то в деревне под Рязанью, бросил работу окончательно и писал. Писал в тех же местах, где, как мы потом узнали, сам Солженицын таился. В одном из московских журналов появился саввин рассказ, потом тот же журнал объявил о публикации в следующем году его романа. Название было,

что-то наподобие симоновского «Живые и мертвые». Затем дошли до нас и рассказы о том, что сначала Савва перебрался в Москву и даже стал работать в редакции пригrevшего его журнала, а потом был изгнан из столицы и обнаружился в Мурманске, где он сделал несколько рейсов на промысловых траулерах. И, наконец, он все-таки возвратился к семье, и на Урале, в главном уральском городе, родители жены добились для нее отдельной квартиры, и было похоже на то, что странствия моего штурмана закончены. Потом я получил его книгу, изданную в столице, с дарственной надписью и большим письмом, полным радужных надежд и уверенности в успехе. Он писал, что свора критиков уже подготовлена, что вот-вот о книге появятся статьи и все заговорят о ней, развернутся даже дискуссии, и имя его, Саввы, войдет в обиход самых почитаемых авторов. Савва просил и меня не оставаться в стороне и поддержать эти готовящиеся в Москве дискуссии статьями в нашей местной прессе. Книга мне не понравилась, и писать статей я не стал. И опять я более года ничего о нем не слышал. Нигде никаких статей не появлялось...

И вот однажды, часов в десять вечера, дверь моей квартиры распахнулась, и в нее ввалился мой штурман, сразу заполнив собой все пространство, ибо растолстел он невероятно. Мы обнялись. Говорил Савва беспрестанно, так, что я даже слова не мог вставить. Прибыл он не один. Мой лучший друг поэт Сеня Ваксман, который сопровождал Савву, уселся в кресло и всегда такой словоохотливый, угрюмо молчал. Когда, наконец, образовался перерыв в потоке саввиных слов, ибо он скрылся в ванной, Сеня сказал мне:

- Забери его и больше мне не показывай, он меня в самолете так утомил, что я его выбросил бы, если бы знал, как там люк открывается!

После этих слов он встал, покрутил свой длинный ус и как-то бочком мгновенно выскользнул в дверь.

Потом уже Сеня рассказал мне, что в Москве встретил Савву случайно на улице Горького, что в этот момент у него, Сени, уже был билет на самолет, но отвязаться от Саввы было невозможно, и когда тот узнал, что Сеня летит домой, то тут же загорелся идеей лететь вместе, и в самолете всем забил баки и пил, не переставая. И всем хвастал, какой он большой писатель. И рассказывал, что летит к другу, чтобы помочь ему стать писателем.

Красный и освеженный водой, Савва выскочил из ванной еще более переполненный энергией и жаждой действий.

- Сбежал поэт, невольник чести, сбежал презренный рифмоплет! - крикнул он, заметив отсутствие Сени Ваксмана, и добавил: - Впрочем, пусть зайдет домой к семье, доложится и прибежит сюда. У него телефон есть? Ну, так вот, через часик ему позвоним! Парень любопытный и не без таланта, хотя и инородец!

И Савва так дружески хлопнул меня по плечу, что у меня что-то стрельнуло в позвоночнике, и я хлюпнулся на диван, так и не сказав Савве, что таких вывертов я не терплю. Да и всерьез ли Савва говорит, просто повторяет за всеми, сам не понимая, что означает это слово - инородец...

Пришла моя жена и засуетилась на кухне, пыталась сделать для нас поздний ужин, проснулся сын в соседней комнате, вышел к нам, посмотрел непонимающими сонными глазами и ушел досматривать сны. К сожалению, дома у нас никогда не сохранялось спиртное, так что угостить гостя мне было нечем. Узнав об этом обстоятельстве, Савва изрек:

- Малыш! (теперь он все чаще так называл меня, ибо хотя и были мы одинакового роста, но весил он более цен-

тнера и казался по сравнению со мной огромным) Какая ерунда, малыш! Обойдемся без горячительного! Вот приедешь ко мне, там нагоним, у меня всегда полный холодильник, лучшие французские коньяки, вино на любой вкус! А сейчас бросьте все свои приготовления, я хочу узреть город! Город, который меня отверг. Я хочу увидеть его у своих ног! Деточка, - крикнул он, обращаясь к моей жене, - собирайся, надевай свое лучшее платье, и мы двинем в самый шикарный ресторан города!

- Поздно уже, успокойтесь, - взмолилась моя жена, - да и никуда мы не попадем, пятница сегодня...

- Малыши, вы идете со мной, известным русским писателем, об чем может быть речь! В городе, где я начинал творить, который я описал в своем романе, да мы не найдем места? Я ведь даже швейцара из ресторана «Атлантика» ввел в текст. Помните? Дядю Петю. Жив еще курилка? Надо будет подарить ему мою книгу. Пусть порадует-ся на старости лет!

Увлеченные его энергией и потоком его бодрых слов, мы двинулись из дома в ночь. Конечно же, в ресторане мест не было, у входа стояла толпа жаждущих. Это была обычная для тех лет картина, если учесть, что в городе нашем полно было моряков и всего четыре ресторана. Толпа не смутила Савву, он прошел сквозь нее, выставив живот, и даже сумел протиснуть за собой меня и мою жену.

- Дядя Петя! - закричал он старику швейцару и затарабанил в стекло двери. Швейцар приоткрыл дверь. Конечно, это был не дядя Петя, но очень похожий на него, как похожи друг на друга все швейцары ресторанов - усатые носители галунов, офицеры в отставке. У нашего швейцара, как и у всех них, было непроницаемое лицо человека облеченного властью.

— Старик, ты меня не узнаешь? Меня, русского писателя? - продолжал Савва, пытаясь протиснуть свой живот в узкую щель приоткрытой двери. И тут мы даже не заметили, как моя жена уже проникла внутрь. И вот она уже оттуда изнутри из-за спины швейцара делала нам какие-то знаки.

- Распорядись там! - бушевал Савва. - Позови администратора!

На его крики никто не обращал внимания. Ловко всунутая моей женой в ладонь швейцара купюра оказалась эффективнее любых слов. Дверь на мгновение приоткрылась пошире, и мы очутились среди тепла, яркого света и клубов табачного дыма, оставив позади жаждущих проникнуть в это райское заведение. И вот уже администраторша плыла нам навстречу, это была моя давняя знакомая, но мы не подавали вида, что знаем друг друга. Виляя широкими бедрами, она приветливо улыбалась, а Савва крутился вокруг нее, все время уменьшая орбиту. Она понимала, что он мой важный гость, и не сразу, но все же осознала из его слов, что он знаменитый писатель из Москвы.

Места в ресторанном зале отсутствовали, и для нас специально принесли столик, поставив его в центре, прямо напротив оркестра. Этого мало, столик тотчас был застелен белоснежной скатертью и уставлен батареей вин и различной снедью. Но и это было еще не все. Администраторша проявила свое гостеприимство поистине царским жестом. Она привела к нам девуцу по имени Ира, у нее были осиная талия и большие овечьи глаза. И посадила ее за столик четвертой, понимая, что большой писатель не должен быть за столом третьим лишним. Жена моя была крайне удивлена. Но еще большее удивление охватило ее, когда оркестр объявил, что очередная песня исполняется в честь нашего гостя - великого русского писателя. Мы

выпили за оркестр, потом за наших дам. И все завертелось в обычном ресторанном ритме. Девица, которую подсадили для Саввы, оказалась не штатной проституткой, а продавщицей из комиссионного магазина. Она ничего не смыслила в литературе, но умела ловко плясать твист и заразительно хохотать в конце рассказываемых анекдотов.

Через час все перемешалось, и события потеряли всякую логичность. Савва отплясывал с моей женой, я с Ирой, потом к нашему столику присоединились какие-то штурмана из Ленинградского пароходства, потом они увели за свой стол Савву, потом какой-то кавказец увел Иру, но вернулся. Потом объявился местный знаменитый художник, готовый тут же, прямо на скатерти рисовать портрет великого писателя. Поздно ночью мы выходили из ресторана, окруженные толпой почитателей, обменивались на ходу адресами и клялись в вечной дружбе. И судя по всему, завтра утром к нам могли нагрянуть сразу человек двадцать, ибо всех мы приглашали и ко всем были преисполнены великой любви. И в этой толпе мы потеряли нашу Иру, которая скользнула в машину кавказца и исчезла во тьме. А Савва, поняв, что подарок администраторши попал в чужие руки, помрачнел и весь обратный путь говорил о том, что все лучшее в нашей стране достается инородцам и что не только все издательства в их руках и все критики ими куплены, но и все девицы заранее ими оплачены. Я стал переубеждать его, я говорил, что вот же, издан его роман и другие романы будут изданы... Он заснул в такси, и когда мы доехали домой, нам с женой пришлось выволакивать из машины его грузное тело...

Едва забрезжил рассвет за окном, как я был разбужен моим неугомонным штурманом. Осторожно, чтобы не разбудить жену, я выскользнул из постели, и мы сели пить чай на кухне. Савва уже побрился, умылся, и на лице его

не было никаких следов вчерашнего загула. Он предложил сейчас же прямо рвануть к морю. Я долго отнекивался. У меня были свои планы на эту субботу. Но под его напором, в конце концов, пришлось сдаться. Мы вышли на безлюдную улицу нашего рабочего поселка, ни в одном доме еще не светилось ни одно окно. Порывистый апрельский ветер дул с побережья. Было сумрачно и прохладно. Мы с трудом отыскивали такси, возвращавшееся в парк после ночной смены, и влезли в него, как в обетованный ковчег, чтобы отогреться в тепле и на колесах продолжить наш путь. Но уставший за ночь шофер ни за какие деньги не соглашался везти нас на взморье. Он и остановил-то машину, полагая, что нам в центр города, что будет ему по пути в парк лишний трояк. С трудом мы упросили его подбросить нас в рыбный порт. За это он получил пять рублей, и чтобы сгладить свой отказ от поездки на взморье, достал из-под сиденья большую бутылку вина, такие бутылки дешевого вина называют у нас бомбами, протянул ее нам и сказал: «Похмелитесь, парни!»

Вооруженные этой бутылкой, мы смело прошли через проходную порта мимо мерно посапывающего седоусого милиционера. Первое же судно у первого же причала привлекло нас своим названием «Кашалот», и мы, усмотрев свет в одном из иллюминаторов надстройки, быстро поднялись по трапу и добрались до каюты, где за столом, с сожалением рассматривая пустые стаканы, сидел вахтенный штурман, худой и обросший парень лет двадцати пяти.

- Где вахтенный у трапа? Что за бардак! Непорядок на судне! - вспомнив былое и желая показать свою власть, пророкотал Савва.

Увы, его слова не возымели желанного действия, а напротив, вызвали поток брани у неопохмеленного вахтенного. Лишь вовремя вынутая и поставленная на стол «бом-

ба» с вином сразу всех примирила. Вмиг на столе появилась жирная селедка, а из машины притащился вахтенный моторист, жилистый старик с опухшими глазами. Разбавив вчерашнее возлияние дешевым вином, Савва стал разглагольствовать о своих хождениях в моря и своем романе и, конечно, о том, какой он великий русский писатель. На что вахтенный штурман сказал: «На хрена нам твои книги, ты бы лучше еще пол-литра изобразил! Писать-то дело нехитрое, нынче все пишут. Вон у нас кэп, весь рейс писал, а после рейса в психушку загремел!» Тут и я подлил масла в огонь: «Видно, он правду писал этот кэп!» Савва допил последний стакан и поднялся. Так начался наш субботний день.

А потом была лихая таксистка Нина, она до сих пор, а прошло уже много лет с того дня, останавливает машину, завидя меня, и спрашивает: куда подвезти, и деньги с меня брать ни за что не хочет, потому что помнит, как заплатили мы ей в тот давний день сто рублей, сумма по тем временам значительная, если учесть, что оклад инженера тогда был сто двадцать рублей. И вот за стольник она возила нас по всему взморью, и мы останавливались в курортных городках и рыбацких селах, чтобы подкрепить свой разговор стаканом вина или, если повезет, то и коньяком. И везде продолжал Савва возвещать о своем таланте и писательском взлете. Таксистка Нина уверовала в него. Верили ему и те, кто получал деньги за выпивку, и те, кому мы наливали. Были сомнения только у меня, да и не только сомнения. А Савва все искал в этих рыбацких селах знакомых, искал тех, с кем раньше ходил в моря, искал тех, кто раньше не хотел его признавать, но нам встречались совсем другие люди, и перед этими незнакомыми людьми Савва разыгрывал мистерию под условным названием «Въезд на белом коне».

Потом Нина подогнала такси к приземистому строению без окон и дверей, стоявшему на окраине рыбацкого поселка, и мы очутились в большом просторном и прокуренном амбаре, где с десятков простоволосых пьяных девиц протяжно и тоскливо пели о своей доле. «Выбирайте любую! - сказала Нина, - они честные давалки, не проститутки, денег не берут!» Сказала она это и прилегла на деревянный топчан и тотчас заснула. Девушки обрадовались неожиданным гостям. Выставили на стол пузатую бутылку самогона, разлили по первой, потом, без передыха по второй и стали внимать речам Саввы, стараясь притиснуться к нему поближе. Этим девицам меньше всего были нужны слова о литературе, они давно ничего не читали и читать не собирались. Были они в сильном подпитии, и ни одна из них не вызывала желания остаться. Савве нужны были слушатели и почитатели, и, разбудив нашу лихую таксистку, мы с ветерком домчались до города. Погода испортилась, из-за дождя была плохая видимость, но Нина была ассом своего дела и стрелка спидометра не опускалась ниже восьмидесяти километров.

Дома Савва сразу же бухнулся на диван и захрапел, а я еще долго должен был выслушивать упреки жены, и были они справедливы, хотя и пытался я вяло оправдываться. «Почему мы должны любого впускать в свой дом? - возмущалась жена. - Я уверена, никто твоего Савву даже на порог не пустит, за ним тянется шлейф дурной славы. Он пыжится перед тобой как павлин, распуская хвост, а ты разинул рот и поощряешь этого графомана! Ты даже не хочешь замечать черносотенного душка, который так и прет из него!» Я защищал Савву, как мог, я говорил, что не надо прислушиваться к наветам, что надо помогать людям гонимым, а не тем, кто всего достигли. И тут моя жена разошлась и стала вспоминать все мои грешные дела.

И то, как я дал приют некой беременной девке, которую привел к нам Сеня Ваксман, и то, как у нас жил поэт из Москвы, который все наши запасы чая использовал для изготовления чифирия, и еще она вспомнила об одном кэ-гэбешнике, который влез ко мне в друзья и стащил рукопись одной из моих повестей. «Смотри, - сказала она, - как бы Савва тебя тоже не обчистил! Украдет сюжет и глазом не моргнет... » Я сказал, что все это ерунда, что у него своих сюжетов хоть отбавляй...

Да она и сама в этом смогла убедиться на следующее утро. Проснулся наш гость рано и говорил, не переставая. Он излагал замыслы, канву своих романов, он задумал их целую серию, что-то вроде эпопеи - Отечественная война в романах. Говорил, что давно это назрело. Историческое расстояние имеется. Ветераны пока еще живы, есть кому рассказать, есть кого послушать. И он стал пересказывать нам содержание первой главы первого военного романа... Я, например, если выговорюсь, если расскажу задуманный рассказ, то и писать его не стану, я уже его исполнил и второй раз делать мне это совсем не интересно. Мы же от Саввы узнавали и узнавали все новые рассказы и романы еще не написанные им. Воспринимая наше молчание за одобрение, он поглаживал живот и говорил:

— Хо-хо, мне у вас здесь положительно нравится, вот с месячишко у вас передохну и за дело. За дело, аж руки зудят! Мы, малыш, с тобой покажем, как надо писать, мы им выдадим, хо-хо-хо! Я помню, как ты заступался за меня! Пришел мой час продвинуть тебя в люди! Ваш ответсекретарь Гена Чулукин мой друг, мы идем завтра к нему, я потребую, чтобы тебя немедленно приняли в Союз писателей, хватит тебе скромничать, скромность, как говорится, хорошо, а членство лучше!

Сам он вступил в писательский союз совершенно недавно, его три раза проваливали на Урале, потом дважды на приемной комиссии в Москве, но, в конце концов, Савва добился своего, благодаря заступничеству самого главного секретаря. Он этого и не скрывал, и уже несколько раз рассказывал мне историю своей победы. И то, как специально затеряли его враги документы, и как самый главный секретарь на расширенном секретариате, минуя приемную комиссию, поставил вопрос. И все зашумели, не хотели решать ничего, ссылались на то, что не заготовлены бюллетени, и тогда самый главный секретарь сказал: «Какие на хрен бюллетени, на Урале евреи затирают простого русского парня. Берите бумажки любые, пишите на них его фамилию и бросайте вот в эту шляпу». Лежала там на столе шляпа одного известного критика, она-то и сыграла роль урны для голосования. И Савва был принят единогласно. «Тебя действительно затирали евреи», - спросил я, впервые услышав эту байку. «Конечно, нет, - ответил Савва, - но надо хорошо знать вкусы и пристрастия начальства, малыш!» Я попытался остеречь его, на мой взгляд, нельзя было уж так подыгрывать тем, кто его продвигал. Он возмутился: «Но и чистюлей быть тоже не годится! Сейчас я им подыграю, пусть видят, что свой, а потом они под мою дудку плясать будут!» Савва рвался к писательскому союзу, словно мышь к бесплатному сыру, что ж он достиг своего, но не надо забывать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Капкан могут захлопнуть в любую минуту. Савва не хотел ни о чем слышать.

Он говорил о своих победах, о его признании всеми московскими критиками, он говорил и говорил... Я скрывался в ванной или туалете, чтобы посидеть там спокойно и почитать свежую газету, он подходил к двери и продолжал говорить. Он говорил, когда ел, и что-то бормотал даже во

сне. Мой сын спросил у меня - когда же дядя Савва помолчит. Мне пришлось объяснять сыну, что у дяди Саввы внутри есть пропеллер, который все время вертится, вроде как у Карлсона на спине, только Карлсон при помощи этого пропеллера летает к друзьям и творит добрые дела, а у дяди Саввы вращается при помощи пропеллера язык.

Ответственный секретарь местной писательской организации Геннадий Петрович Чулукин был в день нашей встречи хмур и задерган обкомовскими надзирателями, требующими от него все новых и новых справок. Он заполнял большие листы и никак не мог понять, что же от него хотят. Он тербил свою белую окладистую бороду, выпивал сто грамм, но и это не просветляло его мозг. Чулукин считался поэтом, и его раздражали казенные бумаги, не требующие рифм. Ведь известно, что у поэтов мысль вторична и рождается в зависимости от слова, которое требуется зарифмовать. А здесь надо было что-то выдумывать без привязки к определенному слову...

- Привет, Гена, привет, кормилец, - кинулся к нему с объятиями Савва. И они трижды облобызались и потерлись бородами. После чего Чулукин близоруко прищурился, отошел, посмотрел на Савву и видимо его не узнал. Произошла заминка.

- Это же Савва, - пояснил я, - помните, он жил в нашем городе, ходил штурманом с рыбаками, написал повесть, уехал от нас и стал писателем...

- Хо-хо, ну что ты разъясняешь, малыш, - загудел Савва, - мы же виделись в Москве на съезде, я тогда стоял с Леоновым, с патриархом нашим...

И надвинувшись на Чулукина животом и прижав к столу, Савва стал говорить и говорил около получаса. Наконец Чулукин не выдержал, и, заикаясь и тряся своей белой бородой, спросил:

- Простите, но что же вам от меня надо, у меня же отчеты, чтоб их коза забодала!

- Отчеты, хо-хо, - подхватил Савва, - ты должен прочесть мой роман, там есть бухгалтер, у него разболелся геморрой, а тут ночь, надо сидеть за отчетом, хо-хо-хо, так он сидит в тазу с холодной водой и делает отчеты!

- Какой роман? Я уже давно не читаю романов! И кто в наше время может найти столько дозволенных слов, чтобы написать роман! Не смешите меня! - отмахнулся Чулукин.

- Старик, роман сейчас в наборе, как только выйдет, я тебе пришлю обязательно, первому пришлю и с автографом, как лучшему другу и учителю нашему!

- Короче, парни, чего вы хотите, - взмолился Чулукин.

- Слушай, старик, ты должен мне дать пару выступлений, надо же оправдать дорогу, ведь я фактически прилетел из Москвы, чтобы увидеть тебя и малыша. Неплохо было, если дал бы команду в газету - пусть публикуют мои очень необходимые нашему читателю рассказы, но только деньги вперед! Давай, старик, подсуетись!

Но старик Чулукин не подсуетился, лицо его сделалось непроницаемым, взгляд близоруких глаз отстраненным, он и знать ничего не хотел...

Когда мы вышли из писательского логова, холодно распрощавшись, Савва сказал с возмущением:

- Ну и бюрократ! Развели в провинции бюрократов, посеяли по всей стране. И друзья наши переходят в стан бюрократов. А если бы ты видел, как он крутился вокруг меня в Москве, когда я стоял с Леоновым, как вился он около нас... Ты понял, что с такими людьми нам не по пути. Я не стал просить за тебя, потому что сразу понял - тебя надо выводить прямо на моего друга - самого главного секретаря!

- Но меня ведь не затирают инородцы, - съязвил я.
- Ничего, - сказал Савва, - доверься мне, я найду выход, Леонова подключу.
- Вот этого прошу не делать, - сказал я.
- Ну и дурак, от благ и денег только дураки отказываются!

В тот день мы едва не поругались, а на следующий день Савва затосковал, он возжелал женщину, и сразу стал похож на всех заезжих московских писателей, посещавших нас и жаждущих порезвиться на воле, где полно простушек, обмирающих от писательского слова. «Малыш, - толковал непрестанно Савва, - найди мне женщину!» Я не откликался. «Неужели у тебя нет здесь надежных кадров? - вопрошал Савва. - Столько живешь здесь, пора иметь гарем, чтобы можно было друга всегда угостить! Вот придешь ко мне, я тебе устрою таких, первый класс, пальчики оближешь!» Чувствуя мою непробиваемость, он побрел на кухню и стал приставать к моей жене: «Кровь застывает, подругу бы пригласила, что ли, э-хе-хе! Есть ведь подруги? Не томи. На стенку впору лезть!» Жена его просьбы холодно игнорировала. Она вообще была настроена к нему враждебно.

Избавление пришло к нам в лице продавщицы комиссионного магазина Ирочки. Мы встретили ее случайно на улице. И она так искренне обрадовалась встрече, и так хохотала, что Савва сразу простил ей побег на такси из ресторана. И в этот вечер Савва покинул наш дом. И жена моя наполнилась радостью, и мы долго стояли, обняв друг друга на кухне и наслаждаясь тишиной. Но рано мы праздновали победу. Через два дня Савва вновь появился в нашем доме, правда, не таким бурным и говорливым. К тому же мы получили еще сутки передышки, ибо он провалился в сон, и лишь изредка оглашал комнату прерывистым храпом.

А на следующий день ко всем его рассказам прибавились воспоминания об Ирочке:

- Ну, малыш, я тебе доложу, вот это класс, у меня такой давно не было! Это мастерица!

Восторгам его не было предела, он даже сочинил какой-то стих, посвященный своей пассии.

- Да, малыш, - говорил он, закончив чтение стихов еще более бездарных, чем его проза, - это был сказочный сон! Знаешь, я тебе ее дарю! Это будет мой лучший подарок другу! И не вздумай отказываться! Что, девке пропадать, что ли?

Наконец настал тот день, когда мы наскребли ему денег на билет, дали десятку в дорогу, и, проводив его на вокзал, вздохнули с женой разом и облегченно. После его отъезда мы еще долго привыкали к той необычной тишине, которая воцарилась в нашем доме, теперь мы стали слышать, как поют за окном по утрам птицы, а если кран на кухне был не плотно закрыт, то мы слышали, как равномерно падают капли, разбиваясь о фаянс раковины.

После этого приезда Савва стал писать мне длинные письма, на которые я не всегда отвечал. Но ему нужно было перед кем-то излить душу, необходимо было утвердиться в этом мире. Он писал о том, что почти все издательства готовы на корню купить его романы, что в Москве у него идет главная книга, и еще в каждом письме он настойчиво звал к себе в гости. Но я не был вольным художником и единственный отпуск тратить на поездку к Савве был не намерен.

Однако события сложились так, что встреча наша состоялась. В один из отпусков, когда я попал в Москву, в редакции одного из журналов мне сказали, что в ЦК ВЛКСМ, то бишь в главном логове тогдашнего комсомола, меня ждет командировка на Урал. Ждала меня эта ко-

мандировка, потому что Савва приложил к ней руку, это была его затея. Не отказываться же было мне от бесплатного видения новых мест!

И вот самолет, сделав круг над ночной столицей Урала, приземлился, и я попал в объятия еще более растолстевшего Саввы, который встретил меня прямо у трапа...

Передо мною впервые предстал промышленный Урал, правда, я уже был на Урале в своем детстве, был в эвакуации, но это были совсем другие места - обитель царских ссылок - глухая Чердынь, река Колва, сжатая гористыми берегами, нестерпимые морозы зимой, круги замороженного молока на базаре, голод. Но зато какой там был чистый воздух - изумительный, полный озона. Теперь же я попал на совершенно иной Урал. Город был окружен заводами, земля повсюду была каменистой, на скалах блестели вкрапления железняка и зеленые проблески малахита. В центре города был сад камней, глыбы их, разбросанные по широкому безжизненному пространству, пробуждали воспоминания о сказах Бажова и царстве бесценных руд, камней и малахита. Но в сказах все было так роскошно и изумительно, а здесь возникал передо мною совсем иной мир. Меня поразили отсутствие зелени и воды. Не считать же водой то, что я увидел в реке, которая проносила в своих берегах через весь город мутную и густую массу.

Туго с водой было и в том поселке, где жил Савва. Чтобы испить чаю, приходилось сперва сходить за колодезной водой. Колодец находился в получасе ходьбы от дома. Из кранов же бежала ржавая желтоватая вода и после того, как ты вымылся под душем, казалось, все тело покрывалось коркой.

Наверное, все это мне было дано познать, чтобы убедиться, насколько лучше я живу на самом западе страны.

И хотя у нас тоже вода, с точки зрения европейца, ужасная, но все же мне не нужно ходить к колодцу. И у нас есть море - пока еще оно не столь загрязнено, как здешние реки. И чего же мы тогда у себя в далеком городе К. ноем? Нам надо брать пример с Саввы! Он здесь в этом гиблом месте и то не унывает, прижился, достиг успеха! Так думалось мне поначалу...

Итак, я стал его гостем, я вошел к нему в дом. Почти не изменилась жена Саввы, она была такая же стройная, как и прежде, только глаза заметно потускнели, и голос стал грубее. Она нигде не работала и на мой вопрос почему, ответила, что едва успевает за день перепечатать все то, что за прошлый день сотворил Савва, к тому же он рассылает тексты сразу в несколько журналов и издательств, и приходится каждую рукопись перепечатывать раз пять, не меньше, берут ведь только первые экземпляры. К тому же, на ней были дети: дочка Светочка, очень аккуратная молчаливая девочка, любящая рисовать, и вдумчивый и очень рассудительный сын Коля, окончивший школу в прошлом году. Коля никуда не стал поступать, а пошел на завод и единственный в семье имел постоянный заработок. Ожидаемой мной роскоши я не увидел, преуспеваемом и не пахло в этом доме. Такая же, как и у меня, двухкомнатная квартира была заполнена книгами, даже в туалете на двух полках стояли книги. На каждой из книжных полок можно было обнаружить только что выпущенную на Урале книгу Саввы. А книга, изданная в Москве, была в единственном экземпляре, зато она была помещена, как икона, в углу и ее окружали причудливые раковины и кораллы. Спальня служила Савве одновременно и кабинетом, в другой комнате спали дети. Я почувствовал, что стесняю всех, и заговорил о гостинице. Савва и слушать меня не хотел. У него были совсем другие планы, в которых, как потом я

понял, мне была отведена роль троянского коня. Правда, мой приезд получился не совсем кстати по времени, ибо Савва готовился к поездке в Москву и спешно заканчивал переделку очередного романа, писал он везде, где мог, даже в автобусе, он мог писать и одновременно говорить - и эта его способность поражала меня. Для меня - сочинительство всегда остается таинством, мне нужна тишина и отрешенность от всего, и даже, если жена спит в комнате, где я ночью пишу, у меня ничего толком не получится, потому что я все время буду думать о том, что ей мешает спать свет настольной лампы и не смогу сосредоточиться. У меня и Саввы принципиально разные взгляды на творчество. Я могу годами возиться с одним рассказом, он считает, что надо успеть написать как можно больше, он уже распределил свои сочинения по томам, я не понимаю, где можно найти столько слов, чтобы они проскочили через сито цензуры. «Вот так и загнешься, никому неизвестным со своими принципами!» - осуждает меня Савва. Из его писем я знаю, что здесь, на Урале, его очень чтят и даже в краеведческом музее есть его фотография - что ж, каждому свое...

На следующий день после приезда он решил ознакомить меня с местным писательским миром и засел за телефон. Разговоры проходили примерно так:

- Старик, привет! Мы должны с тобой пообщаться сегодня! Ко мне приехал друг из Москвы, очень талантливый писатель, хочу вас познакомить, обогатите, так сказать, общением друг друга. Значит, во сколько? Что? Занят. Не можешь. Ну, понимаю, работаешь. Работа прежде всего, это правильно. А как насчет того, чтобы одолжиться у тебя, еду в Москву с моим другом. Он мог бы и за тебя там словцо закинуть! Что? Тоже на мели. Сочувствую. Ну, давай, дерзай старик!

Получив повсюду отказ, Савва ни на минуту не расстроился, главная его идея еще ждала своего овеществления.

- Малыш! - сказал он. - Я хотел их, скобарей, осчастливить твоим визитом, когда ты еще будешь здесь, когда еще они увидят настоящего стилиста! Но, как ты скоро убедишься, все сидят по своим норам. А меня они страшно боятся. Я ведь дверь в обком ногой открываю. Роман сейчас заканчиваю о рабочем классе, первый секретарь читал рукопись - в диком восторге. Вот закончу, поставлю последнюю точку - и роману открыта зеленая улица. У всех от зависти губы отвисли, кусок хлеба, можно сказать, у них изо рта вырываю! Так вот, сегодня объявляю сухой закон, а завтра в обком! Сделаем так, вот тебе трубка, я набираю номер, повторяй за мной: ты писатель из Москвы, хотел бы встретиться...

Я повторил то, что мне было сказано, и услышал в ответ, что меня ждут завтра в пять вечера.

Я спросил, с кем я разговаривал. Савва ответил, что это был второй секретарь обкома Иван Романович.

- Ты у меня дошутишься, - сказал я, - завтра же беру билет на самолет! Я у себя-то с этими троглодитами не общаюсь!

- А как ты отчитаешься по командировке, тебе же надо отписаться! - резонно осадил меня Савва и продолжил: - Так вот, завтра ты только молчи, сиди и молчи, я все сам устрою...

Итак, пришлось на следующий день прошествовать в огромное здание, над которым вился красный флаг, в самое логово тех, кто над нами топтался. Миловидная секретарша была уведомлена, и нас провели в просторный кабинет, где к длинному столу примыкал маленький столик, и из-за этого столика поднялся облеченный властью

лысый и усталый человек и протянул мне руку, но первым перехватил эту руку Савва и сказал:

- Вот, Иван Романович, я так сказать, привел к вам своего друга, большого писателя, зная то, что вы к литературе относитесь особенно нежно...

- Присаживайтесь, - сказал мрачно хозяин кабинета.

- Покажи ему командировку, - шепнул мне Савва.

Я протянул листок с красной полосой посередине - отметиной всесильного ЦК, пусть молодежного, но все же ЦК, и лицо Ивана Романовича расплылось в улыбке.

А Савва уже разошелся, говорил быстро, захлебываясь словами:

- Мой друг приехал, так сказать, в поисках темы, в поисках героев, о рабочем классе все его произведения, и здесь, на Урале, его, конечно, многое интересует. И не только дела рабочего класса! Но и продовольственная программа, он наслышан о наших птицеводческих совхозах, слава о них и до Москвы дошла! Мой друг автор нескольких повестей, довольно известных...

Иван Романович наморщил лоб, видимо, пытаюсь вспомнить эти известные повести. И я решил несколько упростить его задачу:

- Впрочем, какие известные, я еще только начинаю, две повести в журналах...

И тут я почувствовал сильный толчок ногой, и увидел, как Савва глазами, мимикой пытается дать мне знак, чтобы я замолчал, а иначе все испорчу. И он сумел перехватить инициативу в свои руки и продолжил речь о моих достоинствах и излишней скромности. Слова его возымели действие, Иван Романович нажал невидимую нам кнопку, вделанную в край стола, и сначала появилась секретарша, а через минуту кабинет наполнился солидными чиновниками, каждый из которых счел нуж-

ным со мной познакомиться и пожать мне руку и даже сказать несколько лестных слов. Когда все уселись на привычные для них места, Иван Романович голосом, не терпящим возражений, определил для каждого его роль в моем ознакомлении с Уралом и его героями. Одному из присутствующих было поручено устроить меня в лучшую гостиницу города, другому - выделить машину и сопровождающего, третьему - определить мой маршрут и прозвонить по местам следования, чтобы там нас встретили и подготовили нужные материалы, четвертому было дано задание свезти меня к некому Авдюшко в Академию наук, в лабораторию, где занимаются ванадиевыми сплавами, и так далее. В общем, всем нашлась работа, и когда каждому раздали по серьгам, Савва от моего имени поблагодарил за заботу и сказал, что пока гостиница не нужна - друг приехал к нему в гости, и пусть утром машину подадут к его дому в рабочем поселке. И добавил уже с горечью, что живет здесь давно, стал патриотом края, а квартиры обещанной все нет и нет...

И когда все стали расходиться, а Савва прижал в углу чиновника, занимающегося распределением квартир, Иван Романович спросил у меня:

- А этот ваш товарищ, у которого вы остановились, он действительно обладает достаточной информацией, он что, пишет романы?

И тут я понял, что Савву этот босс видит впервые, что о книгах его понятия не имеет, и почувствовал, что лицо мое наливается краской.

И потом, когда черная Волга с молчаливым шофером мчала нас по дорогам Урала, я все продолжал краснеть и чувствовал, что влип в совсем ненужную для меня историю, от которой здорово пахивало хлестаковщиной. А Савва все говорил и говорил, не переставая. Везде пре-

дупрежденные заранее люди встречали нас, объясняли, чем занимаются и какие у них есть рекорды, водили по своим цехам и участкам. И я пытался убедить себя, что ничего зазорного в этом нет, что всех корреспондентов так водят, а писателей тем более, сам я не раз встречал писателей и водил на рыбацкие траулеры, и всегда хотелось показать самое лучшее, и редко кто писал об этом лучше, потому что вокруг была такая безнадюга, что о ней и говорить не хотелось вовсе. А я вполне, как инженер, смогу грамотно описать про ванадиевые сплавы, уж про них я напишу обязательно и опубликую, если цензура не забодает. Но оказалось, что нам не до лаборатории ванадиевых сплавов, ибо торопил Савва шофера, чтобы засветло попасть в знаменитый совхоз, снабжающий почти весь Урал птицей и яйцами. Домчались мы туда лихо, и не сбавляли скорости даже тогда, когда петляли в горах. Совхоз был действительно показательный, ибо было что показать. Здесь все было полностью механизировано, тысячи куриц, сжатые в тесных клетушках и лишенные возможности двигаться, набирали вес, транспортеры ритмично подавали им пищу, механически убирались отходы, из кранов равномерно подавалась вода, и яйца собирались и паковались автоматами. И такие длинные многоэтажные фермы тянулись на несколько километров вдоль шоссе. Дома совхозников тоже были двухэтажными, в каждом были и телевизор, и телефон, что для тех лет было вообще необычно. Потолки в чистых столовых были украшены картинами из жизни кур, вдоль бордюров крепилась чеканка - и тоже здесь изображались курицы различных пород. Библиотека в клубе могла поспорить по количеству книг с любой городской библиотекой. Но главной достопримечательностью был сам председатель этого сказочного совхоза. Он был кандидат наук и автор множе-

ства книг, слава богу, не художественных, а тех, где описывался его опыт по выращиванию и убою кур. Он очень любил свое дело. И говорил он с пафосом, говорил бурно и не переставая, так что даже Савва не мог вставить в его словесный поток ни слова. Мы мчались через поля на отдаленные фермы, мы смотрели породистых коров и гладили тугие бока племенных рысаков. Председатель первым выскакивал из машины, в красной куртке похожий на молодого петушка, он совершал несколько длинных прыжков, а мы, едва попевая, бежали за ним. На голове его дрожал рыжий хохолок, очки в черной оправе крепко сидели на мясистом носу, в глазах блестели искры задора. Он был доволен жизнью и своим хозяйством, он хотел передать радость бытия нам. Мы клялись, что приедем еще раз, чтобы посмотреть на сотворенное им чудо. Мы прощались. Савва, стараясь быть как можно непринужденнее, сказал председателю, делясь по-свойски своими заботами: «Куропроизводство на высшем уровне, а в городе туговато, вот приехал гость - большой русский писатель, а кормить его нечем, на стол нечего поставить, что он о нас подумает, об уральцах». Савва рассчитал точно, председатель понял его, и хотя на лице его не было прежнего выражения восторга, он написал какую-то бумажку, сказав при этом, что самые лучшие курочки на ферме в Зайцево, как раз там сегодня забой молодых петушков, и по этой записке все сделают...

Я был готов провалиться сквозь землю, между тем, очевидно, это было в порядке вещей. Шофер знал, где Зайцево, и подтвердил, что там всегда отоваривают высоких гостей, потому что перед нами возил туда космонавтов.

- Заканчиваем операцию под кодовым названием «курочка», - воскликнул Савва и захохотал. Теперь я уразумел, что это была главная цель поездки. С завидным энту-

зиязмом искал Савва заведующую фермой, потом бригадира, потом сам отбирал молодых петушков, торкая в птичьи бока свои короткие пальцы, сам упаковывал яйца, перекладывал стружкой, чтобы не побились в дороге. И все это делалось с восторгом, с истинным наслаждением. Багажник был полон и тогда Савва стал заполнять пространство за сиденьями. Я молча наблюдал его действия. Вытирая пот со лба, он сказал мне:

- Ну что ты надулся, малыш, привыкай, хо-хо-хо, ты же писатель, не мы, так другие, космонавтов нагонят или мидовцев, из органов здесь тоже кормятся. Все жить хотят! А здесь совхоз - миллионер! А теперь вперед - я покажу тебе обкомовскую турбазу, там нас ждут совсем другие курочки, мастерицы высокого класса, только для самых почетных гостей!

Но уже стемнело, и шофер категорически отказался ехать в горы, где была эта турбаза, и стал нас отговаривать, объясняя, что было подряд несколько делегаций и девочки отдыхают.

Привоз большого количества провизии смягчил сердце жены Саввы, и она выдала ему из своих сокровенных запасов деньги на билет в Москву, и таким образом продлила наше общение, от которого я порядком уже устал.

В Москву Савва собрался, напихав большой рюкзак рукописями. Я помогал надевать ему этот рюкзак на плечи, он был почти неподъемен. Он не влез в камеру-автомат для хранения багажа, куда мы пытались его всунуть, чтобы налегке начать наш путь по столице. «Ничего, - сказал Савва, - сейчас поедem сразу в издательство и я половину рукописей там распахую!» В переполненном автобусе мы доехали до огромного здания, где располагалось сразу несколько издательств. Я остался ждать Савву внизу. Через полчаса он появился, волоча по полу рюкзак и

держа в руках объемистый пакет. Оказалось, что ничего у него не взяли, а возвратили давний роман, посланный по почте. Впервые я увидел растерянность на его лице. Даже глаза у него повлажнели. Пришлось взять его в некий совет ветеранов, где он должен был остановиться и где его опекали генералы в отставке, о подвигах которых он и сочинил последний роман. Мы долго колесили на такси по грязным и узким переулкам, пока нашли подвал, в котором и заседали ветераны. В подвале было шумно, длинный стол был уставлен батареей бутылок и раскрытыми консервными банками со шпротами. Некоторые банки использовались как пепельницы. К Савве подскочил один из генералов с багровым черепом и начал целовать Савву почти в засос, подражая тогдашнему генсеку. Со всех сторон к Савве потянулись с объятиями. Я понял, что он здесь желанный гость. Несмотря на то, что большинство собравшихся были значительно старше нас, пили они водку стаканами, опрокидывали содержимое в рот одним махом, а выпив, смачно кричали и лишь потом тянулись к закуске. Из сбивчивых разговоров я понял, что Савва пообещал всех их вставить в свой роман о войне, что он уже не первый раз здесь, и даже принят в состав совета ветеранской организации. А позже я узнал, что ему выписали удостоверение участника войны, и он по этому удостоверению раз в год может бесплатно ездить по стране и постоянно бесплатно в городском транспорте. Так мне приоткрылась еще одна ипостась моего штурмана. И оставалось только удивляться, как хорошо он вписывался во всю эту компанию, как здорово пел со всеми. Конечно, большая часть песен была о войне, и особо выделялись песни, где пелось про Сталина, видно мало изверг поубивал, хотелось видеть в нем отца-избавителя. Да и портреты тут повсюду его были развешены. Естественно, палач был в форме ге-

нералиссимуса и со всеми наградами. Я пытался доказать Савве, что мы попали в совершенно чуждую нам среду, что он сам лезет в капкан, он кричал, что я ничего не понимаю в жизни. Это просто этап и его нужно пройти. Через пару часов все так набрались, что пошло повальное братание, а нам надо было определяться, где мы проведем ночь. Я не хотел оставаться в столице, хотя стоило бы сдать командировку и отчитаться по ней, но я решил, что сделаю это все по почте и статью напишу и приложу. У меня еще была возможность уехать вечерним поездом. Но Савва был так пьян, что бросить одного его в Москве я не решился. Мы оставили его рюкзак в ветеранском подвале, выкарабкались на свежий воздух, и тут мой Савва начал падать. Я поднимал его, прислонял к стене, он снова падал. Наконец мне удалось прикрепить его ремнем к водосточной трубе и найти такси. В такси он очнулся и стал требовать, чтобы я отвез его к Дарье. Оказывается, это была боевая санитарка - героиня его романа. Он долго не мог вразумительно промычать адрес. Но бывалый московский таксист все же разобрал его пьяное бормотание. Мы нашли дом Дарьи, а потом, пусть и не без труда, ее квартиру. На звонок наш широко открылась дверь и в проеме ее показалась грудастая женщина в засаленном халате. Дарьюшка, пробормотал Савва и упал на пороге. Вместе с Дарьей мы занесли его в коридор, она все время материлась и сказала, указывая на дощатый топчан: «Клади его сюда, падлу!» Он улегся и сразу захрапел, а я выскочил на свежий воздух и пошел пешком к Белорусскому вокзалу. Стоял светоносный август, кругом блистали огни. Где-то на Суцевской стучали типографские станки. За освещенными окнами, возможно, были кабинеты, в которых сидели редакторы и критики и правили наши рукописи, вытравливая из них правду. Можно было остаться, снять но-

мер в гостинице и попробовать пройтись по журналам и издательствам, но я уже понимал, что все это бесполезно, и не кричало, не билось во мне чеховское: «В Москву!», а напротив, рвался я домой, чтобы принять душ, смыть с себя всю скверну и идти проситься в экипаж рыболовного траулера, подальше от всего этого бедлама.

Я устроился наладчиком на морозильщик и ушел к берегам Африки, полгода я прожил без политики, без газет и без общения с пишущей братией. И вот, когда мы возвращались домой, посадили к нам на борт корреспондента того журнала, где некогда печатался Савва, и все дни перехода мы пили с ним самогон и говорили за жизнь и за всю ее литературную составляющую. И конечно вспомнили Савву. Оказывается, пока я пахал моря, Савва перебрался в столицу, правда, не в саму Москву, а в один из ее пригородов, куда устроили его ветераны, определив ему даже постоянную зарплату при штабе ракетных войск.

Поскрипывали переборки нашего траулера, пахло рыбой и водорослями, с каждым днем становилось все прохладнее, выходить из каюты не хотелось, самогон мы гнали из рыбной муки и бутылки все пополнялись свежаком. На закуску потреблялись рыбные деликатесы - креветки, которых мы тут же в каюте варили в алюминиевом чайнике. Корреспонденту вся эта экзотика нравилась, он был в восторге, на меня же напало какое-то безразличие, и даже рассказы про Савву я слушал вполуха.

Корреспондент говорил о Савве с презрением и в то же время восхищался им:

- Представляешь, этот прохиндей просто гений прохиндейства! Вот конечное порождение нашей системы! Алкаш становится председателем общества трезвости! И этому обществу отводят покои в нашем ЦДЛ, представляешь! Он выписывает себе из Ленинграда профессора Унголова, и

тот учит писателей не употреблять водяру! Да у нас вся литература на водяре держится! Жить в Совдепии и не пить, лучше сразу утопиться! Савва ведь это понимал! Днем он с Унголовым обличал алкоголиков, а по вечерам закатывался ко мне, и мы опустошали за ночь по три бутылки. Таких людей поискать надо! В Союзе писателей в нем сразу увидели спасителя от засилия инородцев. Знаешь ведь теорию Унголова - Русь споили инородцы!

- И Савва в это верил?

- Хрен знает, во что он верил, но так ему было выгодно. Но я тебе скажу, это большой человек и он далеко пойдет! Он чувствует ветер, как старый опытный шкипер!

- Он и есть шкипер, — подтвердил я, — только с курса он сбился!

- Нет, это мы сбились, а он точно знает, чего хочет! Я не удивлюсь - вот возвращусь в Москву, а Савва не только общество трезвости возглавляет, но уже и вместо Бондарева сидит на Комсомольской! Энергии в нем, хоть отбавляй! И вся Лубянка за него!

Я не очень хотел слушать этого корреспондента, вот и Лубянку он приплел для пущей важности, многое в мире литературы основано на выдумках, реалии мы путаем с действительностью, желаемое выдаем за осуществленное. Мы все занимаемся сочинительством. Мы все задыхаемся, потому что некуда стравить распирающую нас энергию. Как в котле - не стравишь пар, произойдет взрыв. В котле есть подрывные клапаны, в жизни их не предусмотрено. И в то же время есть ограничитель - назовем его совестью. Если от него избавиться, то можно жить и под большим давлением, пока не лопнешь. И я нисколько не завидовал Савве, мне просто стало жаль его. Общество трезвости, это же надо такое придумать - рассказать нашим морякам - никто не поверит. Такое можно только сочинить, это не из жизни.

Все дни перехода мы пили и за этой пьянкой не услышали, что страна наша меняет курс и большевики задумали построить общество, называемое «социализм с человеческим лицом», и когда мы сошли непотрезвленные на берег и попали в объятия близких, первое, что я услышал от жены: «Какое счастье, мы дожили! Рухнула империя зла!» Я ничего тогда не понял. И надо было еще несколько дней, чтобы акклиматизироваться на берегу и осознать, что настало желанное время свободы.

Я быстро оформил расчет и навсегда покинул рыбацкий флот, чтобы теперь публиковать все свои рассказы без всяких цензурных рогаток. Было время эйфории и торжества литературы. Главное значение стало иметь слово. И писатели, умеющие рожать и произносить это слово, становились депутатами, вошли в президентский совет и даже возглавили некоторые республики. Я на такие высоты не замахивался. Дана свобода слова - и этого мне достаточно. И какие были потрясающие публикации, как росли тиражи книг и журналов. И мы свой журнал начали выпускать и там печатать все, что раньше нам запрещали. И смешно было - какие мы были идиоты, пытались печататься при тоталитарной системе, соглашались с правкой, лезли в союз писателей. Надо было иметь выдержку, надо было твердо держать свой флаг, не надо было ни на йоту отступать. Вот ведь пришло наше время. И в писательский союз всех ранее отверженных приняли, да не один теперь стал союз, а несколько, так что никаких проблем. А то, что графоманы туда стаями полезли, мы об этом не задумывались. Шли повсюду разоблачения. Обкомы доживали последние дни. Жгли там все тайные бумаги и протоколы и, конечно, доносы. И мне мелкий партийный босс, мой знакомый по флотским плаваниям, несколько доносов принес на память,

какими только словами я там не обличался... Было там и донесение от тайного осведомителя, так в нем не только разоблачения были, но даже хвала мне возносилась. Некий Зуй утверждал, что меня надо только перевоспитать. Выявлялись почти все, кто стучал на нас, все эти подонки ходили, поджав хвост. Зуя я, правда, так и не обнаружил. Были бурные конференции и съезды в Москве, и я туда ездил. Но Савве не звонил. Не до него мне было. Да и был я уверен, что время его прошло и теперь моему штурману ничего не светит. Один раз его имя всплыло на объединительной конференции - была и такая попытка сохранить литфонд. Там, на этой конференции один из известных воителей за свободу, Куранов выступил с предложением опубликовать списки стукачей. Шум стоял в зале невообразимый. Было впечатление, что он раздражил стадо голодных гусей. И больше всех визжал профессор Углонов, который тоже считался писателем, он вылез на трибуну и заявил, что его протест официален и подписан известными писателями, среди этих известных была и фамилия Саввы. Может быть, был и прав профессор. Говорят, каждый третий в писательском союзе был стукачом, такая бы вакханалия началась, мало бы не показалось... И все же, по прошествию лет, сейчас я понимаю, какие мы были мягкотелые и нерешительные, мы были и остались совками, нам дали кусок свободы и мы, привыкшие к подвальному воздуху, захлебывались озоном. И пока мы радовались, вся мразь вышла в люди, большевики поделили деньги и предприятия, правители республик, возжелав стать президентами, расхватили постимперское пространство, каждый схватил свое, и когда опомнились мы, то узрели, что путь к печатному станку нам перекрыт, и теперь уже не цензурой, а теми же большевиками, которые под шумок приватизировали издательства и типогра-

фии и стали там издавать детективы и эротику на радость пролетарским массам. Надвигался на нас рынок, и мы еще не осознали, как это скажется на литературе... Само слово писатель девальвировалось, и впору было опять возвращаться на рыбацкий флот. Но и флот к тому времени распродали ловкие наши начальники: уходили траулеры за границу, чтобы уже никогда не вернуться, сдавали их на металл, или в лучшем случае отправляли в рейсы под чужими флагами...

И тут я получил письмо от Саввы, было оно на четырех страницах, и с каждой страницы рвались его кипучие возгласы и трубный зов к покорению всего литературного пространства. Оказывается, пока мы упивались желанной свободой слова, он не митинговал, но и не дремал. Он стал хозяином большой типографии. Досталась она ему почти даром. Тогда выводили наши войска из всех стран Варшавского пакта и они, эти войска, вернее их генералы продавали направо и налево казенное имущество, которое увезти были не в силах, да и не требовалось оно никому. Посодействовали Савве ветераны, вывели на нужных людей, и вот теперь он никому не кланяется, а уже начал выпуск своего собрания сочинений. Выпустил он и том Каничева, писал о нем восторженно и считал, что вот-вот этот неизвестный мне писатель возглавит все писательские союзы и вычистит из них инородцев. Вот это последнее обстоятельство меня несколько и смутило. Повсюду уже открыто выползала всяческая мразь, свобода слова ведь была для всех без исключения, и появились такие призывы, которые ничем не отличались от бесноватых гитлеровских речей. И опять здесь писатели были впереди всяких люмпенов, стали эти писатели называть себя русофилами и национал-патриотами. Забыв, что русофилы любили свою страну и всех живущих на ее просторах,

эти же новые русофилы объединялись не по принципу любви, а по принципу ненависти, ненависть их и скрепляла, они не знали за кого надо биться, но твердо знали против кого, и опять расцвел махровым цветом антисемитизм. И каким-то шестым чувством ощущал я, что Савва оседлал белого коня национал-патриотизма, но тогда я еще не знал, сколь далеко унесет его этот конь...

В общем, на письмо я не ответил и никаких рукописей своих новоявленному издателю не послал. Сеня Ваксман, который терпеть не мог Савву, попросил у меня его адрес, а на меня обрушился с целой тирадой нравоучений. Стоял сухой июль, было жарко, и мы вкушали пиво в одной из тех многочисленных пивных, которые усеяли наш город. Давно уже все забыли про очереди, про то, как зияли пустотой магазинные полки, про то, как не только пива испить было негде, но и хлеба не всегда можно было купить. И вот Сеня тоже все забыл, Сеня, один из главных ораторов перестройки, теперь стал ее обличителем.

- Вот видишь! - восклицал он, сдувая пену с кружки. - Мы боролись, а такие, как Савва, все захватили! Судьба всех революций - их делают романтики и идеалисты, а плодами пользуются тираны и проходимцы! Приватизировали все, что могли, отдали трубы с нефтью и газом бывшим партийным бонзам и показали нам козью рожу! Надо было резче все делать, надо было отделить овнов от козлиц! В Германии со всеми фашистами расправились, а у нас те, кто расстреливал, те, кто душил свободу, сегодня торжествуют, им и оклады, им и пенсии особые, а нам с тобой кукиш! Вот твой друг Савва захватил типографию, теперь он король! Если бы у тебя была типография, он бы прилетел сюда мгновенно и всунул бы тебе свои рукописи, а ты сама мягкотелость не смог бы ему отказать! И теперь ты кичишься своей чистотой, а ведь это ты поро-

дил Савву, это ты его опекал! Тебе надо срочно ехать в Москву и торчать там, пока он не издаст твою книгу. Твою и мою! И пригрози, если он не станет издавать, то мы взорвем его типографию!

Я стал объяснять ему, что напрасно он ёрничает, что все много серьезнее. Тогда и я не предполагал насколько серьезнее, нигде еще не взрывали дома, но дыхание смерти уже ощущалось. И в далеком псковском крае уже был убит директор издательства, убит киллером, и это слово и то, что такое убийство называют заказным, я тогда услышал впервые. Сеня ни о чем не хотел знать, он хотел издаться. После третьей кружки он смолк. Жара давала себя знать, и даже пиво не помогало. Сению стало клонить в сон, и я оставил его за столом, когда большая почти сократовская голова поэта, украшенная вислыми усами, упала на грудь и засопела. Поэта у нас в городе любили, и я мог быть спокоен, я знал, что никто не потревожит его сон. Возможно, во сне ему удастся переиграть судьбу и переделать реальность...

Лето уже клонилось к своему закату, уже начали желтеть листья на берегах, когда нам с женой несказанно повезло - еще не до конца разворованный литфонд выделил мне две путевки в подмосковный дом творчества, это были последние заезды писателей, дом этот уже сторговали какой-то мафии и уже подсчитывали в союзе писателей барыши от его продажи. Об этом многие знали, но протестовать было бесполезно. У союзов писателей нечем было платить даже за коммунальные услуги. Жаль, конечно. И представить даже трудно писательскую жизнь без домов творчества. Где еще и писать, как не в них. Это вам не дома отдыха и санатории, куда съезжаются поразвлечься. Здесь царит совсем другая атмосфера.

И мы с женой сразу ее почувствовали, приехали мы поздно, но нас любезно покормили ужином, потом мы

расположились в просторной комнате, и даже было дежурной предложено взять ключи еще от одной комнаты на тот случай, если жена захочет отдыхать отдельно, чтобы не мешать творческому процессу. В окно нашей комнаты протягивали ветви березы, был виден луг вдаль, и там все было окрашено малиновым цветом заходящего солнца. На месяц мы обретали рай на земле. У дома, важно вышагивая, прогуливались писатели, мы тоже вышли из комнаты. Почти все были мне знакомы. Старый друг очеркист и в прошлом моряк Дринглев заключил меня в объятия. Подошел один из секретарей нового демократического союза писателей Дима и тоже сказал добрые слова. Мне было лестно, что жена видит воочию, с каким уважением относятся ко мне именитые москвичи. Настроение у меня было прекрасное. Жена пошла в комнату раскладывать вещи, а я еще немного побродил по пустынной улице, наслаждаясь тишиной августовского вечера.

Когда я вернулся в комнату, я увидел, что жена пакует вещи. На лице ее затаилась обида. Я спросил, что случилось, и какая оса залетела сюда, чтобы ее укусить. Она молча взяла меня за руку и повела в коридор, где был вывешен список писателей, находящихся здесь. И я сразу все понял. В списке была фамилия Саввы. «Мы уезжаем сегодня же, в Москве переночуем у моей сестры. Я его видеть не хочу! Он нас здесь заболтает!» - сказала жена категорическим тоном. Я с трудом уговорил ее остаться до утра и не пороть горячку. Во-первых, Саввы нигде не видно, возможно, он уже уехал, во-вторых, будет отдельная комната, в которой она сможет скрыться и совсем не обязательно ей говорить с Саввой или впускать его. Я тоже буду писать, мне не до разговоров. Почему мы должны из-за Саввы отказываться от райского житья.

Но на следующее утро жизнь не показалась мне раем. Мы пришли в столовую, тотчас нас позвал за свой столик Дринглев, он как раз сидел один и ему нужен был собеседник. Принесли завтрак. Было довольно-таки тихо. Многие столики стояли пустыми. И только я поднес ложку ко рту, как меня чуть не опрокинули со стула. Это Савва ворвался в столовую, налег на меня сзади своим животом, и я услышал знакомый победный клич: «Хо- хо- хо!» И слету он заговорил. Он вещал о коммерческих сериях, о выпущенных книгах, о провале всех своих врагов и недоброжелателей. Дринглев взял тарелку и ретировался на соседний столик. Савва занял его место, ему подали бифштекс, и он стал быстро есть, одновременно успевая произносить сотни слов. На нас все оглядывались. Мыс женой, не доев завтрака, поднялись из-за стола. «Я сейчас вас догоню, - кричал нам вслед Савва, - пройдемся по городку, здесь такие потрясные места! Хо-хо-хо - надо познать все прелести ландшафта!»

Мы решили взять ключ от предложенной нам второй комнаты и там скрыться. Жена продолжала настаивать на отъезде. Я категорически возражал. Оставить его здесь, удрать - не слишком ли это будет глупым, все равно, что взять билет и идти пешком назло кондуктору. Жена стала упрекать меня в конформизме. Она говорила, что я хочу издаться у Саввы, в его издательстве.

Не скрою, мысль такая раньше мелькала в моей голове, выход в столице, гонорар, кто от такого откажется. Но я с этой мыслью расстался еще в Москве, где мы зашли в книжный магазин на Арбате, и я увидел изданную Саввой книгу: «Генералиссимус и его генералы» - сбор верноподданнических писем и речей в переплете из кожи. Он был не только издателем, он был составителем. Естественно, после такой книги говорить с Саввой мне было

не о чем. Об этой книге я ничего не сказал жене, которая и без того вскипала благородной яростью.

Хорошо, что она не услышала нашего разговора с Димой, он встретил меня в дежурке, куда я пришел за ключом. Он набросился на меня, как молодой бойцовый петух. Он говорил, что ошибся во мне, что друг Саввы не может быть нормальным человеком. «Да с этим стукачом никто не здоровается в Москве! Это же ярый черносотенец!» Здесь Дима явно перегнул. Савва просто угрожал тому, кто давал ему деньги, кто устроил ему типографию, кто снабжает бумагой. Но я не стал спорить с Димой. Очевидно, жена была права, надо было отсюда уезжать.

В обед это мое решение еще более укрепилось. Когда мы вошли в столовую, а пришли мы с женой с опозданием, чтобы не сидеть за одним столом с Саввой, перед нами открылась такая картина: стоит посередине стол, за ним восседает Савва, а все остальные столы отодвинуты от него. Увидев нас, Савва вскочил, подбежал к нам, схватил мою жену за руку и буквально приволок к себе за стол. Деться нам было некуда. Говорил он теперь так громко, словно не в столовой сидел, а забрался на трибуну. Он говорил о том, что я его настоящий друг, что я никогда не бросал его в беде, что завтра же мы поедем в издательство и дадим команду начать выпуск моих книг. Я отнекивался. Но кто слышал мой голос. Савва заглушал мои слова.

Вечером я понял, что сторонятся не только Саввы, стали сторониться и меня. Писатели молча игнорировали нас.

Ночью Савва пришел ко мне с бутылкой водки. Пить с ним я отказался. Он возмутился и стал произносить гневные тирады. Хорошо, что жена ушла в свою комнату. Я с трудом переносил его голос. Я понимал, что мы мешаем людям спать и вывел своего гостя из комнаты. Он ничего

не понял. Он даже обрадовался: «Хо-хо-хо, как в старые добрые времена выпьем на природе! Золотая осень и два друга встретились, разве это не повод!» Я сказал ему, чтобы он не считал меня своим другом. «Почему? — возмутился Савва. - Это я - не твой друг! Да я всегда спасал тебя. Если бы не я, ты давно сгнил бы в мордовских лагерях!» Я отстранился от него и отвел в сторону руку. Он подумал, что я замахваюсь, и заслонился. Я засмеялся. «Значит, ты и есть Зуй!» - догадался я. «Да, Зуй! А что если бы к тебе прислали другого, ты об этом подумал? Сейчас все хотят быть чистенькими! Ты не испытывал того, что выпало мне! Тебя никогда не выбрасывали на улицу из квартиры!» Значит вот, когда они прихватили его на взятке - или тюрьма или будешь с нами. Это их методы, да, наверное, и не надо было его долго уговаривать. Обо всем этом я подумал, но мне нужно было выяснить не это. Гонимого я готов прощать. И вовсе не раскаиваюсь, что тогда защищал Савву. Но теперь у него было все, и он продолжал гнущся, я сразу понял, что книга о генералиссимусе не его затея, что он отрабатывает за типографию. И все же, какая гнусь. Ведь эту книгу прочтут и те, кто ничего не смыслит, задача ведь растлить их. «Это хуже порнографии! Послушай, - сказал я ему, - как ты мог воспевать кровавого садиста!» Савва завертелся на месте, будто кто-то невидимый раскрутил в нем пружину. «Попробовал бы я не составить эту книгу, я бы уже не стоял рядом с тобой! Это большой бизнес, ты не поймешь!» Я возмутился: «Завтра ты издашь «Майн кампф» - это тоже будет бизнес!» Он сказал: «Я уже готовлю издание, меня торопят... » В голосе его впервые появилась дрожь. «Ну и влип ты, Зуй, - сказал я, - так влип, что и мне тебя не вытащить! Ты сам хотел, чтобы капкан захлопнулся!» Он надолго замолчал, а потом встрепенулся, выхватил бутыл-

ку и зашвырнул ее в кусты. Я развернулся и пошел к дому творчества.

Жена не спала и ждала меня. Она сказала, что ее одолевают дурные предчувствия. Постепенно она вынудила меня рассказать все, что я узнал о Савве. «Что ж, пожинай свои плоды, - съязвила она, - этого монстра вырастил ты, везет же тебе на друзей-антисемитов! Давай поплачь над его судьбой! А он посмеется над тобой, сидящим у разбитого корыта!»

Она была не права, все оказалось много сложнее, говорится ведь: не судите и не судимы будете, нас всех переломала эта жизнь, эти все годы бесправия... Разве думали мы, что наступит иное время, мы были просто не готовы к этому времени. Самое серьезное испытание дано человеку, у которого остаются хотя бы ничтожно малые, но все же остатки совести. Я не знаю, были ли они у моего Саввы, но когда мы возвратились из Подмосковья на свою Балтику, меня ждало печальное известие: Саввы не стало. Он скончался от обширного инфаркта. Его нашли в ванной на его подмосковной даче. Нашли через неделю после смерти. На похороны его почти никто не пришел. Возможно, у него не осталось друзей. Он загнал свое сердце, запутался в сетях, которые ему расставили его надзиратели, но мне хочется верить, что в нем билось, не находя выхода, раскаяние. И тогда в его уходе есть и доля моей вины. И мне вспоминается утро в подмосковном доме творчества, и спина Саввы, который покидал этот дом, отвергнутый всеми, освобождая нас от общей опалы. Спина у него была согнутая, и мне показалось, что она вздрагивает.

## ЖЕРТВА

*Полированное поле отражает огни люстр. Паркетные площадки ждут изящного скольжения. Часы на противоположной стороне стоят. Настало твоё время. Пора провальсировать к славе по светящейся дорожке, нацеленной в центр, где уже победно бьют барабаны и звенят литавры. Очень важно выбрать цвет. Весь в белом на черном поле — верх изящества. зубчатые крепости застыли по углам в ожидании открытых линий. Ряды низкорослых ратников клином вошли в центр. Они ждут твоих приказаний, они преданы тебе и готовы пасть по приказу. Ты же стоишь гордо, возвышаясь над ними. Ты — офицер, поручик или майор - какая разница? Важно - ты белый или черный. Точеная талия, голова с навершием - рыцарский шлем. Тяжелое дыхание над головой. «Не торопись, надо все рассчитать», - подсказываешь ты. «Думает, как стадо слонов», - ворчит неприятельский офицер. Он слишком нетерпелив. Такие гибнут в первую очередь. Наверху не любят выскочек. Впереди на белом коне — чапаевский бред! Если уж пешки - не орешки, то, что говорить об офицерах. Пусть кони скачут сами. Их прыжки порой безумны. Через головы других, норовя съесть всё, что попадет. Знаменитые вилки - простое стечение обстоятельств. Надо знать теорию, сражение можно выиграть заранее, рассчитав всё на много ходов вперед. Вскрыть линии, создать перевес на фланге - и методично его реализовать. И когда погибнут гамбитные ратники, когда падут кони, тогда настанет твоя очередь, твой ход, в который будет вложена вся твоя подготовка, все твои знания, и ты, обнажив кортик, ворвешься в последнее прибежище короля.*

*После этого можно сделать выгодную партию, получить достойный пенсион, надбавки за вредность, доплаты командирские и санаторные, сертификат на квартиру. Лучшие даже купить особняк, квартира в двух уровнях. Блестать на балах и светских раутах. Восхищение дам, маршальский жезл, вынутый из ранца, сладостное торжество победителя, триумфальные арки, любовь самой королевы - всё это ждет тебя. А пока стой спокойно и с достоинством, обозревая поле битвы. Пусть гибнут те, кого жжёт нетерпение. Считай в уме - если он так, то мы — так, здесь всё у нас защищено, всё предусмотрено, наш прорыв на фланге не остановить. И в этом прорыве - ты будешь самой главной фигурой, ты завершишь его, и когда падут почти все ратники, наступит твой черед. И потом об этом сражении напишут во всех учебниках, его будут не раз повторять на демонстрационных досках, в штабах и в академиях...*

*Ладонь, затмившая свет люстр, потянулась к кнопке часов и закрыла почти все пространство. Два пальца другой руки сжали голову офицера и резким рывком пронесли над всей битвой, над мельканием черно-белых полей, над ранеными и убитыми, туда в угол, где застыли вокруг чужого короля фигуры его свиты, и вмиг установили там, где не было спасения. В самую гуцу врагов, кинули незащищенного никем в жертву. Теперь остановились часы, мгновение - вообще не было времени - всё стихло. И предчувствие смерти, ее гнилостное дыхание повисло над доской. Чужие пальцы небрежно скинули с лакированных полей офицера. И последнее, что он услышал — сдавленное рыдание королевы и хохот чужих солдат. И ему уже было не дано увидеть, как на его место прыгнул конь, и не дано было узнать высшую похвалу, заключенную в словах: «Какой восхитительный мат!».*

## ВЫПУСТИВШИЙ ДЖЕКА

Бледный юноша с черными горящими глазами, взлохмаченный, красный и воспаленный, ты всегда перед моими глазами - трезвенник Афэльруд, протирающий запотевшие очки и взмахивающий непомерно длинными руками. Почему при такой поэтической внешности Бог не дал тебе таланта? Но разве ты мог примириться с этой ошибкой? В тебе была нечеловеческая устремленность, которой так не хватало нам! Глупые, мы усмехались, когда ты вытаскивал из кармана смятый, истертый на сгибах листок, где крупным и неровным почерком современный классик рекомендовал тебя в Союз писателей. Какая-то ерунда, чушь, - думали мы, - классик просто был пьян. И мы посоветовали заверить его подпись у нотариуса. Для этого пришлось улететь в Алма-Ату, туда, где жил этот классик. И там подтвердили, что подпись подлинная и поставили сверху большой круг печати с завитками казахских букв и летящим пегасом в середине. Где же ты, прежняя осторожность Востока? Целинный край, забывший величие минаретов и песни предков...

Ты приехал оттуда еще более почерневший и возбужденный, ты стал завклубом. Я не представляю, как ты руководил клубом. Завклубом, завсадом, завмагом - какое завывание и какая тоска в этих словах-уродцах! Ну какой из тебя затейник? Впрочем, если бы тебя просто посадить на сцене и смотреть на тебя... Допускаю, что для той деревеньки, где ты мерз в огромном пустом сарае с вывеской «Клуб» и где почти не было развлечений - твое явление было из ряда вон выходящим. Полный доверия к людям, ты не закрывал клуб на амбарный замок, и твоя жена платила из своей скудной зарплаты за это твое доверие к се-

лянам. Платила по перечню глупого акта, в котором немолимый финансист, лишенный радости восприятия стиха, подсчитал стоимость пропавших ковров и оценил исчезнувшую копию «Девятого вала» на уровне подлинника. Жалкий любитель Айвазовского и мандолин, ревнитель колхозной собственности!

Я вспоминаю тот вечер, когда мой друг Веня, тогда еще начинающий писатель, заглядывающий нам в рот и записывающий тайком наши слова, а ныне большой мэтр в столице, привел тебя в мою заполненную холодом квартиру, где я мучился тоской от бессмысленности своей жизни, проклиная выматывающие «трудовые будни» завода и печку, пожирающую уголь ведрами. В моей квартире жил тогда пес Джек, которого приютил мой сын. Выпускать его на улицу было нельзя, он был Джек-потрошитель, бесстрашный охотник, пожиратель кур...

Я сразу понял, что и тебя, Афельруд, опасно выпускать на улицу в нашем поселке. Уж слишком длинны и смолисты твои кудри, слишком горбат нос, и просто вызывающе бросаются в глаза твои атласные брюки. Думаю, что они были пошиты из клубного занавеса. Улица наверняка бы не приняла тебя. Улица, где заводские парни, пошатываясь, бродили в поисках своих домов, или, заслышав протяжные всхлипы гармошки, брели на ее зов к магазину, где топтались в незатейливом танце, разрывая тишину похабными частушками. Улица, где верховодил бригадир маляров, ненавидящий чужаков и бездомных собак...

Так вот, когда мы вошли, я сразу повел тебя к печке и растер твои побелевшие уши варежкой, и ты принял это как должное и, когда ты рассеянно улыбнулся, я понял, что ты меня даже не замечаешь.

Мой друг Веня отвел меня на кухню и зашептал:

- Понимаешь, он приехал ко мне, но сейчас, ты же знаешь, какие отношения у нас с женой, мне просто невозможно дальше обострять их, ты же знаешь, что я вступил в партию, только не язви над этим, пожалуйста, выходит моя книга... Жена устроит скандал, она не позволит ему даже переночевать, а это золотой парень... Пусть он поживет у тебя, а? Ну, так я бегу, лады, а? Ну, ладушки, старик!

Итак, Веня выпорхнул, а мы остались вдвоем, если не считать дремавшего на кушетке Джека. Я долго смотрел на незнакомого мне тогда человека, греющегося у печки, на его красное лицо, освещаемое бликами пламени, на его горящие раскаленные уши. И он был мне симпатичен. Я начал говорить намеками о том, как хорошо было бы согреться для знакомства. Я чертовски устал за день, сломался кран, и мы таскали по крутым трапам вручную баллоны с кислородом и ацетиленом. Я хотел расслабиться и забыть этот день. Ты не понимал моих намеков, Афельруд! И когда осталось десять минут до закрытия магазина, я пулей выскочил на улицу и, пробежав стометровку, назад шел медленно по скрипучему плотному снегу с бутылкой запотевшей от холода.

На кухне я взял два стакана, нарезал остатки колбасы, достал из кастрюли несколько вареных картошек, и поставив две тарелки, налил по первой. Ты даже не притронулся к стакану, через час я выплеснул все содержимое бутылки в себя. Ты смотрел удивленно, и лицо твое становилось все более красным, и казалось, вот-вот задымятся пластмассовые дужки твоих очков. Такое лицо я видел однажды у докового маляра Шульги, когда он упал в воду, и сверху полетело его ведро, наполненное суриком, и Шульга вынырнул точно в том месте, где по поверхности расплзлась краска...

Когда пришла моя жена с ночной смены, я был уже абсолютно трезв, а ты еще более разгорячился, бегал вокруг стола, кричал, я уже точно не помню о чем, но что-то вроде того, что никто еще не понял Верлена, и я соглашался с тобой. Ты говорил о том, что невозможно жить с оглядкой, что творчество должно поглощать человека, что ложь и творчество несовместимы. Империя падет! - восклицал ты. - Мыждемся! Свобода придет в этот город! Мы возродим здесь искусство! Здесь, где камни помнят шаги великого Канта, где царит в воздухе волшебный мир Гофмана!

- Ради бога, потише, - взмолилась жена, - услышат соседи.

Чтобы как-то отвлечь тебя от крамольных речей, я предложил спеть. Голос у тебя был протяжный и звонкий. Я не понял ни слова, но песня мне понравилась. А ты уже не только пел, ты кружился по комнате, оттопырив длинные пальцы, держась за лацканы пиджака, красным вихрем носился вокруг стола, то приближаясь, то исчезая в глубине комнаты.

А жена спросила:

- Где ты нашел этого алкаша?

- Он абсолютно трезв, он даже не притронулся к стакану! Это просто чудо двадцатого века. Он вообще с прибабахом, он хочет стать членом СП! - ответил я и обнял жену.

- А где Джек? - спросила она.

- Я выпустил его, - ответил ты, и даже жена поняла, что сердиться на тебя невозможно.

Сын мой гостил на зимних каникулах у бабушки, и мы постелили тебе на его короткой кровати, ты спал клубочком, поджав ноги, и успокоенное сном, лицо твое остывало, краска сходила с него, и я увидел, что кожа у тебя нежная и тонкая.

- Как он будет жить в этом городе, бедолага, - сказала моя жена.

Сейчас я понимаю, не такой уж ты бедолага был, и я вспоминаю, как мы просили, чтобы тебя взяли заведовать клубом в той деревушке, потому что тебя нашла жена и приехала с маленьким сыном, я вспоминаю твои растраты и страх твой перед ревизиями, но ведь не было страха, когда ты купил для клуба ротатор и напечатал на нем свою первую книжку, а потом уговорил казахского классика дать рекомендацию, и классик, наверное, удивлялся плохому шрифту и серой бумаге, но плохо читал по-русски, а потому не мог удивляться стихам...

Утром карусель нашей жизни начала новый круг, и подставив лицо под кран, я холодом воды выгонял хмель и сон, что-то жевал на ходу, а потом бежал по узкой тропинке через снежное поле к забору с колючей проволокой, огораживающему секретный завод... А ты сидел дома у нас и писал стихи на маленьких листках, вырванных из блокнота, и разбрасывал их везде, где только мог. Мы находили их и смеялись над неумелыми строчками и нам было весело с тобой. Единственное огорчение - ты выпустил Джека.

Бедный пес, смелый охотник, он не вернулся тогда. Я нашел его тело только весной, когда стаял снег, он погиб от заряда крупной дроби, и морда его была в пуху. Я похоронил его в огороде с воинскими почестями, выпустив в голубое небо зеленую ракету.

Ты тогда почти не выходил из дома, тебе ведь ничего не было нужно, кроме стихов, а мир был хорошо различим в окне нашей спальни, которое выходило в сад, где на вишневых деревьях уже завязались клейкие почки.

Все наши намеки о том, что пора бы поискать работу и жилье, ты пропускал мимо ушей, у тебя была своя какая-

то странная теория о том, что дома, оставшиеся от прежних жителей, не принадлежат никому, они общие, а по-сему можно жить в любом...

Веня больше не появлялся, и ты забыл про него. Зато пришел из кругосветного плавания мой друг Поэт, крикливый, талантливый и задиристый - маленькая, заносчивая птичка. Если раньше по вечерам он устраивал мне «театр одного актера», то теперь вы нашли друг друга: скачущий выпивоха и трезвенник, который был всегда опьянен предчувствием поэзии.

Поэт не признавал твои стихи, но все-таки - как вы подходили друг к другу! На Поэта невозможно было обижаться. Ты это понял и не обиделся даже на ту эпиграмму, помнишь:

*Все графоманы перемрут,  
А вместе с ними Афельруд!*

Я бы обиделся, я бы на твоём месте взорвался и врезал бы Поэту, но ты был другим тогда. Мы выпили, и ты запел, а Поэт сел перед тобой на полу, по-турецки скрестив ноги, прислонился к твоим ногам так же, как это любил делать Джек. И ты понял, что Поэту надо погладить уши.

Еще я помню тот скандал, что закатила тебе твоя жена, и как она выволакивала тебя из моего дома, возвращала тебя в свою жизнь, и, наверное, была права. Она возвращала тебя в мир, где мужчина должен зарабатывать деньги и сидеть за рулем своей машины, в мир, где были ревизии и холодный клуб в заброшенной деревеньке. Она была по-своему права, мой Афельруд, ведь в тебе не было таланта. Но зато, какое желание петь, какая устремленность! И что мы все со своими талантами и знанием мира против твоего незнания и томления. Мы при жизни зарыли себя, и даже ракеты нет, чтобы почтить наш уход, ведь последнюю я выпустил на похоронах бесстрашного Джека.

## МУРАВЬИНЫЙ ВЗЛЕТ

Звездный ливень ночью обрушился на землю. Пролился метеорный дождь под названием Леониды. Остатки хвоста кометы извергли из себя мелкие камни и частицы льда. Несколько тысяч падающих звезд можно было увидеть в одно мгновение. Можно было бы... Если бы не облака. Темные тяжелые тучи застлали ноябрьское небо Готланда. Лишь над собором Святой Марии был небольшой просвет, и когда колокола пробили пять часов, небо в этом просвете осветилось каким-то дальним призрачным блеском. Или это просто показалось профессору Бартеньеву, приехавшему на конференцию и тоскующему в ожидании её начала, и не очень уверенного в том, что приедет Алина.

Многое у человека происходит не в реальной жизни, а в мыслях и снах. Скорее всего, он выдумал этот блеск, как когда-то сначала выдумал, а потом уверил себя, что действительно видел, как догоняет самку блестящий в небе рой крылатых самцов - муравьев. Он профессор мирмеколог, посвятивший всю жизнь изучению муравьев, был лишен самого главного зрелища, хотя и более кого-либо другого знал в деталях, как все это происходит...

Он так и не заснул в эту ночь и долго смотрел на невидимое море, мерно ворочающее валы и стынувшее под осенним ветром. В этой тьме неожиданно повисли то ли в море, то ли в воздухе огни. Это был первый утренний паром. Таким же паромом прибыл сюда и он. И долго плутал по ночному ганзейскому городу. Ему сказали, что отель расположен неподалеку от пристани. И он уходил от берега и возвращался к нему, совершенно потеряв ориентиры. Серые остатки крепостных стен окружали дома с когтистыми красными крышами. Улочки были узкие и пустынные.

Он сразу почувствовал, что попал в другое столетие, словно машина времени перенесла его сюда. Уже днем, когда он устроился в небольшой комнате и после этого пошел в город, он увидел, что все расстояния здесь маленькие и все словно сделано для игр, для рыцарских турниров и маскарадов. И лишь бережно охраняемые останки соборов, словно гигантские зубья, поднимающиеся из земли, говорили о прошлом величии. И еще был этот самый большой и восстановленный собор Святой Марии, стоящий прямо перед его окнами. Три башни из дерева, почерневшего от времени, казались металлическими, и в узкие бойницы, смотрела на него, профессора, сама непорочная дева, вырезанная из ствола дерева...

И Бартеньев подумал, что если Алина решится приехать, и если она действительно придет из-за него, придется зашторивать окна. Темная штора с каким-то рычагом висела у потолка, но действия этого рычага не поддавались разгадке. Что хочет от него Алина, что ждет, он не знал. Понимал, что все сделает, стоит ей только прикоснуться и протянуть: «Па-а - пик!» Возможно, все дело в ее диссертации, а может быть, она просто желает увидеть остров и старинный ганзейский город.

В городе этом много загадок. Руны, это вроде бы интересовало ее. Даже не сами руны, а техника исполнения, выбор камня, его обработка. Конечно, он все это ей покажет, будь она чуть понежней - получила бы все, что хотела. Она порой откровенно практична. Иногда ее кукольное лицо кажется маской, но в глазах ее можно утонуть - они как море, в свете солнца всегда меняющее цвет...

Он хотел, чтобы к ее приезду погода стала солнечной... Но его желания не осуществились. Два дня шел дождь, потом он стал снегом, и трава вокруг отеля начала сесть, а море, поглощая белые крупинки, становилось свинцовым.

Волны были редкими, но мощными. В такую погоду могут вообще не ходить паромы. Конференция начиналась через четыре дня, и Бартеньев в полном одиночестве с непокрытой головой и без зонтика каждое утро быстрыми шагами мерил каменные дорожки, проложенные вдоль моря.

Он давно привык к одиночеству, оно было естественным его состоянием даже тогда, когда у него была семья. Он жил внутри некоей оболочки, не позволяя никому заглянуть внутрь этой преграды. Он знал, что в жизни надо уметь жертвовать всем ради того главного, для чего дана тебе жизнь. Он стал мирмекологом. Муравьи, как опыт отвергнутой цивилизации - вот была его тема. У них он хотел узнать тайну самопожертвования и определить формулами их движения. Он верил, что изучая муравейники, поможет людям не совершать ошибок. Сам же он всю жизнь ошибался. И давно пора было ему покинуть этот мир. У муравьев самцы после спаривания погибают. Летний брачный полет в последнее голубое небо. У него тоже был полет. И он выжил. Все получилось наоборот, рождение дочки стало смертью для матери. Он назвал дочку именем жены - Евгения. Хотелось заполнить пустоту. Воспитатель из него не получился. Если бы дочь узнала про Алину, то громко бы расхохоталась. Но дочь слишком далеко, дочь за океаном...

Конференцию финансировали шведы, в стране, где жил Бартеньев, было не до муравьев. Она, эта страна, сама поначалу уподобилась огромному муравейнику, захваченному красными муравьями, которые уничтожали и желтых и черных муравьев и всех, носящих не красные одежды. Сейчас, когда опомнились - и самого муравейника нет в помине, надо снова его строить... Рабочие же муравьи истреблены. Об этом и проговорил Бартеньев весь вечер с тоже приехавшим на семинар пауковедом из Эстонии

Мэтью. Естественно, выпили немного, немного повздорили, потом помирились. Мэтью ничего не хотел принимать всерьез. Он и в свои работы не верил. «Все наши, брат, исследования, - говорил он, - как и вся история учат тому, что они ничему не учат! Что же нам, на пауков оглядываться! Сидеть и ждать добычу! И за что их природа одарила? Шесть пар ног! А у самцов на концах второй пары ног членики! Вот бы нам с тобой, старина, по два члена!» Мэтью был незлобив, встряхивал рыжей бородой и постоянно тер лоб. Его поток слов прервала владельца отеля, сухопарая высокая шведка. Принесла свой мобильник и что-то быстро-быстро стала говорить. Бартенев понял, что звонят ему. Поблагодарил, взял мобильник, услышал голос Алины, разобрал, что она взяла билет на паром, и на этом разговор прервался. Он расстроился, и тогда Мэтью предложил связаться с Алиной по электронной почте. Все вышло очень быстро. В бюро отеля они отбили на компьютере письмо, и почти тотчас же пришел ответ. Видно, Алина там, в Стокгольме, сидела у своего миниатюрного переносного компьютера и ждала. Паром ее прибывал через день, поздно ночью. Сразу возникало много проблем. Надо было снять для нее заранее номер, надо было ночью не проспать приход парома. И неожиданно Мэтью взялся активно помогать во всем и быстро договорился с хозяйкой отеля, и обещал ночью разбудить и даже вместе пойти встречать. Чужой город, сказал Мэтью, все-таки ночь. Здесь ночью спокойнее, чем у нас днем, ответил ему Бартенев и все же поблагодарил. Конечно, ночью вдвоем надежнее. Мэтью немного знал шведский, и в этом было его большое преимущество.

Перед приездом Алины надо было выспаться, надо было быть в форме. Бартенев рано лег и уснуть смог лишь часа в четыре, когда уже начало светать. Колокола проби-

ли четыре раза - это он услышал уже сквозь полусон и увидел, как купола собора превращаются в купола муравейников. И по одному из куполов металось множество муравьев. Он сразу понял, что муравьи собираются делать новый муравейник - пришла пора отселять молодых самок. И на одной из дорожек, ведущей от старого муравейника уже собралась рабочая муравья, стояла, как шабашники, ожидая, куда пошлют, и недовольно шевелили усиками. В это время на куполе появились несколько самок, вокруг них сразу засновали прихлебатели - рабочие муравьи, еще только собиравшиеся на стройку. И эти муравьи стали облизывать самок, облизывали медленно, словно пытаясь продлить удовольствие. А там, вдали уже дергались в траве муравьи-разведчики и о чем-то сообщали - вставали на задние ножки, раскачивались. И буквально на глазах возник из листвы холм. И муравьи-носильщики стали переносить самок в этот холм. А те, разваливаясь на их спинах, дрыгали ножками и вели себя явно несолидно. Рады были, что вырвались из темных гнезд, из-под надзора главной матки - царицы. Бартенев увидел, как рабочие муравьи из свиты, с раздувшимся от жира брюшком, помыкали и разведчиками и фуражирами, да и на самок не обращали внимания. Это было прямым доказательством его теории - вот она власть пролетариата, вернее так называемого пролетариата. Кучка зажавшихся главарей управляет всеми. И муравьи добытчики - фуражиры потянулись к этим паханам, предлагают зобы, набитые патокой. Шугануть бы их сейчас, да нет сил. Бартенев понимает, что он превратился в карлика, идет между трав, стебли колышутся над головой. И ему совсем не страшно... Он у самого тайного входа - это спуск в гнездо царицы, в обитель сладострастия. Его тянет туда, хотя он и понимает, насколько это губительно. Теперь в руках у Бар-

теньева фонарь. Желтое пламя вздрагивает, едва освещая лестницу. Он спускается по ступеням. Кажется, им не будет конца. Но вот он уже видит там, внизу, опочивальня. Царица спит, ее брюшко вздрагивает во сне. Бартеньев понимает, что с царицей надо обязательно поговорить. Именно она способна раскрыть все тайны. Властвует она или стала рабыней в обществе, где правят муравьиные большевики. Такой аромат идет от постели, где она лежит. Лежит обнаженная. Он подходит ближе, светит фонариком. Господи, так ведь это Алина. Она просыпается, потягивается. Как она прекрасна. Сколько у нее сосков - упругих, коричневых. И она узнает его, Бартеньева, охает и говорит: «Ах, папик, меня накачали спермой по самые уши!» Он раскрывает рот, хочет ужаснуться, но понимает, что крика его никто не услышит, и... . просыпается в холодном поту. Майка, хоть выжимай! Какой глупый сон, думает он. А потом пьет апельсиновый сок и смотрит в окно на красные островерхие крыши домов, окружающие собор, и понимает, что сон этот не так и глуп, - еще раз подтверждает: опыты с мечеными муравьями были поставлены почти идеально! А что касается Алины — так она воистину царица. И самки у муравьев получают сперму один раз - и на всю жизнь, им должно хватить на рождение сотен, а то и тысяч куколок, конечно, этой спермы очень много, это все тоже научно подтверждено... Или ты рвнуешь Алину к самцам муравьев, сказал он сам себе и засмеялся...

Потом он долго стоял под душем, переключал с горячей на холодную воду, растирался мохнатым полотенцем, все старался взбодрить себя, но была во всем его теле какая-то неуверенность, какая-то вялость. После завтрака стал пересматривать свой доклад и опять остался недоволен - поймут ли, прислушаются ли к его предупреждени-

ям. В сытой стране хорошо изображать из себя социалиста, поборника общих прав и справедливости. Социалисты и финансировали последние исследования Джекомса - известного специалиста из Ирландии, который доказал то, что им так хотелось услышать - только в общине может проявиться индивидуум. Большой чепухи не придумаешь! Бартеньев стал исправлять раздел доклада, где приводились опыты с мечеными муравьями и доказывалось их тупое подчинение служкам из свиты самки. Бартеньев писал и думал об Алине, до встречи уже оставалось всего каких-то десять часов...

Но как протянулись эти часы - будто кто-то остановил время. Остров погрузился в туман, колокола звонили беспрестанно. Из тумана вырастали стены соборов и крепостные башни, редкие машины, с трудом втискиваясь в узкие улицы, ездил с зажженными фарами. Бартеньев подумал, что в такой туман паромы не будут ходить, но опасения его были развеяны, когда сквозь пелену тумана он увидел прорисовывающийся силуэт - и множество огней. Огни эти повисли в воздухе и медленно двигались. Он открыл окно и смотрел на эти приближающиеся огни, пока их не заслонили стены собора, будто втянув в себя...

Когда стемнело, к нему зашел Мэтью и, словно угадав его настроение, сказал:

- Нечего томиться, я знаю здесь один ресторан, совсем рядом с портом, пойдем туда, сядем и будем пить пиво, и ждать прихода парома с твоей пассией!

И они быстро собрались и по скользкому булыжнику спустились к морю, а потом вышли на мерцающие огни сразу нескольких баров, везде было пусто, но Мэтью уверенно шагал вперед, пока не увидел нужную вывеску - красные дрожащие буквы полукругом над входом, у порога дверей мечутся в прозрачных корзинах огоньки све-

чей. Удивительно, но в ресторане было много посетителей. До сих пор Бартеньев не встречал на острове ничего подобного: почти все кафе, магазины и бары стояли пустующими. Летом, Бартеньев знал это по рассказам своих коллег, остров заполнялся туристами, здесь проводились рыцарские турниры, средневековые мистерии разыгрывались на старинных площадях, и трудно даже было отыскать место в баре. Но сейчас был конец ноября, и все это невозможно было даже представить...

Мэтью между тем уже объяснялся с барменом. Они улыбались друг другу. Потом появилась юркая светловолосая официантка и провела их к столику. Место было очень выгодное для обзора, были видны и те, кто сидел у стойки бара, и те, кто находился в зале. С потолка свисала необычная люстра, на щупальцах ее горели маленькие лампочки, и она равномерно кружилась, разбрасывая блики. Им принесли пиво, поставили высокие фужеры. Пиво было дорогим, но зато отменным. Они повторили заказ. Наверху над ними был еще зал, туда вели узкие лестницы, похожие на корабельные трапы. Потом они разглядели и лестницы, ведущие вниз. Мэтью спустился по одной из таких лестниц, сказал, что пошел на разведку. Возвратился сияющий: «Представляешь, внизу большой зал и сидит целая компания девиц, давай, переходим туда!» Бартеньев стал отнекиваться, мол, неудобно, что мы молодые пацаны, чтобы бегать взад вперед. Мэтью нахмурился. Конечно, Мэтью молод, полон сил, ему некуда девать свою энергию. Бартеньев чувствовал себя виноватым, ведь к нему едет Алина, а Мэтью обречен на одиночество. Они сидели молча. Народу в ресторане прибавлялось, пришли даже две мулатки. Мэтью уставился на них. А потом и совсем оживился, когда поднялись в их зал три девицы, довольно - таки изящные. Сели за сто-

лик, совсем рядом и закурили. Эти из нижнего зала, пояснил Мэтью. Ну, вот и не надо спускаться, ответил ему Бартеньев. И не только эти три девицы - по лестницам стали сновать молодые девицы одна за другой и одна другой краше, но ни одна не шла в сравнение с Алиной... Подходили к стойке, брали рюмки или фужеры, скользили по лестнице вверх, а некоторые выпивали здесь же за стойкой. И как ни дергался Мэтью - на его молчаливые призывы не реагировали. Наверное, подумал Бартеньев, мы кажемся им стариками, потом сказал Мэтью: «Они еще слишком молоды, студентки еще». Мэтью ответил, что возраст не играет никакой роли, всегда можно найти свой ход, и стал рассказывать об одном американце, которому уже за семьдесят и который дал объявление в газете, что все его миллиардное состояние отойдет той, в объятиях которой он закончит свою жизнь в момент оргазма. «И что бы ты подумал, - продолжал Мэтью, - желающих у него хоть отбавляй! А умирать он не собирается...» Бартеньев засмеялся, Мэтью уставился на соседний столик, стал делать какие-то знаки девице с утиным носом, потом другой - широкобедрой блондинке. Но никто не реагировал на его призывы, никто не пересел за их столик. Мэтью снова помрачнел, выпуклые его глаза налились тоской. «Сидим здесь, затаившись, как пауки! - сказал он. - Тебе хорошо, еще пара часов и у тебя уже никаких забот!» Бартеньев понимал, что мешает Мэтью. Кто же подсядет за столик, где расположился столь пожилой человек. Вот и мелькают мимо и мимо. Мулатки уже нашли двух высокорослых шведов - себе под стать. Обнимаются у стойки. Девицы снуют по лестницам, как муравьи из разоренного муравейника. Сколько же их здесь! Наверное, собрались со всего города...

- Пора, - сказал Мэтью - а то паром прозеваем!

Бартеньев поднялся, рассчитался с барменом, и со вздохом облегчения пошел к выходу...

Несмотря на ночное время, на пристани было полно встречающих, все нетерпеливо поглядывали на часы, некоторые ходили со стаканами в руках, пили кофе. Паром прибыл ровно в час, швартовка была быстрой: все отработано, к парому выдвинулось длинное квадратное сооружение, которое и послужило трапом, и там внутри его уже шли первые пассажиры. Хотелось броситься в этот туннель, ей навстречу, ведь наверняка тащит с собой тяжелый чемодан, но никто не делал и шага к выходящим с парома, все стояли молча и ждали. И те, кому повезло, кто обнаруживал своих, не кричали радостно, как это делалось на родине Бартеньева, а степенно, не спеша, обнимались, и молча продолжали путь теперь уже вместе.

Алина появилась в числе последних, чемодан она катила, он был на колесиках. Красива она была до невозможности. Яркая, элегантная, в черной шляпе, делавшей ее еще более высокой. Бартеньеву показалось, что она пополнела. И когда они обнялись, и она чмокнула его в переносицу, он сказал - как я счастлив, и еще сказал - ты поправилась, Алина. «Нет, папик, - сказала она, - это на мне слишком много одежды». Он вспомнил, что Алина мерзлячка и как она всегда куталась в его халат, даже летом. «А это Мэтью, - представил он своего коллегу, - тоже приехал на конференцию». И Мэтью галантно поцеловал протянутую ручку и взял чемодан Алины. Отель был рядом, так казалось днем, ночью же идти по незнакомым улицам с Алиной было не столь удобно, и хотя они договорились с Мэтье еще в баре, что пойдут пешком - такси здесь были слишком дорогим удовольствием - но сейчас, не сговариваясь, подошли к свободной машине и разом взялись за дверцу.

В отеле номер Алине выделили рядом с номером его, Бартеньева, это было очень удобно. Он заранее принес в этот номер еще днем термос с кофе и мандарины. Батареи попросил тоже включить заранее. И теперь, когда они вошли в этот номер, в нем было так тепло, словно здесь собирались устроить сауну. Алина сняла свою шубку, потом два свитера и опять стала той тонкой аспиранткой, которой Бартеньев в свое время помог сдать кандидатский минимум. И до чего же она молода и красива - у Бартеньева даже дух захватило, а Мэтью стоял в дверях и все смотрел на Алину, не отрываясь. И только после того, как Бартеньев несколько раз выразительно взглянул в его сторону, Мэтью стал раскланиваться. «Эти прибалты, - сказала Алина, когда дверь за Мэтье закрылась, - они так любезны! Наверное, он тоже специалист по рунам?» - «Нет, — почему-то зло ответил Бартеньев, - он специалист по паукам!» Ее это не смутило. «Как это интересно, - протянула она и добавила, - и все же муравьи более загадочны, правда, папик?» Он приблизился к ней и, протянув руку осторожно, как слепой, дотронулся до ее груди. Она отстранилась. «Я так устала, - сказала она, - весь день эти волны, я думала, что с ума сойду, мне и сейчас кажется, что пол качается подо мной!» Он извинился и пошел к двери. «Ты договорился о переводе рун?» - спросила Алина. Он не знал, что ответить, самое странное, что он забыл об этой ее просьбе. Хорошо, хорошо, сказал он...

Чтобы ей перевели надписи, надо было найти хранительницу музея, потом переводчицу, переводчице пришлось заплатить тысячу крон, но это не смутило Бартеньева, он вот-вот должен был получить крупную сумму за монографию о муравьях, выходящую во Франции. В музее он успел побывать с утра и за завтраком сообщил Алине о том, что перевод будет скоро готов, заслужив ее обольсти-

тельную улыбку. Им пришлось расстаться до вечера, сегодня начиналась конференция, и Бартенъев никак не мог пропустить открытие, в принципе, и Алина должна быть на открытии, ведь ее приезд оплатили организаторы этой конференции, ну да ладно, решил Бартенъев, пусть занимается своими делами...

Конференция открылась с небольшими опозданием, ждали прибытия губернатора острова, обменивались новостями. Губернатор вошел в зал незаметно, был он ростом еще меньше Бартенъева, но обладал мощным голосом настоящего площадного оратора. Что он говорил, Бартенъев не разобрал, шведский почти не знал, но вместе со всеми аплодировал. Потом выступали еще какие-то официальные лица, и Бартенъев не вслушивался в их слова, хотя теперь говорили по-английски. Он думал о том, как поведет Алину сегодня вечером в ресторан, как они будут танцевать там с ней, и никакого Мэтью, зачем нужен третий, и сегодня вечером они останутся с Алиной вдвоем, и он никуда не уйдет и не станет слушать никакие отговорки, и силы у него найдутся, она единственная женщина, которая возбуждает его, надо только сегодня, здесь, на конференции, ни с кем не спорить, не тратить пыл понапрасну, будет еще его доклад, там он все сумеет высказать...

Так он себя уговаривал, но конечно не смог не ввязаться в спор.

Выступил профессор Форсон из Стокгольмского института, поначалу ничего особенного в его докладе не было, статистика, опыты, отдельные опыты весьма любопытные, а потом профессора потянуло на социальные проблемы и обнаружилось, что профессор страстный сподвижник коммунистов, и муравьи для него возможность еще раз доказать, как прекрасен и необходим тот тюремно-лагерный строй, который предлагал Маркс. Говорил Форсон убеди-

тельно, все факты поворачивал в свою пользу, хотя и многое просто подтасовывал. «Жареный петух тебя еще не клевал, - подумал Бартеньев, - хорошо в обеспеченной Швеции разглагольствовать об общем благе, здесь даже стоящие у власти социал-демократы никому не могут навредить, а ты пожил бы в моей стране, где совсем еще недавно считали, что социализм построен, другие бы песни заводил... »

-Эволюция муравьев продолжается, - изрекал между тем Форсон, облизывая высохшие губы кончиком языка, - они обитают на земле уже более ста миллионов лет, они сумели выдержать все катастрофы, только благодаря тому, что построили общество, где главным является не забота об отдельном индивидууме, а забота о всеобщем благосостоянии, забота о выживаемости. Каждый готов принести себя в жертву делу общей борьбы, каждый готов принести себя в жертву для общей победы. Нас сгубил индивидуализм, мы погрязли в собственном эгоизме и в своих стремлениях к роскоши, мы заменили продолжение рода поиском сладострастия. У муравьев нет собственных личинок, они заботятся обо всех, они выносят личинки на солнце и греют их в погожий день, они укрывают их в непогоду, муравьи сами являются переносчиками тепла, и в солнечный день выбегают из муравейника, чтобы постоять на освещенной поляне, нагреть свое тело и бежать в муравейник, где тело остывает и отдает тепло своему дому. И никогда муравей-фуражир не станет один есть добытую пищу, он несет ее на общий стол. И все делятся друг с другом, передают сладкий добытый сок друг другу, пасут общие стада тли, червцов, листоблошек, цикад и гусениц, и сладкое молоко и сок от них несут, в первую очередь, самкам, они заботятся о будущих поколениях, пекутся об их обучении.

Разве бы допустили муравьи такое неравенство, какое видим мы в человеческом сообществе, когда одни бесятся от жира, а другие умирают от голода, когда разница между Севером и Югом достигла опасного предела. Мы, на Севере, используем все блага земли, а Юг держим во тьме и невежестве. Муравьи даже разных семейств и подвидов, я не говорю об отдельных родственниках муравейниках, всегда стремятся сохранить равенство, и недалеко то время, когда цепочки муравейников плотно опоясуют земной шар, и если мы не хотим погибнуть, мы должны учиться у муравьев, мы должны постигнуть их систему выживаемости, потому что сегодня именно они, а не человеческое общество, являются залогом развития цивилизации на земле. И мы могли бы быть столь же непобедимы и многочисленны, если бы коммунистическое общество победило в большинстве наших стран...

На этом призыве Форсон и закончил. Бартеньев рванулся к трибуне — надо было ответить, но его опередил француз — сухощавый молодой человек в больших очках и с язвительной улыбкой на лице. Он стал задавать вопросы, да такие, что весь зал сразу оживился, а Бартеньев понял, как хорошо, что француз опередил его. Смех — вот оружие, которого не выдерживают схоласты.

Первым вопросом был такой: почему, если у муравьев дружное общество и они всегда оберегают будущие поколения и неумолимо возятся со своими личинками и куколками, почему работницы-муравьи, эти недоразвитые самки, поедают личинки самцов?

Форсон ответил, что такова необходимость, что хватает двадцати самцов, чтобы оплодотворить будущую матку-царицу муравейника.

Кто-то подал реплику с места: «И эти двадцать самцов, взлетев светящимся роем и исполнив брачный полет, тоже

погибают! Вы хотите, Форсон, такое общество?» - «Вот-вот, — подхватил француз, — это типичный матриархат!»

И задал свой второй, не менее язвительный вопрос:

- Кем хотел бы быть Форсон в обществе, построенным по типу муравьиной колонии: солдатом, фуражиром, самцом или самкой?

Форсон не нашел, что ответить и удалился с трибуны под смехи зала. Так, улыбающиеся и веселые, все они вышли в фойе, где их ждали термосы с горячим кофе. Но и за кофе продолжались оживленные споры. Француз, так весело сразивший знатного профессора, торжествовал победу. Был слишком молод и не понимал, что грешно смеяться над стариками. Витийствовал: «Это не довод, что они живут сотни миллионов лет! Бактерии живут еще дольше и в любой обстановке будут жить. Им никакой коммунизм не страшен!» Ему стали возражать со всех сторон - причем здесь бактерии, мы говорим сегодня о высших видах. Муравьи, термиты, осы, пчелы и человек - вот между кем решается, кому будет принадлежать земной шарик еще через миллион лет...

Потом был обед, а после обеда доклад об аргентинских муравьях и об их переселении в Европу, вопрос новый и не совсем изученный, в то же время нарушающий теорию инстинктов, которой придерживались все самые видные мирмекологи. Вспомнили и об африканских муравьях, которые постоянно передвигаются через тропические леса, царицу свою оберегают в походе, несут ее в середине колонны и прячут в момент надвигающейся опасности. И конечно, возник разговор об огненных муравьях, которые в Америке стали настоящим бичом фермеров. Укусы этих муравьев столь болезненны, что приходится ложиться в больницу, чтобы излечиться. Все это дало повод ученым из Алжира настаивать на том, чтобы была принята резо-

люция об уничтожении некоторых подвидов муравьев. Здесь Бартеньев запротестовал. «Сколько можно насиловать природу, - кричал он с места, - уничтожить вид легко, попробуйте потом восстановить!» Он бы многое мог им рассказать о том, как уничтожали целые народы, как выселяли из родных аулов, дед Бартеньева был крымчак и многое повидал... Пусть и муравьи испытают геноцид, этого хотят уважаемые исследователи? Они и так зашли в тупик со своими инстинктами, а тут им предлагается еще и красный террор... Бартеньева поддержал Мэтью, он сегодня первый раз появился на конференции. Говорил яростно, тоже был задет за живое, его народ ведь тоже пытались свести на нет...

Уже стемнело, а дискуссия все продолжалась, надо было выбрать момент и уйти, понимал Бартеньев, иначе можно упустить Алину, она не станет так долго ждать в своем номере. Он бочком осторожно пролез между рядами. На улице моросил холодный дождь, свет фонарей с трудом прорывался через его пелену. В такую погоду, понимал Бартеньев, она никуда не согласится идти. Но ему нужен отдых, сначала отдых, немного перекусить, выпить бокал хорошего вина, а потом уже - ночь любви. И он подумал, а вдруг она сразу, сейчас согласится, вдруг она уже лежит в постели и ждет его: «Папик, как ты долго, я уже вся на нет изошла!» Так бывало, конечно, редко, но бывало, чаще она ссылалась на любой пустяк, лишь бы не остаться наедине, но сегодня препятствий нет, куда она пойдет в незнакомом городе...

Но, видимо, нашла куда, потому что, когда он добрался до отеля и спросил дежурную, у себя ли леди из девятого номера, дежурная ответила, что леди еще не приходила. Тогда он пошел в гостиничный бар и выпил там рюмку коньяку. Коньяк обычно помогал ему - расширились сосу-

ды, и он легко засыпал, на этот раз он заснул только в пять - в номере Алины было тихо.

Утром он тихонько постучал к ней, никто не ответил, он зашел. Алина спала, раскинув руки, на лице ее блуждала таинственная улыбка, и вся она была такая теплая, одухотворенная, что он не удержался сел на кровать и погладил ее руку, она что-то сказала, видимо, там, в своем сне. Он всегда мечтал попасть в ее сон, теперь он пытался разгадать, что ей снится. Она продолжала улыбаться, и ему не хотелось нарушать ее видения. Он осторожно встал и столь же осторожно, ступая мягко и неслышно, вышел из комнаты. Потом она рассказала ему, что ей снились муравьи, и что она стала царицей муравьев. «Ты моя царица!»

- сказал он и удивился совпадению их снов. Она стала оправдываться за вчерашний вечер. Оказывается, ее увезли на север острова, показывали древние могильники, и есть вариант, что она достанет тексты совсем никому неизвестных рун. И в одной из этих рун написано, ей уже перевели: «Превыше звезд огни любви». Красиво? - спросила она. Красиво, - согласился Бартеньев. И тут же добавил: «Но непонятно!» Когда же вечером он стал умолять ее и добиваться любви, и даже встал на колени, она сморщила свой ротик и сказала: «Я так устаю от тебя, папик!»

Бартеньев тоже устал от всего, ни один доклад не заинтересовал его, да и очень трудно было иногда разобрать смысл слов, Бартеньев знал английский, но надо было, чтобы говорили медленно, а здесь сыпали все потоками слов, стараясь уложиться в отведенные для выступления полчаса. Его доклад опять перенесли на самый последний день конференции. Зато дали слово вне плана профессору из Оксфорда, и тот внес сильное оживление. У него, оказывается, была своя теория, и эта теория доказывала, что муравьи намного развитее и умнее людей. У профессора

выдавалась вперед нижняя челюсть, напоминавшая муравьиное жало, и сам он был юркий и подвижный, как муравей. Он призывал всех покинуть лаборатории своих институтов на лето и все лето проводить у муравейников. Он полагал, что только так люди могут выйти из тупика, в который они сами себя загнали взаимной враждой и нетерпимостью.

- Посмотрите, - говорил он, - как уверены в себе муравьи, как четко знают, что делать. Какие они строят дороги! Какие прокладывают туннели! А какие грибные сады разводят! Нам бы у них поучиться. Суета у муравейника - это кажущаяся суета, приглядитесь поближе, поговорите с ними, они откроют вам свои тайны. А всех их объединяет одна тайна - они разгадали главный секрет природы - бессмертие, это бессмертие не отдельного муравья, а бессмертие его вида. Большой заботы о потомстве, чем муравьи, не проявляет никто! Если бы человек открыл возможности познания генетической памяти - он стал бы совсем другим, он бы понял, что жизнь его продолжается в потомках, нет продолжателей рода - и тогда наступает смерть. И потому пусть будет матриархат, называйте как хотите - самое разумное в мире сберечь свое потомство. Посмотрите на самцов муравьев - жизнь их коротка, но она посвящена одной цели - оплодотворить матку, у них нет ревности, они едины в своем порыве, они знают, что продлевают именно свой род, и хотя в брачном полете самку оплодотворяют двадцать самцов, сперма каждого не смешивается со спермой другого, каждый из самцов продлевает только свой род, он погибнет, но погибнет в радости, зная, что свою задачу исполнил! Нам надо учиться у муравьев отношению к смерти, как к временному перерыву в жизни, посмотрите, как умирает муравей, почувствовав приближение смерти, он не хочет расстраивать

своих друзей, вечером он тихонько выходит из муравейника, влезает на заранее облюбованную травинку и так дремлет на ней, покачиваясь на ветру, пока силы полностью не оставляют его... Человекообразные - так назвать муравьев, значило бы оскорбить их, это мы муравьеобразные, пока еще не достойные своих предков...

Может быть, он и был прав, этот профессор из Оксфорда, но чем тогда объяснить то обстоятельство, что молодые самки, когда основывают новую семью, иногда проникают в чужое гнездо, убивают живущую там самку и становятся царицами. Такой вопрос мелькнул у Бартеньева, и этот же вопрос задали профессору. Тот за словом в карман не полез, сказал, что бывает всякое, обычный дворцовый переворот, наверное, этому научились у людей, дурное быстро воспринимается. Бартеньеву хотелось бы согласиться с профессором, он тоже часто думал о муравьях, как об очень разумных существах, и все же у них победили инстинкты, хотят этого или не хотят сторонники различных теорий - муравьиное общество это тупик. В своем докладе он, Бартеньев, все это обстоятельно докажет. Таким мог стать человек, как и муравей, если бы сохранил первобытно-общинный коммунизм. Может быть, это было бы к лучшему, такая еретическая мысль билась в голове Бартеньева, делал бы каждый свое - и не задумывался. Всю жизнь ходил бы по одной тропе или разводил бы грибы на одном и том же участке, а не повезло бы - попал в самцы...

А кто он, Бартеньев, на этой земле? Разве ему дали сделать свободный выбор? Чтобы поступить в институт пришлось скрыть, что по отцовской линии он крымчак, людей такой национальности уже не было в европейской части страны, «отец народов» расправился с отдельным своим народом. Институт был престижный. В «сером доме»

быстро разобрались: кто есть кто. Или давай расписку, что будешь осведомителем или распрощайся с институтом. Пришлось уехать из столицы и начинать все сначала на биологическом факультете заштатного псковского университета. Но что ни делается - все к лучшему. Там и пришла эта страстная любовь к муравьям. По выходным уезжал в ближайший лес и мог целый день сидеть у муравейника. К нему привыкали его новые маленькие друзья. Для них ведь все сводится к запаху. Муравей все метит особыми выделениями из желез. Вот и его они поместили, он весь пропитался их запахами. У Хемингуэя, любимого писателя бартеньевской юности, есть такая фраза: «Человек один не может... » Муравьи, не знавшие американского писателя, наверняка понимали его завет. Одиночка погибал, вне семьи муравья не существовало. Муравей в одиночестве не будет даже есть, он должен обязательно кормить друга, он должен впитать в себя чужую слюну, это для него самое главное удовольствие, если учесть, что в муравейнике секса нет, то кормление друг друга - не есть ли замена секса. Муравейник - святая святых, и спаривание всегда вне его, даже вне окружающей муравейник земли, в небе, в этой голубой непостижимой бездне. Как это там в руне сказано: «Любовь превыше звезд». Есть и еще одно удовольствие у муравья - скотоложство, и когда муравей пасет своих тлей, он ловит одну из них и щекочет ей брюшко до тех пор, пока она не станет выделять сладкий свой сок, и когда он сосет этот сок, он наверху блаженства. И соком он тоже поделится. Набьет зоб и побежит в муравейник. Бартеньев наблюдал, как задолго до дождя муравьи спешат к себе в гнездо, закрывают входы. Бегут со всех тропок, помогают друг другу волоочь добычу. Застучали первые капли дождя по земле, зашуршали по траве - и все уже успели спрятаться. И однажды увидел - один

поспешает из дальних пастбищ, ткнулся туда, ткнулся сюда - везде закрыто. Стал вертеться на месте, Бартенев аккуратно взял его - пересиди в моей ладони. Муравей почувствовал знакомый запах, успокоился. Фасеточными глазами уставился на спасителя, стал шпорой протирать свои ножки. Бартенев переждал дождь под лиственницей, а когда солнце проглянуло и стало сушить траву, выпустил муравья. Тогда еще не было радиоактивных меток, какими сейчас клеймят муравьев, чтобы узнать их пути. Бартенев просто называл этого муравья Кузьма. И мало кто поверил бы Бартеньеву, если рассказать, что всякий раз, когда приходил к муравейнику, этот муравей бежал к протянутой руке...

Бартенев тогда был очень одинок, отца убили на фронте, мать умерла, надорвалась на лесозаготовках. Жизнь казалась бессмысленной, пока не встретил Евгению. И был малый промежуток счастья. А потом опять одиночество. И вот теперь Алина. Придумал себе Алину. Ходил, повторял; «И может быть, на мой закат прощальный мелькнет любовь улыбкою прощальной». Заведующий кафедрой старый скептик Кривцов узнал про Алину, но осуждать не стал, сам был всегда не прочь приволокнуться за студентками. Но предупредил: смотри осторожно, перед тобой зажегся красный свет. И сказал: «А вообще, я тебе завидую!» Все ему завидовали...

Следующие полдня Бартенев пропустил, многие уже не ходили на заседания. Командировочные получили, за доклады тоже получили, и теперь участников конференции можно было встретить в барах города, в ботаническом саду, на пустынных каменистых пляжах, где на незамерзающем море было полно чаек, и даже плавали в одной бухте лебеди. В эти полдня Бартенев водил по городу Алину. Он видел, как оборачиваются вслед ей молодые

шведы, и это льстило ему. От нее шел какой-то таинственный свет, этим светом она и притягивала к себе, и еще ароматом, духи она не любила, но от ее тела шел такой пряный запах, что даже на улице Бартеньев чувствовал его. Она позволила взять ее под руку, и иногда их бока соприкасались, тогда пробегали невидимые никому искры. В баре они выпили кофе, потом прошли вдоль крепостной стены и вышли к главной крепостной башне, потом поднялись на нее и оттуда сверху увидели весь этот сказочный город с прекрасной бухтой, уставленной яхтами, с красноверхими домами, бегущими в гору, с руинами средневековых соборов и с тем главным собором, который возвышался рядом с их отелем. И было так тихо вокруг, так пустынно, что не хотелось ни о чем говорить, а только стоять и вдыхать, впитывать в себя эту тишину, и еще хотелось, чтобы время остановилось...

А потом они пошли в центр города и вышли на главную улицу, предназначенную только для пешеходов и сплошь состоящую из магазинов. Магазины Бартеньев любил. И теперь, когда Алина заходила в очередной, оболюбованный ею магазин, он стоял и ждал ее на улице. Несмотря на конец ноября, было тепло именно здесь, на главной улице, куда не доходил ветер с моря. Здесь у острова Гольфстрим - теплое течение, наверное, в здешних лесах много муравейников, муравьи так любят тепло... Тепло и на душе, когда дано тебе любить, и ты чувствуешь, как бьется в тебе каждая жилка... Он стоял и улыбался своим мыслям и думал о том, что наконец-то он может сказать: сегодня я счастлив. И он подумал, что надо бы купить какой-нибудь сувенир Алине, и что в следующий магазин он пойдет вместе с ней и обязательно купит то, что ей понравится. Ему не пришлось ждать следующего магазина, Алина из-за стеклянных дверей махала ему ру-

кой, звала к себе. Он зашел и зажмурился от яркого бьющего в глаза света. На витринах сверкал хрусталь, за стеклами блестели золотом цепочки, дальше стояли целые стада каменных баранов - символ этого города, ибо вокруг было много пастбищ и полно овец и баранов.

- Посмотри, что здесь есть, - сказала Алина и потянула его вглубь магазина. Он сразу понял, что этот сувенир должен принадлежать только Алине. Это был муравей, застывший в золотистом куске янтаря, который опоясывало золотое обрамление, цепочка тоже была золотой, и янтарь с муравьем был не единственным, рядом крепились другие - темно-вишневые янтарные капли.

-Ты догадался, - шепнула Алина, наклоняясь к его уху так, что он почувствовал ее горячее дыхание, - я давно мечтала о таком, ты ведь сам говорил, что такому муравью может быть миллион лет!

Он попросил показать украшение, все было сделано на совесть, конечно, это не подделка, все будут завидовать Алине, такого второго колье не найдешь. И тут он посмотрел на цену. Требовалось отдать почти весь гонорар за монографию. Гонорар, которого он еще не получил. Признаться Алине, что у него не хватает денег, он был не в силах, стал объяснять, что надо вернуться, надо зайти в банк, и мучительно думал - у кого можно одолжить такую сумму. Алина поняла его колебания по-своему. «Ты жадничаешь, папик», - протянула она, - и сразу повеяло холодом, и она уже никуда больше не хотела идти... Пришлось сопроводить ее в гостиницу, а самому отправиться на конференцию, где его отсутствия никто не хватился, и доклады сегодняшнего дня уже заканчивались. Ему стало совершенно неинтересно. Он не желал и знать, о чем спорят коллеги, все показалось ему настолько пустым и ненужным, что ему хотелось бросить все и улететь отсюда первым же самоле-

том. Но была Алина - и это было самым главным. Она ведь не такая и капризная, как хочет казаться. И в ней очень много такта и теплоты. Он вспомнил, как долгое время болел,хватило поясницу, и он не мог двигаться, а она приходила к нему, обтирала его тело, делала массаж, и подолгу сидела у его постели. Он ведь не просил ее приходить. Он привык один на один сражаться со своими хворями. И все-таки это здорово, когда есть рядом человек, заботящийся о тебе. От одиночества устаешь. И главное в жизни не все эти кропотливые исследования - а продление рода. Уйдешь - и никого после тебя. Не будет больше Бартеневых. Дочка уже поменяла фамилию на совершенно смешную - Шмельц, от нее протянется за океаном нитка неких шмельцев. Может быть, это и хорошие люди, но это уже не Бартеньевы. Надо купить это кольцо, зачем ему деньги, все это ерунда. Деньги - сор, ничего не значащий сор. Муравьи обходятся без денег. Хотя, кто их знает. Есть ведь у них листорезы, упирается листорез задними ножками в центр принесенного фуражиром опавшего листа и грызет челюстями, да так ровно, словно по циркулю - и вырезает идеальный кружок. Зачем нужен маленький кружок. Наверняка, деньги, как он раньше не догадался. Побегать к муравейнику - просить: одолжите, позарез нужны. Спросят: а для чего? Куплю мумию вашего собрата - интересно? Нам она не нужна - ответят... Это люди кладут мумии в мавзолеи, мы не дикари...

И Алина также сказала, когда встретились за завтраком: «Не нужна мне эта мумия муравья! Я не язычница, чтобы носить на себе мумии!» И потом стала говорить, чтобы он не расстраивался, что у него сегодня ответственный день - его доклад, и что она и без подарков от него без ума, так и сказала: без ума. Шутила или и в самом деле любит - ее не поймешь...

И все же её слова улучшили настроение, и доклад он свой прочитал с пафосом, и даже вызвал аплодисменты, что редко бывает на научных конференциях. Аплодировали, как и принято в научных европейских кругах, постукивая по столам, кто чем мог. Когда стук смолк, даже Форсон выразил одобрение, но, правда, не преминул вставить шпильку - вот, мол, убеждаете нас, что у муравьев тупик, а они от этого тупика не страдают, захотели бы - изобрели бы и порох, и ракеты, только воевать им не надо. Бартеньев поблагодарил профессора и сказал: «Ничего не изобрели, потому что остались рабами, и страдают от этого, но уже никуда не деться, миллионы лет превратили все в инстинкты... » И сразу заспорили об инстинктах - это было главное, разум или инстинкт, сознательное деление на рабов и паханов или изначальное, удача Творца или его ошибка. Бартеньев не любил, когда к научным спорам привлекали религию. Он верил в Бога, но это было нечто отдельное, не связанное с его опытами. И все же он понимал, что объяснять природу эволюцией невысказанно. Конечно, созданы муравьи Творцом, это была проба, задолго до создания человека, он дал им разум, все им было дано, и муравьи выбрали коммунизм и отступились от разума. Проба оказалась неудачной, Творец тоже имеет право на ошибки, он самообучается в процессе творения. Обо всем этом сейчас спорили все разом и не могли прийти к согласию. Надо было принимать общую резолюцию, и тут уж вообще мнения у всех были крайне противоположные, стали смягчать формулировки, округлять, запутывать, как это всегда бывает на международных конференциях...

Потом был небольшой банкет, Бартеньев старался не пить, вечером еще предстояла встреча с Алиной. Но совсем уж отказываться было неудобно. Все обменивались визитками, адресами... Все-таки, какие бы ни были у них

разногласия, они принадлежали к единому человеческому подвиду и понимали друг друга с полуслова.

Была суббота, и город светился разноцветными огнями, цепочки огней обозначили узкие улицы, поднимающиеся в гору. Расходиться не хотели, брели по этим улочкам, размахивая руками и споря. Потом постепенно делились на группы, Бартеньева звали в ресторан, он отказался и поспешил в отель. Алины в номере не было. Оставалось и ему и ей пробить на острове всего два дня, а они так и ни разу не побыли по-настоящему вдвоем. Ерунда какая-то получилась, и на конференции она не была, будут потом укорять - настаивал на ее поездке, говорил, что нужен переводчик. А твоего переводчика никто не видел. Настроение его становилось все хуже с каждой минутой. Опять он один, один в этом чужом городе, без друзей, без Алины, один в стерильно чистом номере, где дано ему единственное удовольствие - душ. Но на этот раз и струи воды не успокоили его. Бартеньев лег на широкую кровать, рассчитанную, очевидно, на двоих и стал считать - цепочкой пошли в темноте муравьи, один, два, три, двадцать три... это был испытанный способ, на двести сорок первом Бартеньев уснул...

Проснулся он через два часа, было уже половина первого ночи. Он поднялся, выпил из термоса кофе, стал искать журнал, в котором не успел дочитать статью о муравьях, нашел его завалившимся под кровать, и когда раскрыл и собрался читать услышал странные звуки, доносившиеся из номера Алины. Поначалу ему показалось, что она плачет, были непрекращающиеся вздохи, которые потом слились и переплелись с другими вздохами - уханьем. Его словно сковало холодом, ноги стали тяжелыми, он догадался, что там происходит. Кровь прилила к голове, он опустился на пол... А из-за стенки доносились уже не только вздохи,

теперь это было ойканье, а потом и слова: «Как мне хорошо! Мне никогда не было так хорошо! Мама, за что мне такое! Так, так... еще! Мне кажется, что ты не один! Сюда! Еще!» И его голос: «Сейчас! Сейчас! Сейчас!» Пыхтение, словно поезд подходил к станции и обещал спустить накопившийся пар - «Сейчас! Сейчас! Сейчас!»

Это было невыносимо, он накинул на голое тело пиджак и вышел в коридор. Пустынное и длинное пространство было освещено десятками ярких ламп. Он постоял минуту, приходя в себя и резким рывком кинул свое тело к двери алининого номера. Дверь была заперта. Бартеньев прислонился к ней, за дверью было совершенно тихо. Неужели все это было лишь слуховой галлюцинацией, подумал он. Теперь он стоял, припав к двери всей грудью, и не мог стронуться с места. Наконец за дверью послышалось какое-то шуршание, и голос Алины пропел: «Кто там? Это ты, папик?» Дверь отворилась, и Алина втянула его в свой номер. Он огляделся, никого кроме Алины в номере не было. Он решил спросить напрямую: «А где Мэтью?» Она улыбнулась и пожала плечами. Откуда ей знать, где. Но он же был здесь! «Ах, папик, что это тебе все видится всякая несуразица, ну с какой стати ему здесь быть!» Алина подошла вплотную, от нее пахло теплом и парным молоком, на ней была очень короткая рубашка, прозрачная и в темноте казавшаяся белым листком. Она завела за его спину руки, он почувствовал на затылке нежность ее пальцев и еще почувствовал, как все оттаивает внутри. Конечно, все ему показалось, это все его воспаленное воображение, да и она, Алина, виновата, все время избегала его, довела до предела. Теперь он теснил Алину к кровати, и она не сопротивлялась. Пиджак он успел скинуть еще у двери, теперь она помогала ему раздеться. Он каждой клеточкой кожи ощущал ее гладкое молодое тело, излучавшее необычайное теп-

ло. Она целовала его грудь, живот - он ощущал на всем теле ее упругие и в то же время такие мягкие и подвижные губы. Он вошел в нее и теперь уже не различал, где ее тело, а где его - они стали едины, и в их движениях было это единство, и их тела так понимали друг друга, как никогда и никому было не дано, она уже достигла пика наслаждения и теперь ее песня звучала для него, эти непрерывные а-а-а, и он уже не мог сдерживаться больше, и в нем уже все вскипело и рванулось наружу, и будто раскололась на части большая звезда, ибо как сказано в древней руне - любовь превыше звезд, раскололась и пролилась звездным дождем, повисла над кроватью блестящим роем, летящих в брачном полете, и душа вырвалась из тела с криком последней дарованной радости...

Алине пришлось пережить немало горьких и трудных дней, она корила себя во всем, и по ночам подолгу лежала и остановившимся взглядом смотрела вверх. Возвратилась она в Россию через три месяца, на пароме почувствовала приступ тошноты. Море было спокойным, и никто не страдал от морской болезни, и Алина поняла, что она беременна и обрадовалась, впервые за эти дни позволив себе улыбнуться. Она точно знала, что ребенок, которого она теперь носила в себе, от Бартеньева, потому что только с ним она не предохранялась...

## ПРОБЕЖКА

*Беги, Геннадий, беги — говорит он сам себе. И трусцой вдоль моря, но променадой, в любую погоду. Городок спит. Здесь и днем пусто. А ранним утром вообще ни души. Беги, Геннадий, беги... Надо держать себя в форме. Диета —яблочно-молочная, чувствуешь себя легко. Руки расставить и полететь по ветру. Взмыть над морем. Чтобы видеть всех и быть незаметным. Он не знает, что Барни заметила его. Плотный старик из России. Говорят, очень знаменит. Сказала себе: Беги, Барни, беги! На море пал туман. В плотной белой пелене не видно бегущей впереди. Но не вечен же туман. Когда-нибудь он рассеется. Геннадий увидит Барни. Они побегут рядом. Смотри, скажет она, восходит солнце. От нас просто пышет жаром. Они побегут, взявшись за руки, как в детстве. Потом поймут — стоит ли тратить силы на бег вдоль моря. Шведский муж у Барни долго спит по утрам, а по вечерам курит трубку. Геннадий скажет: не переношу табачного запаха. У нас родственные души, ответит Барни. Потом она покажет Геннадию пустующий отель. Здесь можно снять номер с почасовой оплатой. А пока туман не рассеялся, они бегут почти рядом и не видят друг друга.*

## ПОКУШЕНИЕ НА ЛЮБОВЬ

Костя Шмелев легко очаровывал женщин. Во-первых, внешне он производил впечатление: настоящий мужчина, спортивная фигура, рост под два метра, литые мускулы, боксерская стрижка, массивный волевой подбородок; во-вторых, и это, может быть, наиболее привлекало, он был поэт, и хоть и начинающий, но все же уже довольно извес-

тный в городе, а любовь и поэзия - это неотделимо; ну, и, в-третьих, он обладал отдельной квартирой, в которой после развода с женой, уехавшей в Барнаул, он обитал один.

До своего увлечения поэзией Шмелев ходил в море, даже сумел своим напором и энергией доказать, что может не только троса таскать, но и руководить, быстро продвинулся, попал в штаб экспедиции, и заработок был у него вполне достаточный. Сумел он тогда и в кооператив вступить, и коврами квартиру увесить. Но это все в прошлом. Постепенно пришлось с обстановкой расстаться, да и в ней ли счастье?

Пустая квартира не отпугивала женщин, наоборот, она давала простор фантазии, можно было строить планы, мысленно расставлять мебель: «Здесь будет наша спальня, милый, знаешь, лучше всего деревянные кровати, ужас, как надоели диваны и кушетки, а стенку надо будет непременно румынскую... » Пустующая площадь, естественно, порождала желание ее заполнить, давала основание мечтам о начале новой жизни. Шмелеву было уже за тридцать, но он тоже не прочь был пофантазировать, а что может быть лучше, чем фантазии о новой жизни. И вообще, всякая любовь поначалу сказочна и прекрасна-люди познают друг друга, делятся самым сокровенным, не стараются подкусить один другого, уколоть в больное место - напротив, каждое слово отзывается эхом сочувствия, сопереживанием: «О, как ты мог так написать, как это созвучно мне, просто тебя никто не понимает!» Мысленно: «Одна я тебя смогу понять, одна я - приму с благоговением все, что ты пишешь. Жена не выдержала жизни поэта, была мещанка, хотела уют!»

По пустой квартире расхаживали коты, он собирал их по всему городу - рыжие, черные, тигровые - он поглаживал их большой ладонью, а они выгибали спины, потя-

гивались, в темноте по их шерсти пробегали голубоватые огоньки электричества, коты мягко вспрыгивали на подоконник и наблюдали происходящее за окном. Ночная улица звала их призывными шорохами. «Как это прекрасно - кошечки, они такие мягкие, такие грациозные, - восторгалась очередная пассия. - Если человек любит животных, - думала она, - то не способен на плохие поступки!»

В дом Кости на огонек залетали не только претендентки на роль жены поэта, в доме этом часто было шумно и многолюдно. Сюда заглядывали знакомые поэта, приходили надолго, заранее прихватив в ближайшем магазине незатейливую снедь. В их кругу поэт становился еще более словоохотливым и мог говорить, не прерываясь, по три, четыре часа кряду, а очередная возлюбленная жадно смотрела ему в рот, и глаза ее ширились от восторга. Все жаждали стихов. Тогда Шмелев начинал читать, произносил он слова четко, неистово, рубил мускулистой рукой воздух, весь напрягался, как будто хотел словом перевернуть мир, возратить ему изначальность и первичность чувств.

Когда женщины уходили и потихоньку исчезали друзья, он не мог успокоиться сразу, заваривал крепкий чай, набивал трубку табаком, подолгу дымил на кухне, а потом выходил в ночной город, забредал к знакомым, будил их, пытался что-то доказать полусонным людям, а когда те отказывались его слушать и оттирали к двери, уходил обиженный и разгоряченный, продолжая свои речи на лестничных маршах.

В один из таких вечеров после скитаний по городу он забрел на вокзал, где в пустом зале ожидания увидел девушку, закутанную в шаль и печально вззирающую на мир слезящимися глазами. Он подсел к ней, и она долгое время не хотела вступать в разговор, пока не поняла, что этот здоровенный мужчина не ночной вокзальный грабитель и со-

блзнить ее не делает никаких попыток. Через несколько часов, когда свет утра уже стал пробиваться в широкие вокзальные окна, а зал начал наполняться народом, она прониклась доверием к нему и рассказала о своих мытарствах.

Звали ее Сталина, из чего можно было заключить, что родители ее чтили вождя и свято верили в его непогрешимость; теперь же после всех разоблачений, имя это ей совсем не нравилось, и она пояснила, что друзья зовут ее Стеллой, что отец ее до пятидесят шестого года работал следователем, а потом спился, устраивал дома скандалы, и не утихомирился даже сейчас; разбитый параличом, он продолжает оставаться деспотом и издевается над постаревшей и уставшей от всего этого матерью. Сталина рано вышла замуж, ей не было еще семнадцати, когда она забеременела, муж ее, военный летчик, погиб семь лет назад, а она осталась с дочкой, и вынуждена была вернуться к родителям и выслушивать ежедневно вопреки полусумасшедшего отца и успокаивать плачущую мать. К тому же на работе ее невзлюбил начальник, в общем-то, неплохой человек, но сын бывшего председателя райисполкома, которого репрессировали в свое время, процесс по его делу вел отец. И теперь, очевидно, узнав об этом, начальник, пользуясь своей властью, во всем пытался принизить ее, и каждый ее промах становился поводом для обличительных речей и разговоров на общих собраниях.

Городок, где она жила, был маленький, все знали друг друга, каждый шаг был известен, дома обстановка становилась все невыносимее, над семьей их как бы висело проклятие, их чурались и старались обойти стороной, повсюду виделись ей осуждающие взгляды - от прошлого, связанного с отцом, было не уйти. И вот, прослышав от подруги, что в большом порту у моря есть много шансов на неплохую работу, что здесь требуются специалисты, что

можно даже выйти в море, поработать на судах, повидать мир, да и деньги неплохие заработать, она уволилась, оставила дочку на попечение своей матери и решила начать новую жизнь. Однако без прописки не смогла нигде устроиться, и вот теперь вынуждена возвращаться.

- Прописка! Это житейские мелочи! Немедленно едем ко мне, и без всяких разговоров, у меня достаточно места, на работу я устрою, это пара пустяков! - горячо произнес ее ночной собеседник.

Она не стала возражать, быстро оформила сдачу билета, и все закрутилось, завертелось. На стоянке такси было полно народа с очередного поезда, но удалось уговорить какого-то частника, и вот они уже мчались по утренним улицам к тому прекрасному зеленому уголку города, где среди тенистых каштанов на берегу прозрачного голубого озера был расположен дом Шмелева. Заминка вышла возле подъезда, когда надо было рассчитаться с парнем, любезно согласившимся их подкатить, у Шмелева, естественно, не было денег, а Стелла за возвращенный билет получила приличную сумму. Она тотчас же вынула крупную купюру, но у водителя не нашлось сдачи. Шмелев вышел из машины и надолго исчез, так что Стелла начала беспокоиться и нервно поглядывать по сторонам, но сомнения ее были напрасны, новый знакомый вскоре появился с батоном и какой-то банкой в руках, улыбающийся и бодрый.

Дома, в его квартире, ей сразу стало уютно и спокойно, они соорудили довольно-таки обильный завтрак, кухня наполнилась теплом и запахами, зафырчал чайник, нашлось тягучее вишневое варенье, все было просто здорово. Шмелев показал ей, где она может прилечь отдохнуть, сказал, чтобы чувствовала себя как дома, а сам уселся в единственное кресло, стоящее в большой комнате, и задремал, видимо, утомленный бессонной ночью.

Во сне его лицо разгладилось, приобрело детское безмятежное выражение, и Стелла долго смотрела на него, пытаясь определить - сколько же ему лет? Квартира ей понравилась, в родном городке они жили в своем доме, но там у них было печное отопление, причем заботы о печке полностью ложились на ее плечи, да и одна комната была занята, там лежал отец, из-за его боязни сквозняков комната та не проветривалась и напрочно пропахла аптечными запахами, так что они втроем - мать, дочка и сама Стелла ютились в одной комнате. Здесь же, у Шмелева, ощущался простор, который особенно чувствовался из-за отсутствия мебели, шаги раздавались громко и повторялись эхом.

Стелла разулась, ходила по комнате осторожно, чтобы не разбудить хозяина. А тот блаженно улыбался во сне и причмокивал губами. Привычная к домашней работе, Стелла набрала таз горячей воды в ванной и начала большую приборку. Почуввав в комнате нового человека, коты с любопытством взирали на нее, и, осмелев, прыгали через лужи и терлись боками о ее смуглые ноги. Если большая комната была почти пустая, в ней стояло только кресло, на котором сейчас спал хозяин, то в маленькой комнате ощущалось жилое помещенье, здесь был письменный стол, и у стены - сооружение, нечто в виде кушетки - пружинный матрас, водруженный на самодельные ножки.

Все нравилось ей в новом доме, и теперь она уже не кляла себя за то, что рискнула совершить столь далекое путешествие в поисках новой судьбы. Ясно, что хозяин квартиры холостяк, безусловно, он умнейший человек, знает досконально все, и хотя в стихах она особо не разбиралась, но и стихи, которые он ей читал, чувствовалось, были настоящие. Неужели, наконец, ей повезло в жизни! И даже не верилось, как все удачно складывалось, и самое главное - не надо возвращаться в затхлость малень-

кого городка, к людям, ненавидящим ее семью, к постоянным душераздирающим крикам умирающего отца, и его попрекам. Конечно, родители есть родители, она им обязана всем, никто не отказывается от своих родителей! Не ей судить их, даже отца! Время было такое, смололо его это время. И никого у них не осталось, все отступились, как от чумных! Она для них надежда, самый дорогой человек, и они для нее значат все, и без дочки жить она тоже не собиралась, но и от своего счастья грех убежать... Когда Шмелев проснулся, они сходили в магазин и закупили полную кошелку снеди. Стелла сварила картошки, открыли банку с фасолью, Шмелев ел с аппетитом, все ему нравилось, и Стелле было приятно, что он так ест.

Порешили, что она будет жить в большой комнате, что завтра же купят кровать, а сегодня переночует на диванчике, а он вообще уже спать не хочет и будет сочинять, так как нахлынуло на него, пришло вдохновение! Договорились, что вместе пойдут на химический завод, где у Шмелева директор - старый школьный товарищ, все решится с работой, а дальше уж ее дело, понравится работа, будет устраиваться, будет прописываться, площадь позволяет, он один в квартире.

Вся следующая неделя прошла, как сплошной праздник, Шмелев знакомил Стеллу с городом, они побывали во всех музеях и парках, ездили к морю, купались и загорали, а вечером сидели в уютных загородных кафе и наслаждались сочными дымящимися шашлыками. За эту неделю Шмелев успел познакомить Стеллу с шедеврами поэзии и теорией возникновения рас, а также с происхождением кошачьих пород. Ни разу за всю неделю он не допускал никакой, даже самой малейшей бестактности, и образ его поведения, его отношение к женщине, как к святыне, напоминали манеры рыцарей забытых веков. Даже

от визитов своих друзей Шмелев старался отказываться, те тоже поняли, что теперь дом у Шмелева стал почти семейным и заявляться сюда не столь прилично. Только один из друзей, бывший его капитан, Савельев, мог забрести в любое время, но был он тихий и нисколько не важничал, не выставял свое капитанство, а напротив, умел молчать и слушать. К тому же, Стелла чувствовала, что он за нее, ибо случайно услышала, как этот Савельев говорил Косте: «Учти, старик, здесь нечто такое, ну, не то, что прежде, тебе иная жизнь вверилась. За добро добром воздается, все это в стихи твои перейдет, я в тебя верю. Эгоцентризм твой хорош до поры, до времени». При чем здесь эгоцентризм, Стелла понять не могла, но осознала, что Савельев учит Костю не дурному, а разумному, что в чем-то сомневается, хотя, на ее взгляд, и нет никаких причин для этих сомнений. Все идет хорошо. Только вот жить на что-то надо, а стихи почти не печатают, стихи - не проза, не всем доступны - это уже она успела усвоить.

Быстро тающие запасы денег заставили Стеллу ускорить поиски работы, и ей, можно сказать, повезло, и хотя друг Шмелева - директор химического комбината - давно уже перевелся в Москву на повышение, совершенно незнакомые люди в отделе кадров проявили сочувствие и заинтересованность в решении ее судьбы, и, выяснив, что она может прописаться в городе, пообещали оформить ее в бактериологическую лабораторию, где работа была не утомительной и довольно хорошо оплачиваемой. Теперь дело было за пропиской, но Шмелев вот уже два года не платил за квартиру и, чтобы прописаться, надо было погасить эту задолженность, а он, по его словам, делать это не хотел принципиально, так как составил акт о необходимости капитального ремонта, и именно, чтобы ускорить этот ремонт, вел длительную осаду жилищной конторы.

Но и здесь вопрос решился довольно просто, начальник лаборатории, заинтересованный в нужном специалисте, добился прописки Стеллы в заводском общежитии.

Через две недели они с Костей впервые чуть не поссорились. Стелла, не очень-то любившая котов и испытывающая к ним чувство некоторой брезгливости, как-то привыкла к тем котам, что населяли дом. И среди них она особенно выделила Марса, большого рыжего увальня, необычайно ласкового и наиболее спокойного. Марс обожал спать в ногах у нее на раскладушке, которую она купила у соседки, твердо решив, после очередной зарплаты приобрести красный диван, приглянувшийся ей в мебельном магазине.

В то воскресное утро Марс провинился, он явился с улицы, прыгнул на письменный стол, и так получилось, что сбросил часть листов на пол, и теперь нес за это наказание. Стелла проснулась от его визга и от громких криков в соседней комнате. Она накинула халат, подошла к растворенной двери и увидела, что Шмелев держит Марса за шкурку на весу и лупит узким кожаным ремнем. Марс дергался, визжал истошно, но не царапался, по обыкновению всех котов, и не пытался вырваться. Но больше всего ее поразило сосредоточенное лицо Шмелева, он порол кота методично, при этом резко выкрикивал: «После дождя! Мокрыми лапами! По рукописям! Получай! Получай!»

Стеллу испугали глаза Шмелева, всегда такие задумчивые, искрящиеся в минуты радости, они сейчас как будто остановились, и была в них какая-то нечеловеческая жестокость.

- Костя, оставь! Что ты делаешь! - закричала она. Шмелев медленно повернул голову, посмотрел на нее невидящим взглядом и сказал: «Я не звал тебя!» Марс, воспользовавшись передышкой, сделал рывок и юркнул под матрас. Шмелев сначала бросился за ним, а потом, махнув

рукой, откинулся в кресле, опустил руки, как боксер в перерыве между утомительными раундами, и крикнул уже вослед Стелле, которая поспешила ретироваться: «Любовь к животным - это выучивание их, а не сюсюканье!»

Всю следующую неделю шли дожди, солнце не баловало Прибалтику в это лето, зато по вечерам в доме особенно было уютно, чувствовалось острее тепло и защищенность, а шуршание воды, журчание ее в водосточных трубах, шорохи деревьев, касающихся ветками окон дома, - все это создавало незримую музыку, и стихи вплетались в нее, и в ночной тишине завораживали своей ритмикой и очарованием. Прощеный Марс молча мурлыкал на коленях у хозяина, Стелла заваривала чай, пекла румяные пироги с яблоками и радовалась тому покою и умиротворенности, которые царили в доме.

В один из вечеров, когда дождь лил особенно бурно, и они под шум дождя долго и нежно говорили, так, обо всем, казалось бы, и в то же время ни о чем, Шмелев впервые нежно обнял Стеллу, и она, давно ожидавшая этого, не отпрянула, а прильнула к его крепкому, почти юношескому телу и робко поцеловала его в губы. Потом он поднял ее на руки и закружился по комнатам, и ей было приятно ощущать силу его рук и она сказала: «Милый Костя, у меня кружится голова».

Он осторожно опустил ее на пол, и они поцеловались. Еще никогда и никто так не целовал ее, тело ее расслабилось, но когда Шмелев стал расстегивать ее кофточку, она внезапно, как бы очнувшись, выскользнула из его объятий и бросилась в свою комнату.

Он не поднялся с кресла, не кинулся ей вслед, а она всю ночь не могла уснуть, терзалась сомнениями, мучилась, ворочалась на скрипучей раскладушке, и в мыслях ее то рисовались картины счастливой любви, то вдруг, рожден-

ные всем опытом жизни, унижительные сцены разрыва. Утром, влекомая силой, которая не хотела подчиняться ни сомнениям, ни разумным рассуждениям, она переступила порог его комнаты и плавным жестом скинула халат.

- Глупая ты моя! - сказал он и крепко обнял.

Днем их разбудил настойчивый звонок в дверь, и пожилая почтальонша вручила Стелле срочную телеграмму. Стелла не сразу осознала текст, но поняла, что случилось несчастье, она тихо ойкнула и опустилась на табурет, стоявший у двери. Сколько раз уже так случалось в ее жизни, именно в минуты счастья внезапно обрушивалось горе, как расплата, как наказание, как напоминание о том, что нельзя в этом мире забыть, отдаться полностью наслаждению, отгородиться от всего, что тебя связывает с теми, которых ты любишь и ненавидишь. Именно в эту ночь умер отец, отмучился, отстрадал свое, написанное ему судьбой, а она, ничего не зная, не догадываясь о его последних мучениях, была счастлива, и все предположения об интуиции, о предчувствиях - вздор, выдумки, почему же ничто не остановило ее, почему она даже не вспомнила об отце?

Теперь не время было терзаться и каяться, сразу масса проблем и на счету каждая минута, главное - билеты, потом позвонить на работу, может быть даже заскочить, нужно занять деньги, плохо, что в квартире нет телефона! Как там мама, совсем одна, да еще Катюша на ней, соседи, конечно, помогут, горе всегда объединяет людей. Как неожиданна всегда смерть, ведь ясно, что дни его были сочтены, и вроде бы готова она была к этому, и понимала, что не в силах он больше выдержать те мучения, что обрушила на него болезнь, что долго не продержится, но все-таки, казалось, что так и будет он все время лежать, покрикивать, требовать внимания к себе. Ни-

кому не хочется уходить из жизни, пусть мучения, пусть страдания, но ведь смерть не только избавление от этих страданий, это - ничто, пустота, уход, обставленный ритуалом, и гниение. Как же она решилась бросить их, как же? Оставить старушку мать с больным отцом, это непростительно. И, уже застегивая пальто, с небольшим баулом в руках, шагнув за порог дома, она навзрыд рыдалась и долго не могла успокоиться. А дождь перестал, и мягкое августовское солнце сушило улицы, на дворе звучно перекликались дети, где-то громко играла радиолка, и недоумевающие прохожие оглядывались на Стеллу, не понимая, чем вызваны рыдания.

Через десять дней она вернулась и вернулась не одна. Она не дала телеграммы о своем приезде, и Шмелев, возвратившись домой, увидел, как заканчивали выгружать вещи из грузовика. Получилось так, что Стеллин сосед - шофер, как раз был направлен за моторами в этот город, и это, может быть, послужило окончательным доводом в пользу отъезда; он же, этот шофер, купил у них дом, помог во всем, и теперь был занят разгрузкой. Вещей было много, он давно уже взмок, позвали на помощь соседей, долго и осторожно снимали беккеровский рояль, старинный и громоздкий, на земле, рядом с грузовиком лежали сундуки и чемоданы, стояли трехстворчатый шкаф и несколько стульев, на одном из них восседала толстая женщина, в траурной черной косынке и бархатном черном платье. Шмелев сразу понял, что это мать Стеллы, подошел к ней, поздоровался и сказал: «С приездом!»

Мать молча и выжидающе смотрела на него, потом из дома вышла Стелла, Шмелев обнял и поцеловал ее, и тут же рядом появилась шустрая девочка с большими зеленоватыми глазами, и он поднял девочку на руки и сказал: «Да ты совсем барышня, Катюша!»

- Я в этом году пойду в школу, - ответила девочка и улыбнулась очаровательной улыбкой.

Вечером, когда мать и Катюша улеглись, Шмелев и Стелла долго сидели на кухне, пили чай, говорили:

- Ты уж меня извини, Костя, что я не предупредила тебя, вот так взяла и привезла их, как снег на голову, но что мне было делать? - сказала Стелла. - Я не могла оставить их одних. Мать жила на пенсию отца, сама она никогда не работала, да и отец этого не хотел, он занимал солидные посты, теперь ей начислили какую-то сумму, до смешного маленькую, да и город тот не для нее был, многим отец жизнь испортил, люди ничего не забывают... Домик, конечно, жалко, ну да бог с ним, он уже тоже развалился, требовались мужские руки к нему, вот так все сложилось...

- Ну, что ты, не беспокойся, все притрется, - отвечал Шмелев, - я понимаю, тебе сейчас тяжело...

- Ты представить не можешь, как это страшно... похороны... ведь, кажется мне, что порой презирала его, а тут лежит, вроде бы и не он, совсем ничего от него не осталось, одни кости, он последние месяцы почти ничего и не ел, только попьет чего-нибудь, да и все...

Стелла замолчала, на глаза навернулись слезы. Костя пододвинулся к ней, осторожно обнял за плечи...

Присутствие матери в доме сразу облегчило жизнь. Клара Серафимовна, так ее звали, могла и сготовить, и в доме порядок навести, да и деньги, полученные за дом, позволяли ей делать всякие приобретения, так в первую же неделю она купила Шмелеву отличный шведский костюм, свитер и пару рубашек, а Стелле - дорогую шубу. С другой стороны, чувствовалось, что к Шмелеву она относится настороженно, понятно, что взгляды на жизнь у нее были несовременные. Стелла уверила мать, что Костя влюблен в нее, в Стеллу, надо же было уговорить мать стро-

нуться с места; да и в действительности, разве не было так, но мать не одобряла их жизни, она твердо было уверена, что жить вместе молодые люди могут только тогда, когда из отношения узаконены, закреплены на бумаге и освящены в церкви. Отсутствие этих условий ее смущало, ну, и потом совершенно непонятно было, как может жить и не работать здоровенный мужчина. «Но он же поэт, ты ведь поняла это, - объясняла ей Стелла, - он же читал тебе свои стихи, тебе они понравились?» — «Стихи, стихи, если они уж так хороши, - не успокаивалась мать, - их должны печатать, вот у твоего отца знакомый был, Марк Серебряков, так тоже писал стихи, это я понимаю, у него до войны уже машина была, ни у кого из наших машин не было, и не мечтали, а он вот подъедет к дому, как даст сигнал, вся улица сбегалась!»

Мать передвигалась по дому медленно, на улицу выходила редко, и то - в ближайšie магазины, брала с собой Катюшу, и если что-либо покупала, то посылала девочку домой за Шмелевым, чтобы тот помог донести. Сначала Шмелеву это было приятно, все же приобрелось в его квартиру, не куда-нибудь, но потом он как-то вспылал и сказал, правда, не Кларе Серафимовне, а Стелле:

- Предупреди ее, свою мать, что мне нельзя отрываться от творческого процесса, я не могу являться на ее зов, когда она этого захочет, ей нравится быть благодетельницей, так пусть не шляется по магазинам, а отдаст деньги тебе, и мы уж с тобой решим, что нам больше всего нужно, и как нам обставить квартиру!

После этого разговора, переданного Стеллой своей матери, та перестала звать Шмелева в магазины и дожидалась прихода с работы Стеллы, чтобы с ней вместе выйти на улицу.

И хотя Клара Серафимовна ни разу напрямую не высказала Шмелеву ничего, что думала о нем, ни разу ничем не попрекнула, не сделала ни малейшего замечания, но он все время ощущал, что она как бы неотступно наблюдает за ним - повсюду он чувствовал ее осуждающий взгляд. Неприятно было, что в доме находится человек, слушающий все разговоры, настраивающий против него Стеллу, ибо было ясно, с чьего голоса поет Стелла, когда пытается внушить ему, что не стоит часто приводить друзей в дом, что шумные компании вредно влияют на Катюшу, что пора уже сдать книгу в издательство и потребовать, чтобы уплатили аванс.

От друзей своих он отказываться не собирался, раньше, когда он жил один, к нему, часто заходили писатели и художники, засиживаясь за полночь, подолгу спорили, пели песни под гитару. Приходили и окололитературные девочки, млеющие от стихов и жаждущие завести знакомство со знаменитостями. Теперь все будто отпрянули от дома, конечно, не столь удобно петь или громко разговаривать по ночам, когда в соседней комнате целое семейство, да к тому же, маленькая девочка.

Целый месяц, примерно, никто не заходил, а потом приехала бригада литераторов из Клайпеды. Что-то у них не получилось с гостиницей, было уже поздно, и они, твердо рассчитывая на Костино гостеприимство, ввалились в дом шумно. Объятия, поцелуи - столько лет не виделись, что-либо им объяснить сразу было невозможно, да и как представить, квартиранты - не столь удобно, скажут, вот опустился, живет за счет того, что сдает комнату, жена - так тоже не так поймут; да и была среди клайпедчан поэтесса, которая сразу приглянулась Шмелеву, он знал ее давно, но тогда она только начинала писать стихи, заканчивала школу, была худущей и серенькой мышкой, а тут яви-

лась гранд-дама, выпустившая два сборника, член Союза, не в этом, правда, главное, просто ни одна из женщин ей и в подметки не годилась.

Стелле эта поэтесса не понравилась, стихи она читала манерно, губы у нее были толстые, как у негритянки, курила она подряд, держа холеную руку на отлете, в общем, выступала так, вроде бы она мастер всеми признанный, всякий раз ломалась перед тем, как что-либо прочесть, ждала, чтобы ее уговаривали, произносила строчки нараспев с придыханием.

Поэты-клайпедчане хоть и были заводные, но вроде ничего парни, умные, на язык острые, а один из них здорово пел под гитару, так что за душу брало:

*...Отгремели пушки нашего полка,  
Отзвенели звонкие копыта,  
Пулею пробито днище котелка,  
Маркитантка юная убита...*

Последние слова подхватывали все хором, и получалось здорово.

Клара Серафимовна выглянула из комнаты, послушала, потом попросила: «Потише надо бы, ночь уже, Катюша заснуть не может».

Но ее никто не услышал.

Потом уже, когда Стелла пришла и стала укладываться, Клара Серафимовна начала ей выговаривать, что она потакает этим сборищам, а надо поставить давно все на свои места, и можно это сделать, когда по закону живешь, а так вот приходится подлаживаться, но все равно уступать не надо.

Было уже три часа ночи, но Стелла никак не могла уснуть, понимала, что надо ни о чем не думать, не отвечать на ворчание матери, завтра на работу, надо выспаться. Комнату заливал лунный свет, она встала, задернула плот-

нее шторы, но даже через них продолжал сочиться желтый неестественный поток света. Захлопали двери, тренькнула гитара, по-видимому уходили в ночь клайпедчане, не стали оставаться — все стихло.

Стелла вышла на кухню, в ванной журчала вода, узкая полоска света пробивалась из-под двери. Стелла открыла окно и стала ждать, когда Костя выйдет из ванной. Августовская ночь наполнила кухню прохладой, приятно холодила тело, из сада тянулся яблоневый запах, звезды просматривались сквозь листву деревьев, и большая желтая луна повисла над кронами. Дверь ванной распахнулась и оттуда вышла губастая поэтесса, в лунном свете тело ее казалось почти темным, оливковым. Поэтесса прошла спокойно, даже не обратив внимания на Стеллу, и остались на полу мокрые отпечатки ног, и если б не эти следы, можно было бы подумать, что все это пригрезилось, так, плод ревнивой фантазии, ведь не могли же все уйти, а она одна остаться.

Стелла застыла на кухне, не в силах сдвинуться с места. В комнате послышался шепот, скрип матраса, потом дверь открылась, и оттуда вышел Костя, он показался ей великаном, желтые плавки и абсолютно белое тело, как будто вылепленное из гипса. Он буквально надвинулся на нее, и Стелла увидела его остановившиеся глаза, жесткие, не предвещавшие ничего хорошего. И действительно, он не стал ни оправдываться, ни объяснять ничего, а только бросил отрывисто:

- Не надоело за мной шпионить! Ступай к себе и не показывайся мне на глаза!

Неделю после этой ночи они не разговаривали. Костя иногда исчезал из дому, приходил поздно; правда, был очень ласков с Катюшей, играл с ней, ходил в зоопарк, читал букварь, вырезал картинки из журналов, а первого

сентября сам повел ее в школу. Катюшу не терзали сомнения, она познавала мир, и мир открывался ей своей праздничной стороной, школьная форма очень шла, цветы были красивые, в классе было интересно, появились в дневнике первые пятерки, и учительница была молодая и веселая, а от новых подруг Катюша вообще была без ума. Обо всех своих радостях она охотно рассказывала Косте, не замечая неодобрительных взглядов мамы и бабушки.

Стелла ждала, что Костя извинится перед ней, что все наладится, возражала матери, когда та нападала на Костю, оправдывала его. Мало ли что бывает, он ведь мужчина, они ничем не связаны, а сколько добра он им сделал, все притрется, ведь говорил же он ей искренне, что с ней хорошо, что у него не было такого периода успокоенности, что стихи у него даже пошли более точные.

И, действительно, Костя уже улыбнулся ей несколько раз, а потом как-то вышло, что она взяла билеты в кино, и он пошел с ней, и во время сеанса держал ее руку, несильно сжимал, прикасался плечом, и ей было тепло и уютно в зале, и она совсем не следила за тем, что происходит на экране.

После фильма они долго бродили по вечерним аллеям парков, и Костя рассказывал о задачах кинематографа, говорил ей как всегда страстно, как будто оспаривал что-то с невидимым оппонентом, она слушала его, не перебивая, и, казалось, что вернулись те дни - первые дни их встречи, и она все больше убеждалась, что уже не сможет жить без него. В то же время мать требовала какого-то твердого решения, и с каждым днем все больше и больше замыкалась в себе. Город этот был для нее чужой, и хотя здесь уже никто не мог попрекнуть ее делами покойного мужа, но зато и вообще никого знакомых не было, и не с кем было поделиться своими сомнениями.

Квартира все больше заставлялась мебелью, в комнату Кости тоже был приобретен взамен матраса на чурбаках шикарный зеленый диван, а когда появились в продаже литовские стенки, Клара Серафимовна, неведомо какими путями узнавшая о них, уговорила Стеллу купить такую стенку. Необходимо было расставить книги, томившиеся в мешках, да и рукописей было полно, разбросаны они были, где попало, а тут все бы нашло свое место. Клара Серафимовна сняла с книжки остатки своего вклада, и они решили, что привезут стенку сами, возьмут рабочих, пусть установят, соберут, как положено, пусть это будет сюрпризом, подарком для хозяина, в то же время Клара Серафимовна втайне надеялась, что все это приобретается и для дочки, ей жить здесь, никуда они не денутся, оба молодые, под одной крышей, все будет нормально, пойдут внуки, а ей деньги уже ни к чему.

Удачно очень получилось, что стенку привезли, когда Кости не было дома, заплатили двум рабочим из мебельного магазина и те в темпе ее собрали. Так что, когда он вернулся поздно вечером от своих друзей, в доме приятно пахло деревом, и лакированные поверхности стенки блестели в электрическом освещении, а пустующие полки ждали книг и рукописей.

Шмелев посмотрел на все это и вместо радостного одобрения скривился, но ничего не сказал. Он устал в тот вечер и ему очень хотелось спать, зато утром, когда Катюша ушла в школу, он вдруг взорвался, и если раньше он всегда старался говорить со Стеллой в отсутствии Клары Серафимовны, то теперь он не стал деликатничать.

- Я просил вас покупать это? - сказал он Стелле, обращаясь к ней на вы, и уже это не сулило ничего хорошего. - Угробили столько денег, для чего? Я заказал бы сюда полки, зачем мне это чудовище! Хотите быть благодетелями!

Какое вы имели право затаскивать эту гробницу в мою комнату, я, кажется, вам сдавал только одну комнату, а не всю квартиру!

Клара Серафимовна застыла на кухне с открытым ртом, а Стелла повернулась к окну, с трудом сдерживаясь, чтобы не заплакать. Всю ночь Шмелев разбираал стенку и переносил ее по частям в коридор. На следующий день в квартире опять появилась поэтесса из Клайпеды и хозяйничала на кухне так, как будто кроме нее никого не было, а Стелла была предупреждена, что если она чем-либо оскорбит гостью, то в момент вылетит из дому. Три дня и три ночи Костя и поэтесса по ночам пели песню про маркитантку, а на четвертый день Стелла не выдержала и твердо решила искать новую квартиру.

Но с квартирой было не так просто, никто не жаждал пускать к себе жилицу, обремененную маленькой дочкой и престарелой мамашей.

Все рушилось. И хотя поэтесса больше не приходила, но общее проживание с человеком, не понявшим ее душу, претило Стелле. К тому же мать ежедневно сыпала соль на еще не зажившую рану и все твердила о том, что на старости лет совершила невыносимую глупость, поддавшись на уговоры, прельстившись новой жизнью, а на самом деле, мол, вышло так, что теперь осталась бездомной. Пришлось искать пути к возвращению. Шофер, которому они продали дом, милостиво согласился временно пустить их к себе, этот же шофер, подгадав очередной рейс в Прибалтику, заехал за ними и помог загрузить контейнер. Все было кончено.

Во дворе под ехидными взглядами соседей Стелла с шофером грузили остатки вещей через высокий борт, почему-то окрашенной в красный цвет машины. Мать сидела в стороне, грозная и молчаливая, закутанная в пуховую шаль, она смотрела вверх немигающими глазами.

Подошедший к дому Шмелев остановился поодаль и изобразил на лице нечто вроде усмешки, рядом с ним был его друг флотский капитан Савельев, тот был весьма раздражен и что-то бубнил. Шмелев слушал его молча, потом не выдержал, повернулся к нему всем корпусом и крикнул:

- Ты их еще защищаешь! Я же тебе говорил, кто ее отец. Я не звал ее сюда со всей семьей! Они хотели сманить меня золотым тельцом! Спеленать уютом и лишить свободы! Творец должен быть свободен, иначе грош ему цена!

Соседи, молча наблюдавшие отъезд, насторожились в ожидании скандала. Стелла сделала вид, что ничего не слышит, мать по-прежнему сидела неподвижно.

- Остановись, - сказал Савельев, на этот раз тоже повысив голос, - я предупреждал, остановись! Ты не принял в расчет любовь!

- Это не любовь, это покушение на любовь! - выкрикнул Шмелев.

Мотор грузовика зафыркал, мать Стеллы и Катюша забрались в кабину, Стелла вскарабкалась в кузов, Савельев попытался помочь ей, но не успел.

Шмелев молча прошел мимо соседей и исчез в подъезде. Савельев потоптался у дверей, махнул рукой и медленно двинулся в сторону автобусной остановки.

Стоял ноябрь, быстро темнело, Шмелев сидел в своем кресле, один в доме, за окном в этот вечер бушевал сильный ветер, раскачивая деревья, освещенные электрическими фонарями. Ветки бились в окно.

Марс, сжавшись в пушистый ком, дремал в углу и вздрагивал при каждом шорохе. Была идеальная обстановка для творчества, но ни одна рифма не лезла в голову - так только пустые разрозненные слова, не имеющие никакого смысла.

## СОВМЕСТИМОСТЬ

(из Аренсхоопского дневника)

Человек живет в ландшафтах, привыкая к ним или отторгая их, любя или ненавидя. Он пытается присвоить себе воды и земли. И тогда в ландшафт вбиваются пограничные столбы. Их опрокидывают войны. И человек или гибнет на этих войнах, или теряет родину, или обретает новую. Ландшафты же остаются. И остается море, на лоне вод которого нельзя построить ни «китайскую», ни «берлинскую» стены. В Аренсхоопе оно точно такое же, как и в Светлогорске, и на Куришской косе. И там у себя, и здесь весенними вечерами я брожу вдоль кромки прибоя и никогда не устаю любоваться этим вечным, неустанным движением волн, этой призрачной дымкой над горизонтом, этим изменчивым цветом воды... Море и покой - что еще нужно человеку? Вот так бы сидеть на берегу, прямо на песке, еще чуть влажном от дождей, слушать крики чаек, щуриться от солнца и воспринимать жизнь свою, как немислимо щедрый подарок... В маленьком городке, спрятавшемся на косе между морем и озерами на севере Германии, в городке художников...

Тишину нарушают лишь крики чаек и корабли, призывно гудящие вдалеке... Отсюда, с берега, их почти не видно, они вязнут в полосе тумана, лишь взблеснет иногда на фоне моря солнечный зайчик, это луч наткнулся на корабельный иллюминатор. Мерно плещет море, чайки задумчиво смотрят на пустынный берег, склонив клювы. Замолкают вдали корабельные гудки, - и наступает безмолвие. И тогда голоса звучат во мне, голоса, оборванные морем, голоса, просящие о спасении... Я ухожу по песчаному берегу вдаль, туда, где совершенно нет никого. Сажусь на песок и смотрю на море. Что хранит па-

*мять волн, что сохранила эта вода, кого омывает она в кубриках затонувших кораблей? В ней растворились женщины, которых полицаи сталкивали на тонкий лед у Пальмникена, и те, кто тонул на «Густлове»... Предсмертные крики давно слились со вздохами моря...*

*Вода и песок сохраняют в своей недоступной нам памяти историю, которую не всегда хотят помнить люди. Ненависть не победить ненавистью. Смирению и терпимости учит природа.*

*Научи меня слово молвить, трава,  
научи омертвелым быть и слышать  
долго, и молвить слово, камень,  
научи собой оставаться, вода,  
и ветер, не выпытывай ни о чем...*

*Строки Иоганнеса Бобровского помогают многое осознать. Воспетая Бобровским, бывшая Пруссия, край озер, лесов и песчаных берегов. Он лелеял ее, но сумел полюбить и места, где я родился. Пустошка, Опочка, Псков, Ильмень — названия его военных стихов - он там воевал в войсках вермахта, он видел мой город - многострадальные Великие Луки - во все пожирающем огне. Сердце его тосковало от боли. Теперь я живу на его родине... В бывшем ганзейском городе, который стерла с лица земли английская авиация. Бобровский в ту августовскую ночь был далеко - в России. Он стал свидетелем уничтожения моего города и гибели моих земляков. В Берлине, наверное, он тосковал по своей покинутой родине. Только страдания и тоска могли родить его строки. Он помог и мне полюбить край, где волею судьбы прошла вся моя жизнь. Край песчаных дюн и голубых озер...*

*Курильская коса и Нида, давно избранные художниками для своих пленэров, стали на долгие годы моим прибежищем и спасением. Я люблю повторять слова Иосифа Брод-*

ского: «Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря...». Восточная Пруссия была провинцией для тоталитарной империи, она и осталась провинцией, что в переводе означает - завоеванная страна. Рядом почти европейские города Прибалтики, в Литве вела Куришская коса. Сегодня пограничный пункт разделит косу, а раньше можно было брести по ней, почти никого не встречая на своем пути...

Узкая полоска земли, уводила в другую страну, и сладкое одиночество обреталось на ней. Цепочка следов уходит в дюны, углубления на песке быстро заполняются. Ветер выравнивает пологую золотистую поверхность. Никто не идет по твоему следу. Небо розовеет, как деревенская невеста. Брачная ночь еще впереди. Ты свободен, а потому бредишь, не ощущая усталости по скрипучему песку. Песок тоже движется там, в глубине дюны. Под его слоями память о засыпанных прусских деревушках. Низкорослые сосны пытаются остановить движение, вцепляются корнями в высохшую почву, хватают и тебя за распахнутую рубашку. Густой ельник окаймляет дюну. Бороды колючей хвои врастают в песок... На литовской части косы стерильна чистота белокаменных дорожек. Они проложены в тихий и уютный город, где в песок вросли белые дома с красными островерхими крышами. Деревянные ступени, ведущие к заливу. Лестница у дома Томаса Манна. Сухопарый романист с обвисшими усами незримо сходит к воде по скрипучей лестнице. Великий прозаик мог бы построить свой дом не в Ниде, а в Аренсхоопе. Ничего бы не изменилось. Правда, он смог бы общаться с Эйштейном, выбравшим Аренсхооп. Здесь в Аренсхоопе он полюбил бы не только море, но и таинство сиреневых озер...

Ночью в свете луны озёра Аренсхоопа, видимые с веранды, кажутся желтой переливающейся полосой, превраща-

ются в поля зрелой пшеницы. На небе причудливая ткань облаков, словно кто-то вышивал макраме, стягивая пушистые узлы. И непрерывна мелодия, которую выводят лягушки, накликаая дождь. Мелкие первые капли уже стучат по дощатому полу веранды. Теплый дождь ускоряет цветенье. Из окна я все время видел корявые ветви дерева, мне казалось, что оно давно высохло, и просто никто не хочет его срубить, потому что причудливые переплетения ветвей рождают абстрактные фигуры, наподобие той, что стоит в садике у нашего дома - изломанные прутья металла, окрашенные в малиновый и черный цвета. Вот и дерево здесь в роли скульптуры. И вдруг сегодня утром смотрю в окно и - о чудо! - на голых ветвях множество белых цветов. Да это же яблоня! Дерево ожило, и на ветвях проклюнулись мелкие листочки. Те, кто приедут сюда осенью, увидят красные плоды, услышат по ночам глухие стуки. Это будут падать яблоки. И чью-то мысль озарят они пусть не ньютоновским открытием, а новым сочетанием слов. Слова, рожденные падением яблок, лягут в строку. И тот, кто ее запишет, закроет глаза — и увидит, как цветет яблоня. Мне же не надо закрывать глаза—белые цветы заполняют всё окно.

Цветут яблони и в моем саду, там, где много заброшенных хуторов и река Преголя излучиной огибает поля, змейкой блестя за зарослями ежевики. Эти яблони посажены мной на земле, ставшей родной для сына и внуков. На этой земле тоже живут художники, они выкрадывают у ландшафта свет и краски и создают свой мир. В этом мире старые мифы оживают, и городам возвращается прошлое. Замки, построенные рыцарями, семь кёнигсбергских мостов и узкокольный Кант, прогуливающийся по ним, и распевующий литовские дайны пастор Донелайтис, и еврейский мудрец Салантер, взывающий к Богу о милосердии, и зальцбургские переселенцы, ищущие спасения в веротерпимом крае. И этот край наш, обитель многих, всматривается в мольберты, как в зеркало, и пытается разгадать себя. И старается совместить яркие цвета весны и осеннюю белизну туманов. И человек в ландшафте ищет себя...

## К. и АННА

Деревянный дом между озером и морем. Металлическая калитка закрыта на ключ. Жители маленького городка обходят строение стороной. Туристы подолгу стоят перед надписью: «Kulturhaus Fomas», но нажать на кнопку звонка никто не решается. Кто такой Fomas никто толком объяснить не может. Дом наполнен странными обитателями, иногда они разгуливают по верандам и что-то бормочут себе под нос, раскуривая трубки.

Один из них сидит за письменным столом в своей большой комнате, в спальне манит широкая кровать с пуховым одеялом. Никто здесь не говорит на его языке. В туалете так чисто, будто здесь стерильная операционная. Душ - главное развлечение. Сильной, холодной струей обдать тело, потом повернуть кран - и от горячей воды кожа краснеет. Он знает, что должен писать. Каждый день выдумывать свои миры. Светит ярко солнце в стеклянную дверь. Дверь ведет на веранду. Там можно подолгу сидеть и смотреть на полосу озерной воды вдали. На веранде белые скамейки и такой же белый стол. Стоит только открыть дверь - и, перейдя улицу, можно по коричневой, деревянной лестнице выйти на пляж. Молчаливые старушки бродят вдоль полосы прибоя. Их сопровождают столь же молчаливые старики. Он прячет ключ в большой металлический шкаф. Ему тоже много лет, правда, не столько, сколько этим старушкам. Он прожил много придуманных жизней. Теперь он сомневается: «Зачем я выдумал тебя, Анна?» Это о героине своей повести. Стоило завести ей любовника, и все бы пошло по-другому. Анна живет прошлым. Иногда она приходит ночью. Наверное, долго блуждает среди домов. Приходит усталая, раздраженная. Она

не знает, что с ней случится завтра. Она не хочет родить, она боится обречь на мучения еще одну жизнь. Она понимает, как страшно умирать молодой.

Ему кажется, что он идет с ней вместе вдоль берега моря морозной ночью, на ней порванная рубашка, ноги в деревянных башмаках, снег обжигает холодом. Конвойные теснят к воде, там, на льдинах, стонут люди. Щелкают выстрелы, словно костяшки счетов. Длинная вереница женщин, обреченных на смерть. Горстями схватывают снег, чтобы утолить жажду, снег соленый - от воды моря или от крови. В темноте ночи ничего нельзя разобрать.

«Почему ты решил, что я все это могу выдержать?»-спрашивает Анна, и уже более настойчиво, даже требовательно, - почему ты сделал меня еврейкой?» Он думает, может быть, она права. Не лучше ли ей скрыть, кто она. Пусть будет простой немкой. Она ведь белокурая. Ночью, даже в темноте, светятся ее волосы. Аккуратная немка, наводящая порядок в доме, получающая посылки с фронта, из России. Недовольная тем, что на одежде иногда попадают пятна крови, которые так трудно отмыть. «Хочешь, Анна, я уничтожу все, что написал, не бог весть уж как много. Я забуду все твои мучения, ты родишься в очень обеспеченной семье, все успеют эмигрировать в Австралию, до «Хрустальной ночи», ты будешь говорить по-английски». - «Нет, - говорит Анна, - я уже столько испытала, я спаслась на том берегу, где почти никто не спасся. Я должна жить за них, рожать детей!» Он изумлен: «Ты же не хотела? Ты же сама говорила - зачем продлевать род тех, кто обречен?»

Она растворяется в темноте ночи, исчезает в листве дерева, растущего под окном. Утром на дереве появляются белые цветы. Он понимает - это ее дети. Он открывает окно и видит, что над деревом кружит орел. Имперский орел косится выпуклым глазом на белые лепестки. Тогда

он бежит на кухню, перепрыгивает через несколько ступеней, он спешит - надо отогнать орла. Он пытается объяснить тугоухому сторожу, что ему нужно оружие. Сторож наверняка служил в вермахте. Крутой подбородок, бесстрастные глаза. Вчера он говорил: «Я никого не убивал! Я был во вспомогательных войсках!» Сторож ничего не понимает, твердит, что давно сдал оружие. Приходится довольствоваться большим шестом, стоящим у входа. Здесь все есть - и теннисные ракетки, и велосипеды, и футбольные мячи, и вот шест - а вдруг поселится тот, кто любит прыгать с шестом. Если бы прыгун поселился в это утро, он смог бы испугать орла. Как жаль, думает писатель, что я не люблю прыжки с шестом. Писатель в растерянности.

Назовем его **К**, он действительно из города К. Так вот, **К** крадется к яблоне, волоча шест по траве, умытой росой. Сторож в бинокль - наследие вермахта - следит за движениями **К**. И вдруг громко каркает ворона, вспархивает и кружит над домом. А где же орел?

**К** и сам не знает, может быть, орел превратился в ворону, а может быть, улетел искать другого орла, чтобы стать двуглавым. **К** счастью, он не тронул ни одного лепестка. Они такие нежные как новорожденные дети.

**К** ставит шест на место и хочет ускользнуть к морю. «Запрещено» - написано на указателе. Написано на чужом языке, значит, не относится к нему. Но сторож может доложить о нарушении порядка. Лучше охранять цветы, скоро они превратятся в большие краснобокие яблоки. Надо не прозевать - собрать эти яблоки. Иначе они будут падать по ночам, стуком своим распугивая пишуших.

В этом доме все пишут - называется культурхауз, некоторые пишут, не вставая из-за стола-день и ночь. Их никто не видел, даже их герои стараются не мешать своим создателям, не ходят по дому, не мечутся, словно Анна. Их

ожидает долгая, счастливая жизнь. Для разнообразия - измены, разводы, страсть, эротика.

И никогда их не поведут вдоль берега, чтобы расстрелять в холодной ночи, чтобы столкнуть на лед - никогда.

В соседней комнате старая финская писательница сочиняет роман о молодом гея. Ее и **К** разделяет плотная белая стена, но даже эта стена не может заглушить сладострастные стоны гея. **К** никогда не видел финской писательницы, говорят, что она слишком толстая и у нее короткие ноги. Гей один раз по ошибке залетел в его комнату - у него была голубая кожа, и он был совершенно голый. Хорошо, что его не видела Анна. Она ведь женщина очень строгих правил. А гей метался от стены к стене, словно оса, залетевшая с улицы. Пришлось открыть стеклянную дверь веранды и долго махать полотенцем, пока он не выпорхнул. В ту ночь за стеной были такие отчаянные стоны. Гея насиловали до утра. Вот, что может выдумать финская писательница! Говорят, ее нельзя кормить по вечерам, и сторож отбирает у нее шницеля. **К** знает - писательница не может пройти через дверь. Всякий раз она застревает, и приходится вызывать рабочих. Когда ее проталкивают в комнату, трясется стена.

Хуже обстоит дело с другим соседом - долговязым, бритоголовым документалистом. Его герои не выдуманы, они существуют и существовали до него и без него. И когда они приезжают сюда, то весь дом заполняется таким шумом, будто здесь происходит футбольный матч. Все они, несмотря на годы, такие подвижные, все они такие здоровяки и пьют подряд пиво, и поют песни своей молодости. Все они были выселены из восточных земель, оттуда, где живет сейчас **К**. Документалист записывает их воспоминания о том, как они служили рейху, как они были гитлерюгендовцами, и как они теперь тоскуют по своей потерянной родине.

Анна боится их, в день, когда они съезжаются сюда, Анна старается не показываться. Она ведь хорошо помнит, как безусые, ухоженные мальчишки стреляли из карабинов по бегущим женщинам, и как они шумно радовались, если жертва падала с первого выстрела. Они долго искали тогда Анну, спрятавшуюся в навозной куче. Они мочились рядом на снег и стреляли в воздух.

Документалисту они рассказывают, как стреляли в воздух. По женщинам - никогда. Поднять карабин на женщину - да разве даже мысль такую можно допустить. Нет, они были тогда настоящими рыцарями. Кто же стрелял? Как, разве вы не знаете, - говорят они своему документалисту - полицаи! Полно было всякого сброда, полно лицаев - украинцев, эстонцев. Отряд «Хивис» - так и запишите.

Это правда? - спрашивает **К** на другой день у Анны. В доме опять тишина, ни звука. Только слышно, как тяжело вздыхает Анна. Конечно, правда - говорит она. Ее саму ведь чуть не пристрелил полицейско-украинец, когда их - несколько тысяч женщин - гнали к морю, всю ночь они шли, и если кто-то из женщин останавливался или нагибался за снегом - пристреливали сразу. А другой, пожилой, пожалел Анну. Он сказал: «Ты такая молодая, беги, когда совсем стемнеет, беги! Вас всех убьют, всех!»

По вечерам здесь простуженными осипшими голосами кукуют кукушки. Их ровно столько, сколько пишущих. Когда загадывает **К**, сколько ему осталось - отсчитывается всего один год. Когда **К** ничего не загадывает, кукушка кричит очень долго, это для долговязого документалиста, ведь он такой молодой, он не курит и не пьет. Даже когда к нему приезжают его герои. **К** из той страны, где не особенно заботятся о себе. Он может курить подряд, и если пьет, то впадает в запои, и все уже давно заметили, что он

разговаривает сам с собой. Они, конечно, ошибаются, он говорит с Анной. Он ползает у ее ног и скулит, словно побитый пес.

- Прости меня, Анна, - говорит он, - знаешь, давай в следующей главе ты лишишься памяти. Небольшая автомобильная катастрофа. И ты все забудешь. Ты начнешь новую жизнь. Тебя полюбит миллионер и увезет на Канары! У вас родится много детей. И никто, даже ты сама, не будет знать, что ты еврейка!

- Успокойся, - говорит Анна, она тоже выпила вместе с ним, она гладит его по голове, как провинившегося ребенка. - Ничего ты не сможешь сделать. Память живет в генах. Ты слышал о генетической памяти?

Она слишком умна, Анна. Слишком много читает. И знает, в отличие от него, немецкий. Надо прятать от нее газеты. Сторож приносит каждому ворох газет. От них так трудно избавиться. Сжигать газеты на веранде не разрешают, штрафуют пожарники. Они постоянно наблюдают за этим домом со своей красной вышки. Их не проведешь.

Разрешается сжигать свои рукописи в котельной. Но только после прочтения их специальной комиссией из правления фонда «Fomas». **К** только недавно узнал, что «Fomas» - не фамилия, он-то думал, что это основатель фонда, меценат и благодетель. Вовсе и нет. Фонд носит имя святого Фомы. Того самого, Фомы неверующего. И это справедливо. Тот, кто сочиняет, должен во всем сомневаться, пока сам не вложит свои персты в раны.

Анна тоже во всем сомневается, она пытается всех оправдать. В воскресенье возникла в дверях в полосатом халате, на груди нашита желтая шестиконечная звезда, от светлых переливающихся волос не осталось и следа.

Он пытался ее кормить, от всего отказывалась. Попросила хлеба. Нашел завалившийся маленький кусочек. Она

стала сосать хлеб, была очень довольна. Вспоминала: «Когда меня насильовали солдаты, дали целую буханку, пока они сопели надо мной, я почти все успела съесть. Я была счастлива! - Он удивился: не выдумывай, я об этом никогда не писал! - Это было позже, уже после освобождения», - объяснила она. Это были наши солдаты, - догадался он. «Какая разница, чьи солдаты», - говорит Анна.

Потом он пошел ее провожать, они соскользнули с веранды вниз по водосточной трубе. Кругом все цело. На берегу моря Анна скинула свой халат и голая пошла по волнам. Закатное солнце сделало ее фигуру красной. И вода была тоже красная.

- Куда ты, Анна, - крикнул он, - ты же утонешь!

Она обернулась, он увидел, что опять по ее плечам рассыпались переливающиеся волосы. Наверное, она усмехнулась.

- Фома неверующий! - сказал кто-то вдали.

**К** оглянулся. Никого не было. Берег был безмолвным и пустынным. Только прибой шумел монотонно, медленно вылизывая красный песок.

Ему удалось вернуться незаметно, Было не до него. Опять съехались гости к документалисту. Пели песни своей юности, притаптывали в такт сапогами, сохранными как реликвия, сапогами тех лет. Даже фюрер тогда ходил в сапогах. Да и на родине **К** вождь- убийца тоже не признавал другой обуви.

Где вы видели сейчас человека в сапогах. Но портянки, их так легко накручивать на ноги, и не надо никаких носков. Какое старое и грубое слово - портянки! Его давно уже изъяли из словарей. Забыли - но не все же...

Долговязый документалист, когда гости разошлись, пытается оправдаться перед **К** : «Мы, наверное, очень мешали вам. Как движется ваша повесть? - он давно про-

нюхал про Анну. - Я сочувствую, - говорит он, - столько испытать! Моя мать тоже хлебнула горя. Ее выселили через год после окончания войны, дали два часа на сборы и затолкали в вагон!»

- Но ее никто не пытался расстрелять! - восклицает **К**.

- Ну что вы, - говорит документалист, - расстреливали только тех, кто был связан с наци. Зачем же расстреливать мирных пожилых женщин!?

Они говорят на разных языках, но что удивительно, иногда понимают друг друга.

Даже Анна знает о судьбе матери документалиста. Она говорит:

- Ты не поверишь, но мне было очень жаль их. Людей изгоняли из домов. Почти ничего не давали увезти с собой. Многие толкали впереди себя детские коляски. В колясках было самое необходимое. Ребенок сидел на вещах. Дети были как неживые. Я тогда хотела помочь фрау Герде, меня оттолкнул солдат, крикнул: и ты хочешь с ними! Помнишь фрау Герду?

Конечно, как ему не помнить. Ведь это фрау Герда нашла полуживую Анну в навозной куче. Муж у Герды был очень строгий. Накричал, чуть ли не с кулаками бросился: «Ты не видишь, что это еврейка?» Герда спокойно отодвинула его плечом, сказала: «А что евреи - не люди... » Потом отмыла Анну и устроила ей уютное гнездышко в хлеву, и такой там был теплый бок у коровы и такой вкусный жмых. Она ведь, Герда, рисковала - нашли бы Анну и не миновать расстрела ни ей, ни Анне, ни детям Герды...

И зачем я связался с тобой, Анна, говорит **К** и в отчаянии мечется по запертой комнате. Сегодня не велено никого выпускать, даже вход на веранду закрыли. Ждут какую-то комиссию. Должны проверить - кто и что написал. Не кормить же даром. И еще - большие расходы воды, слиш-

ком подолгу все пользуются душевой - затраты велики, а отдачи никакой. Да и пишут каждый на своем языке, прочесть почти невозможно, почерки у всех подпорчены. На компьютеры, увы, до сих пор не выделили фонды...

**К** долго думает, куда спрятать рукопись. Ту, в которой живет Анна. Для комиссии у него есть другие страницы - так, мелкий детективчик, сценарий для сериала, сейчас это в любой стране ходовой материал. Обитателей сериалов полно в подвале. Там стоят стиральные машины, и там очень много разных закутков. Там легко спрятаться. А вот куда деть рукопись? Это **К** никак не может решить. Может быть и вправду сжечь. Запомнить текст - и сжечь. А можно и не запоминать, Анна и так все знает. Ночью он принимает решение. Сворачивает листки в трубочку, упаковывает в целлофан, туго перевязывает, высовывается в окно и подвешивает целлофановый пакет на яблоню. Яблоня вся в цветах - никто не заметит, хотя и ночь светлая. Полнолуние...

В доме идет подготовка к приезду комиссии. Все почистили до блеска. Вызвали целую бригаду. По лестницам ходят пожилые толстые женщины с ведрами и швабрами. Подолы у них подогнуты, на руках резиновые перчатки. Одна из женщин на кухне разделяет огромную рыбину. Сторож принес два ящика пива. Утром к дому съезжаются отливающие голубым блеском машины. У железной ограды выстелена ковровая дорожка. По ней ступают степенные дамы в очках, одна из них несет пуделя со злыми, похожими на черные пуговицы, глазами и бережно прижимает его к необъятной груди. Замыкает шествие мужчина во фраке, он идет, выпятив грудь, украшенную большим орденом. И потому, как с ним услужливо раскланивается сторож, видно, что он самый главный. Может быть, остальные все просто переводчицы.

Комиссия заседает в большом зале, называется это не просто заседание, а открытые чтения. Каждый из обитателей дома должен прочесть несколько страниц своего текста. Вызывают по одному, но в зале такая акустика, что каждое слово слышно в любой комнате.

**К** и не знал, что здесь столько обитателей. Говорят сразу на многих языках. Он ничего не может понять. Знает, что когда будет его очередь - на стене загорится сигнальная лампочка. Ее вчера вставил сторож и жестами объяснил для чего она.

Между тем, крики усилились, он понял, что одного из пишущих изгоняют из дома. Наверное, и меня ждет такая же участь, думает он, что я могу прочесть, какая-то белиберда, словно и не я это написал, Кто поверит? Таких сюжетов тысячи, на всех телеканалах - мыльные сериалы.

На мгновенье все стихло, и даже потемнело, он выглянул в окно - солнце спряталось за облака. Ему захотелось вырваться, убежать к морю, лечь у воды, чтобы волны накатывались на тело, распластать руки, слиться с песком. Но двери были закрыты. Даже завтрак не принесли, хорошо, что у него были запрятаны две бутылки с капустным соком. О каком завтраке может идти речь, если обещали праздничный ужин. Может быть, комиссия и намерена изгнать как можно больше, чтобы не было толчеи на ужине, чтобы больше досталось и переводчицам, и тем, избранным, которые продолжают свои рукописи. Понеслось скрип деревянных ступенек, крикливые голоса совсем рядом, - это вся комиссия в полном составе проследовала мимо его дверей, щелкнул замок - и они вошли к финской писательнице. И это естественно, ведь она сама не могла выйти из комнаты, чтобы предстать перед своими судьями. Он услышал тихий плач, почти скулеж. Почему, подумал он, у толстой женщины такой

плаксивый голос. Ее стали успокаивать, принесли нашта- тырь. Запах проник к нему в комнату, острый, удушли- вый. Накинут на рот платок, несколько раз дернется - и конец мучениям. Она уже не плачет. Наоборот. Голос ее окреп, стал требовательным. И все соглашаются с ней. Она уже здесь давно, никто не помнит, когда она посели- лась, говорят - прилетела на собственном самолете, была тонкокожей хохотушкой и, как и все финны, много пила. А когда пьешь, приходится много закусывать. Во всем виновато изобилие, в лагерях выдавали по сто граммов хлеба в день и миску баланды - горячую воду, в которой плавают несколько крупинок. Ей надо меньше есть, и тог- да все у нее получится. Кажется, об этом и говорили чле- ны комиссии, во всяком случае, он услышал, как много раз повторяли: «кайне эссен... ». И потом всех перекрыл мужской голос. Очень хорошая, отчетливая дикция. Оче- видно, это была хвалебная ода, голос все повышался, захлебываясь от восторга.

Потом все они, члены комиссии, медленно спускались по лестнице, продолжая восторженно охать. Значит, фин- ской писательнице повезло, подумал **К**, и напрасно она скулила, в ней положительно что-то есть. И ведь ее герой тоже гонимый...

Теперь должна была настать его очередь, и он неотрыв- но смотрел на лампочку, укрепленную в плафоне, похо- жем на пенал. Но лампочка не загоралась. Кто-то грузный спустился по лестнице, ступеньки прогибались и охали. Недавно ночью **К** уже слышал такую поступь. И когда открыл дверь, увидел, как от его комнаты метнулась ог- ромная тень, он сначала подумал, что это гей прилетал к финской писательнице, но тень была столь велика, что явилась мысль о некоем великане. И он удивился, люди большого роста редко становятся писателями, у них слиш-

ком много сил, и они хотят жить сами, а не создавать себе подобных, чтобы не было тесно на земле.

Теперь, видимо, настала очередь этого гиганта - конечно, они постараются от него избавиться. Можно представить, сколько приходится завозить продуктов только для него одного. И, действительно, после некоторой тишины, ничего хорошего не сулящей, раздался грохот, словно обрушилась черепичная крыша. Стена в комнате **К** мелко завибрировала, он сжался - и в этот момент на стене вспыхнула лампочка, а потом зажглась зеленым светом. Он встрепенулся, и хотя ждал этого мгновения, все же вспышка застала его врасплох, в последний момент он вспомнил, что давно не менял рубашку, и начал суетливо натягивать поверх нее оранжевый свитер. В этом свитере, кстати, **К** когда-то выходил в рейс на рыбацком траулере, и сейчас ему в нос ударил острый запах аммиака и мукомолки - рыбного крематория, в котором из рыбы они вываривали коричневую жидкую массу. Вот также, наверное, варили мыло там, в Дахау... Менять свитер было поздно. Можно обозлить комиссию. Лампочка мигала, не переставая. Щелкнул автоматический замок. **К** ринулся к двери и буквально скатился по лестнице. По инерции он резко распахнул дверь зала, по навощенному полу заскользил к столу.

Поначалу он зажмурился от яркого света, бившего в лицо, стоял некоторое время, опустив голову, а когда решился посмотреть на стол, за которым восседала комиссия, то его охватил такой страх, будто сейчас решалась не судьба его творений, а предстоит услышать приговор - жить ли ему дальше. И когда он увидел, что на плече председателя уселся ворон - он понял - все кончено. На столе лежал раскрытый целлофановый пакет. А ворон косил взглядом на этот пакет и самодовольно раздувал зоб, словно ожидал в награду за свое предательство обещанный сыр.

В этот момент переводчицы разом встали из-за стола и зааплодировали, у каждой из них на платье была нашита желтая шестиконечная звезда. Аплодисменты бывают по разному поводу, подумал **К**, в тридцать седьмом аплодировали, когда «врагов народа» приговаривали к смерти. А почему - желтая звезда? Хотят показать, что все уже знают про Анну, догадался он. Это конец...

Переводчицы разом сели, и тогда заговорил председатель, сопровождая свою речь движениями костлявых пальцев. Ворон съежился и еще сильнее наклонил голову. **К** ничего не мог понять, мелькали лишь известные имена: Сервантес, Шекспир, Гёте, Булгаков, Зюскинд...

Неужели он хочет сравнить меня с ними, подумал **К**. Скорее всего он ставит их в укор мне. Всю эту речь **К** выслушал стоя, не решаясь сесть в подвинутое к нему белое кресло. Кресло это было с механизмом для поворота и еще с каким-то приводом для наклона спинки, и очень напоминало электрический стул. Чем больше смотрел на него **К**, тем меньше ему хотелось опуститься в него. Наконец, председатель закончил свою речь. И тогда одна из переводчиц, пожилая дама, похожая на сову, начала говорить. **К** впервые услышал столь длинную речь на своем языке.

Сначала переводчица долго перечисляла титулы председателя. Тот оказался не простым орешком. Почетный доктор Кембриджа и Оксфорда, член Балтийской академии, и даже член-корреспондент Российской академии наук, награжденный орденом английской королевы, автор монографии о влиянии литературы на жизнь общества и составитель Энциклопедии Магдебургского университета... Зачем все это, подумал **К**, они - что? - хотят меня запугать званиями, хотят, чтобы я почувствовал свое ничтожество...

Переводчица, закончив перечень всех заслуг председателя, вздохнула, воздух с шумом прочистил ее легкие, она

почесала переносицу и приступила непосредственно к речи этого сверх заслуженного председателя.

- Так вот, - сказала она, - все теоретические выкладки подтверждаются. Наши оппоненты любят повторять, что факт жизни - еще не является фактом литературы. А мы всегда утверждали, что факт литературы и является подлинной жизнью. Возьмем Дон-Кихота Сервантеса или Ромео Шекспира, или, наконец, Булгакова с Зюскиндом. Их герои оказались много живее, чем те, кто считают, будто живут на земле. Какой-нибудь бургер или безвестный графоман, прожив отпущенное ему время, исчезает бесследно, литературные образы живут вечно. Это и есть бессмертие. Этот постулат неоспорим. Но перед нами открывается сегодня еще один путь - воссоздание безвестных, именно они обретают жизнь в этом доме...

**К** с изумлением смотрел на переводчицу, к чему все эти слова, зачем облекать все в красивые фразы - чтобы потом больнее ударить? Разве можно оживить тех, кто шел с Анной вдоль берега моря морозной, январской ночью? Надо тогда построить небоскреб, а не этот трехэтажный дом имени Фомаса. И населить его пишущими - для этого никаких фондов не хватит... Теперь **К** стоял уже выпрямившись, он понял, что имеет дело с человеком искусства, который прочел десятки тысяч книг и рукописей. Еще одна в этом ряду, принесенная вороном - какое это имеет значение? Пусть изгоняют - не буду оправдываться, твердо решил он.

- Мы тщательно все проверили, - продолжала переводчица, - действительно, была эта последняя кровавая акция Холокоста, из десяти тысяч женщин спаслись только двенадцать, мы нашли и спасительницу Анны - Герду Цихенмайер - она жила в Мюнхене в доме престарелых. Сейчас ее привезли в Иерусалим и чествуют там как «пра-

ведницу». Мы послали туда документалиста Фрица Горинбейнера, он заснял всю церемонию, и мы можем ее еще раз посмотреть...

При этих словах переводчица дала знак сторожу, тот нажал на кнопку, и на всех окнах сдвинулись темные шторы, на мгновение в зале стало так темно, будто в преисподней. И в этой темноте засветился большой экран. На экране был изображен старинный город, раскинувшийся на седых холмах, обозначилась выщербленная стена, у которой люди в черных шляпах и сюртуках непрерывно качали головами. Потом был показан зеленый холм, какие-то памятники, скопления людей, и среди них долговязый документалист. Так вот значит как зовут его - Фриц, - понял **К** и подивился тому, что иногда, не зная его имени, мысленно называл Фрицем.

Теперь на экране крупным планом показали коренастую старушку, ее поддерживали с боков двое молодых людей, она еле передвигала ноги, голова у нее не держалась, клонилась к плечу.

- Мы на Аллее праведников, - зазвучал голос Фрица, - здесь каждый, кто спас хоть одного из обреченных на смерть, сажает дерево. Сегодня эта честь предоставляется жительнице нашей страны Герде Цихенмайер.

Камера крупным планом дала лицо Герды. **К** в изумлении воскликнул, - конечно, это была она, Герда, никаких сомнений быть не могло. Широкие скулы, загрубевшие от постоянной работы руки, а главное - глаза, такая в них твердость, такое упрямство, также как сейчас, она смотрела на мужа, который хотел выдать Анну.

Теперь Герде стараются все помочь, заранее вырыли ямку, подносят дерево, зарывать хотят тоже сами, ей оставляют только маленькую лейку. Но Герда отталкивает слишком рьяных помощников, она сама берет лопату. Ко-

нечно, это Герда! Ей аплодируют, вокруг восторженные лица, горящие черные глаза мальчиков, белые флаги с синей шестиконечной звездой, живые цветы. Букеты роз. Герда любила выращивать розы. Вот теперь она улыбается, она сделала свое дело - сама посадила деревце. И сама поливает из лейки.

- Вот истинная героиня нашего народа, - продолжает за кадром Фриц Горинбейнер, - к сожалению, сюда не приехала спасенная ею Анна, с ней мы не смогли связаться. Но у нас есть текст о том, как все произошло. Герда подтвердила каждое слово...

Экран погас, опять на мгновение зал погрузился в плотную темноту, и когда шторы раздвинулись, яркий свет солнца озарил помещение, словно этот солнечный свет перенесся сюда из древнего города, который они только что видели на экране.

- Ваш текст, - продолжала переводчица, глядя прямо в глаза **К** - многие, не скрою, сочли бредом садо-мазохиста, утверждали, что такого никогда не могло быть, что это сексуальные фантазии автора. Да, мы сегодня все почти знаем о Холокосте, это ужасная трагедия. Да, умерщвляли женщин и детей. Но чтобы насиловать перед смертью, заставлять голых танцевать на морозе - в это не хотели поверить. Один из очень известных историков Герке утверждал, что это просто вспышки нереализованного гомосексуализма автора. К тому же стало известно, что гей, созданный финской писательницей, подружился с автором. В другое время эти мнения возобладали бы...

Но сейчас, когда страна вступила в пору полного покаяния, когда мы стремимся воссоздать здесь еврейскую общину, истина возобладала. Текст стал еще одним доказательством необходимости включения Холокоста в школьные программы. Все наши оппоненты согласились

- надо воссоздать образы невинных жертв, но, увы, их миллионы, и это совершить, невозможно. Но есть более правильный путь - воссоздание или создание, будет точнее, образов спасителей. Надо развеять легенду о том, что все молча наблюдали истребление целого народа. Были ведь и такие, как Герда. Вам предлагается сделать ее главной героиней текста. Тогда фонд Фомаса гарантирует издание вашей книги и выдвижение ее на престижную премию. Премия позволит вам безбедно существовать до конца ваших дней. И дело даже не в премии, именно для того, чтобы Холокост не повторился, надо показать, что коренной народ был против нацистских зверств, что люди всегда сопротивляются злу. вспомните, это ведь ваш текст, как жители приморского городка, узнав, что пригнали женщин и закрыли их в слесарном цехе, собрали продукты и тайком передавали истощенным и измученным узникам. вспомните, как управляющий имениями, майор резерва, протестовал, как он покончил с собой, когда несчастных расстреляли на берегу моря. У вас есть все возможности сделать книгу, которая прославит не только вас, но и наш фонд Фомаса...

Переводчица говорила тоном учительницы, которая наставляет неразумного ученика, и поначалу **К** хотел прервать ее - каждый пишет, как ему диктует совесть, каждый пишет, «как он дышит» - и прочие высокие слова он был готов произнести. Но все же сумел сдержаться, горячность, подумал он, никогда ничего не решает. Премия позволит писать другие книги и в этих книгах ожидать тех, кто падал под пулями на побережье. Анна сумеет обо всех рассказать, у нее хорошая память...

- Премия исчисляется в пятьдесят тысяч долларов, - подбавляла доводов переводчица, - председатель просит скорейшего ответа...

И она уставилась на **К** удивленным взглядом и замолчала, пожимая плечами. А потом закивала головой, словно подсказывая своему неразумному ученику готовый ответ - да и разве можно сомневаться, когда речь идет о такой сумме? **К** стоял молча, от напряжения у него стало звенеть в левом ухе, он приложил руку к ушной раковине, гул стал стихать.

- Мы ведь очень уважаем вас, - сказала переводчица, - здесь, очевидно, она не выдержала и стала говорить от себя лично. **К** увидел, как председатель неодобрительно повел плечами. И что удивительно - исчез ворон. Как он смог вылететь, подумал **К**, ведь окна закрыты...

- Мы уважаем вас, и в знак этого уважения и солидарности с вами даже нашили на платья желтые звезды, мы целую ночь старались, - вырезали их из занавесок, спорили - на рукав или на грудь, размер уточняли...

Как королевская семья в Дании, вспомнил **К**, действительно, там нашивали эти звезды Давида, чтобы показать нацистам, что не приемлют их политику, что не дадут уничтожить датских евреев и, действительно, не дали, ночью на паромах, на лодках, отправили в Швецию. Король и его семья рисковали жизнью. А здесь - просто как украшение. Желтое на черном - а они почти все были в черных платьях - выглядит весьма эффектно.

- Мы уважаем вас, а вы упрямитесь, - обиженно воскликнула переводчица.

Председатель встал из-за стола, подошел и протянул **К** свою костлявую руку. Не пожать ее было бы невежливо. Переводчицы разом заулыбались. Кто-то, кажется, сторож даже захлопал в ладоши. И тут же, словно из стены вышел, появился бледный молодой человек, с круглыми, собачьими глазами, с папкой в руках. Он ткнул пальцем в бумагу. **К** дали ручку, он размашисто расписался. Молодой человек

тотчас исчез, будто его и не было здесь, а председатель улыбнулся и устало вытер лоб большим клетчатым платком...

Вечером, как и обещали, был праздничный обед. Переводчицы сменили свои черные платья на праздничные блузки и короткие юбки, председатель был в другом, голубом, фраке и уже без ордена. На столах стояли узкие и длинные бутылки красного вина... В кургузых бутылках, похожих на фляжки военных лет, был неразбавленный спирт - на любителя. На узорчатом подносе лежала узконосая щука, облепленная зеленью. Говорили много, особенно председатель. Ему никто не прекословил. **К** плохо понимал его речь, кое-что, правда, пересказывала переводчица, но, явно, многое не договаривала. Суть же заключалась в том, что именно председатель был первооткрывателем, что ему принадлежит теория воссоздания, и что теперь она получила достойное подтверждение. **К** выпил полстакана спирта и плохо понимал даже переводчицу. Явно она не верила в теории своего шефа и связывала все надежды не с теорией воссоздания, а с приходом Мессии, тогда все смогут ожить, и она увидит свою любимую маму и своего добропорядочного отца. «Поверьте, таких совестливых людей больше нет на свете», - с тоской сказала переводчица, обращаясь к **К**.

Но Мессия, понимал **К**, если в это верить, поднимет людей из могил, а у тех, у кого нет могил, кто стал лагерным дымом, лагерным пеплом - у них отобрана эта надежда. И он стал говорить переводчице о тех миллионах, от которых не осталось ничего. Она же упорно не хотела понимать его, а все твердила о своих родителях. «Если бы не война, - сказала она, - они могли бы еще жить и жить. Знаете, этот голод, эта разруха... »

- Но вы же их похоронили, у них есть могила! - сказал **К**. Переводчица презрительно фыркнула: «А как же, всех хоронят!»

Председатель полез с объятиями к **К**, покровительственно хлопал его по плечу, называл почему-то своим любимым сыном, хотя они и были ровесниками.

Потом появился сторож, тоже выпил спирт, протер усы и стал играть на трубе. Оказалось, что он был когда-то горнистом в вермахте. Самая молодая из переводчиц залезла на стол и стала приплясывать, высоко задирая и без того короткую юбку. Все положили руки друг другу на плечи и стали петь, раскачиваясь, старые солдатские песни. Особенно старались, во весь голос подхватывая припев, два необыкновенно похожих друг на друга молодых человека, оказалось, что их только недавно здесь поселили, это были авторы новой волны, суперконцептуалисты. И когда один из них принял слишком большую дозу горячительного, то стал выкрикивать: «Не дадим слову никаких шансов!» Ну, они здесь не надолго задержаться, подумал **К**, он всегда не очень одобрительно относился ко всяким современным «измам». Самая последняя стадия убийства - уничтожение слов, вот что он хотел им сказать, но они никак не могли его понять. Да и язык у него здорово заплетался.

Очнулся он в глубоком кресле, в зале уже никого не было, повсюду валялись посуда, остатки еды, окурки. Ему так захотелось увидеть Анну. Рассказать ей об успехе, таком неожиданном, потрясающем успехе. Такая удача вряд ли кому выпадет! Он получит большую премию. Увезет Анну на Канары, нет, сначала закончит книгу, а потом увезет. Она, конечно, состарится, когда текст подойдет к концу, будет такая как Герда, но разве дело во внешнем виде, она умная, с ней обо всем можно поговорить. Пусть отдохнет на старости лет, она столько испытала. И будет рассказывать, а он записывать, она оживит хотя бы тех, которых она знает. Премия позволит жить безбедно, они

снимут номер в пятизвездочном отеле, нет, лучше купят дом, свой дом на Канарах...

Он поднялся, в голове была такая ясность, так отчетливо наплывали еще ненаписанные фразы. Он раскрыл окно, свет полной луны заливал цветущие деревья, пахло сиренью и свежескошенной травой. Он сложил ладони рупором и закричал: Анна! Анна!

В саду раздался какой-то шорох, метнулась тень, но это была всего лишь кошка. Тогда он вылез в окно и пошел по садовой дорожке, освещенной луной... Тени были так отчетливы, так черны и неподвижны, что казалось, их заранее нарисовали на земле. Ему показалось, что впереди кто-то идет, он побежал, споткнулся о корявую ветку и чуть не упал. Казалось, ночью сад никогда не кончится, но вот пахнуло прохладой, он услышал шум прибоя и тотчас отыскал лестницу, ведущую на пляж.

В лунном свете море казалось упругим и неподвижным, но когда он подошел ближе, к самой кромке воды, впечатление это развеялось. Прибой лизал кончики его ботинок, а один из сильных накатов окатил его потоком брызг. И на воде была широкая лунная дорожка, такая призрачно-желтая, такая манящая. Он сразу понял, что Анна где-то здесь. Скользит по воде, всматривается в ее толщу. Что она видит на дне? Те, кто были с нею в морозный, январский день давно уже растащены рыбами, а может быть, стали и самой этой водой.

Он опять стал звать Анну, он кричал изо всех сил, но голос его тонул в шуме прибоя. Тогда он обернулся и стал смотреть на почти невидимый в темноте берег, поросший низкими соснами. Берег сливался в темную, нависающую над морем громаду, растворялся в лунном небе. Рядом, под ногами серебрился высвеченный луной песок. Песок стонал и скрипел под ногами. Свет луны превращал песча-

ную отмель в мертвую пустыню. По такой пустыне, наверное, шли из египетского плена, понял **К**, по мертвой пустыне к мертвому морю. Испуганные, шарахались даже от собственной тени...

Но здесь на песке не было никаких теней, ровная гладкая поверхность. И тут он заметил, что на ней написаны какие-то слова. Слова были у кромки воды, там, где песок был мокрым. Эти слова вот-вот могла слизать вода. **К** сразу понял, что их надо обязательно успеть прочесть. Длинные вычерченные на песке линии сложились всего в четыре слова: «Ты предал меня. Анна».

Какие страшные слова. Это конец - понял он. Она уже никогда не появится. И ей уже ничего не объяснишь. Может быть она, как и те, кого убивали на берегу, стала морем, теперь она везде и нигде. Она - вода. Блестящая под лунной, краснеющая на закате. Качающая корабли, растворяющая все, что несут ей стоки земли. И он пошел навстречу этой воде, пошел по лунной дорожке, как по земной тверди. И когда подумал, что так не бывает, что вода должна принять его, стал погружаться в нее. Он не чувствовал никакого холода, хотя был еще конец мая, и когда вода достигла горла, он поплыл, поплыл вперед, стараясь придерживаться лунной дорожки, и плыл, пока хватало сил. А потом вода стала проникать в него - и это было совсем нестрашно, ведь в этой воде были растворены все те, у кого не было могил на земле. Вода была живой, холодной, соленой и легко заполняла его тело...

## **МОИ ГОРОДА**

*Две августовские ночи в сорок четвертом стали роковыми для центра города. Сотни английских самолетов, и ночь превратилась в день. Бомбы разрушали и выжигали не только дома, но и землю. Горело даже небо. Могу свидетельствовать, хотя и не был очевидцем, но в этом же году семилетним мальчиком стоял на окраине маленького поселка и видел, как полыхал мой город. Малиновое небо вздрагивало от взрывов. Трещины разламывали асфальт. Запах гари сдавливал горло. Все города сгорают одинаково. Строить, чтобы потом сжигать, думал я тогда - какие нелепые игры взрослых.*

*Города не хотят умирать и превращаться в золу. Люди, населяющие эти города, тоже хотели спастись. Они не нянчили предупреждениям. Всего за шесть лет до гибели немецкого города в нем была Хрустальная ночь. И мостовые, покрытые разбитым стеклом. И очень веселое разграбление магазинов. И те, кто потом сгорели в пламени августовской ночи, тащили в свои квартиры все, что попадалось под руку.*

*В моем городе ведь тоже было нечто подобное, когда в него въехали на мотоциклах прусские парни. Рассказывают, был фейерверк и каждый брал все, что хотел. Этому я не свидетель. Помню другое веселье. Я только много позже понял, чем оно вызвано. А тогда просто летели в ослепительно голубом небе два самолета, и все выскочили во двор и задрали головы и махали своими шляпами, а я своей пилоткой, которую привез мне отец из Испании. Все были очень довольны и не догадывались, что многие вскоре станут жертвами этого дня. Ведь это улета*

*Москвы Риббентроп, увозя тайный договор о разделе мира и начале кровавой бойни.*

*Город, где я родился, переходил в войну из рук в руки трижды. От него ничего не осталось. Был лист фанеры на столбе, а на фанере написано: «Остановись солдат, здесь был город Великие Луки». На крепостном валу были живьем зарыты мои родственники. А тех, кто бежал из города в лес, настигли мародеры. Среди убежавших была моя бабушка. Ничто уже не связывало меня с этим городом.*

*Город, куда я приехал, был тот самый немецкий город Кенигсберг, который спалила английская авиация. Но ей не под силу было полностью снести с лица земли такой большой город. Все довершили апрельские дни сорок пятого года. И когда город брали штурмом наши солдаты, они взрывали не только форты и башни, но и все дома, откуда слышались выстрелы. Никто не может упрекнуть солдат, многие из них были убиты при штурме.*

*Те, кто потом уже в мирное время разбирали руины и обрушивали уцелевшие дома, не ведали, что творят и не знали: будут ли они жить в этом городе. Во дворе замка беспрерывно работали камнедробилки, превращая битые кирпичи в щебень. Стены замка невозможно было обрушить единичными взрывами. Подъезжали танки, цепляли троса. Стены давали трещины, оседали от взрывов. Башни накренились и падали с грохотом. Этому я уже был свидетель. Протесты интеллигенции против взрыва замка не были услышаны. Большевики искореняли прошлое.*

*Теперь этот старый город существует в макетах, в виртуальном мире интернета и в довоенных открытках. Еще от него остались подземелья, не узнанные до конца. В город, переименованный даже свое имя, приезжают пожилые немцы и ищут фундаменты своих домов.*

*В моем родном городе фундамента нашего дома не осталось.*

*Прошлое живет лишь в воспоминаниях.*

## **ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦ**

Легко пересекать границу, когда ты не связан никаким грузом. Ты сидишь в теплом автобусе, который едет к пропускному пункту вдоль длинной очереди легковых машин. Почти на километр растянулась она. Люди, утомленные ожиданием, выходят на усыпанную опавшими листьями дорогу - размять затекшие ноги. У придорожных деревьев играют дети, кто-то развел костер, семья уселась на траве, расстелили скатерть - устроили импровизированный обед. Изредка очередь продвигается. Все бросаются к своим машинам. Урчат моторы только у наших шоферов. Поляки толкают свои машины, экономят бензин. На метров десять продвинулись, и снова часы бездействия. Летом ожидание не так утомительно. А в холодные дни - попробуй, высиди в машине целые сутки. Вдали, в так называемом отстойнике ожидают очереди шоферы-дальнобойщики, грузовые машины стоят почти вплотную друг к другу. Здоровенные фуры, полные невидимых нам товаров. Круглые бока желтых цистерн, залитых нефтью или бензином. Здесь ждут оформления грузов не сутками, а неделями. Шофера привычно спят в своих кабинах. Около машин вьются проститутки. Поднимают юбки, поддразнивая заспанных шоферов. Идут вдоль цепочки легковых машин, выискивая путников-одиночек.

Ты наблюдаешь всю эту суету из окна автобуса. Иная неизведанная тобой жизнь. Ты понимаешь, что большинство людей пересекают границы не для того, чтобы по-

смотреть чужие города и музеи и запечатлеть себя на фоне знаменитых крепостей и соборов, нет - им некогда обозревать исторические ландшафты и места былых сражений. У них своя битва - граница кормит их. А потому можно все перетерпеть и оставить на последующие годы праздные шатания по европейским столицам. В их географической карте города имеют свое значение. Здесь можно продать бензин и хорошо, как они говорят, навариться, а в этом городе можно купить за смехотворно мизерную цену подержанную машину...

Навстречу тебе идет другой поток - большегрузные фуры, машины с прицепами, повсюду рекламные надписи, в основном, на немецком языке, аккуратно сложены картонные коробки - в них сыры и колбасы, бананы и апельсины, грузы коммерческих фирм и гуманитарная помощь, и не только продуктами заполнены кузова машин - здесь и вся та техника, которой переполнена Европа - от компьютеров до кофеварок. Грузовые машины подолгу стоят на границе. Мимо них, мягко шурша новыми шинами, проплывают двухъярусные комфортабельные автобусы с откидывающимися креслами, с встроенными туалетами. Двери почти бесшумно раскрываются. На пограничный контроль не спеша двигаются сухонькие, молодящиеся дамы преклонного возраста, толстяки с лоснящимися лицами - их уцелевшие мужья везут чемоданы на колесиках, степенные кукольные дети - их внуки - молчаливо взирают на незнакомый мир. Это туристы. Получив пенсию, они могут путешествовать со своими внуками по всему миру. Они могли бы поехать на Канары или на Кипр. Но им хочется показать внукам свою родину, места, где они были в таком же возрасте, как эти их внуки, степенно шествующие к окошкам паспортного контроля. Земля детства, утерянный рай. Ностальгия - как это чувство знакомо тебе...

И глядя на цепочку туристов, даешь, уже в который раз, слово самому себе - обязательно в этом году проехать не на Запад, а на Восток, во чтобы - то не стало увидеть город, в котором ты родился, город, где мир открылся тебе, где на заброшенном кладбище в Заречье покоится прах почти всех твоих предков...

Увы, всякий раз эта поездка откладывается. Денег не хватает, чтобы оплатить билет даже в один конец. Тебе надо пересечь пространство двух государств - Литвы и Белоруссии, чтобы добраться до своей области. Никто не даст тебе творческой командировки, в твоём родном городе не собирают писательских форумов и международных конференций. Твой город - твоё личное дело. И не только твой город - но и все те просторы, что раскинулись на немислимые расстояния. Раньше ты не раз преодолевал их. Целую неделю в поезде, чтобы добраться до Забайкалья. Столько историй, услышанных от случайных попутчиков. Люди раскрывают друг другу душу, ведь их никогда уже не столкнет судьба. Охотно делятся едой и выпивкой. Это не Европа, где в полупустых чистых вагонах сидят в креслах молча - не подступишься. Даже спросить: какая остановка - и то неудобно. И никто ничего не ест. Не те расстояния, путь измеряется в часах, а не в сутках. Как давно все это было. Студенческие отряды на целине. Уцелевшие от чисток архивы Сибири. Михайловское и Ясная поляна. Европа - рядом, а родная земля - где она? Там, за далеким холмом. И что есть Родина? Место, где ты родился или место, где ты живешь?

И думалось - все, никогда не увижу ни свой родной город, ни город моей жены - белоцерковный Киев, и только в сны будут приходить они - висячие мосты над Днепром, томление летних вечеров на Крещатике - смутные видения прошедшего. И свой, конечно уступающий Киеву, вов-

се не парадный, полусонный город, где исхожена каждая улица, где ждут тебя заливные луга в пойме Ловати и дурманящие запахи трав, и гладь озера со странным названием Большой Иван, озера, в котором ты выудил первую свою рыбешку и переполненный радостью нес ее в стеклянной банке, чтобы показать отцу.

И казалось, смирился - пусть останется все в воспоминаниях.

Но неожиданно семинар в Пскове - и зовут туда, а от Пскова до твоего города рукой подать - всего-то одну ночь в поезде. И Михайловское там рядом, Пушкинские горы - Святые горы, Святогорье, монастырь, где под раскидистыми кронами деревьев, на взгорке скромный памятник на могиле того, без стихов которого и себя не мыслишь. Хоть на миг взглянуть, пройти по аллеям к знакомому до каждой половицы дому - ужели и это счастье будет дано! И сразу вспомнилось отчетливо то время, когда не понимал, сколь повезло в жизни. Ведь жил целый месяц в монастырской келье, сидел там за бумагами - а надо было все бросить и лишь пить тот живительный воздух, напоенный медовым запахом лип, воздух которым Он дышал, сидеть недвижно на онегинской скамье, смотреть на голубые воды Сороти, на зеркала сомлевших под солнцем озер...

И стал я торопить время, и ни о чем уже не думалось, только об этой поездке. И вот после долгих переговоров и утрясок, после бесконечных телефонных звонков, после всяких заморочек с оформлением - желанная дорога. Но как все изменилось, на себе прочувствуй - ты живешь в анклав. Два часа проехали - и стоп, ни город, ни село - а здание недавно построенное. И тишина настороженная в вагоне, никто никому не изливает душу - словно и не в российском поезде ты, а в немецком экспрессе. Застыло все. Туман стелется вдоль путей, и в этом тумане бредут люди в

зеленых мундирах-пограничники и таможенники. И объявление по трансляции: «Всем оставаться на своих местах. Приготовить паспорта!» Граница с Литвой - это еще наши стражи, литовские будут через пару часов, объясняют те, кто привык к новым порядкам. Неужели стоять целых два часа - а потом еще и с Белоруссией граница. Но что делать, надо набираться терпения. Не только ведь ты спешишь, у других, может быть, поважнее дела, а вот сидят молча на своих местах. Проходит полчаса - в вагон заходят два усатых солдата, смотрят на тебя, потом долго рассматривают твою фотографию в паспорте. Еще через полчаса в вагон заходят таможенники, их трое - быстрые изучающие взгляды, вопросы на ходу: «Это ваш багаж? Валюты нет?» Ответы тоже быстрые - нет ни багажа, ни валюты. Доходят до конца вагона. Ну все - сейчас поедем. Ведь наш вагон последний. Но почему-то не думают выходить. Высовываюсь в коридор, чтобы узнать - в чем задержка. Все молчат. Таможенники сгрудились вокруг совсем молодого парня. Голова у парня стриженная, круглое лицо блее мела. С него сняли куртку, выворачивают карманы. Один из таможенников, круглощекий и пыхтящий, роется в саквояже. Вынимает майки, трусы, какие-то платочки, встряхивает каждую вещь, будто пробует на прочность, хочет купить и боится ошибиться. Перебрал все, потом другой таможенник начал перебирать. Полчаса уже мурьжат парня. Любопытные столпились в коридоре. Парня просят снять рубашку, он остается в майке. Тело мускулистое, загорелое. «Служивый, - догадывается сидящая рядом со мной старушка, - к матери, верно, на побывку едет, и чего они к нему привязались!» Старушка говорит полупшепотом, боится - услышат таможенники, еще и за нее примутся. И тут не выдерживает одна из женщин, полногрудая с копной желтых волос, руки в перстнях, возможно, или сама начальница или

жена крупного начальника, встает со своего места, подходит почти вплотную к таможенникам: «Может быть, хватит нас держать здесь, уже больше двух часов туалеты закрыты, на людей им начихать!» Голос у нее властный, гортанный. И словно плотину прорвало, со всех сторон: «Что над парнем издеваетесь! Видите - гол, как сокол!.. Заканчивайте! Сколько можно!» Таможенники на крики не обращают внимания.

Чувствую - и во мне закипает возмущение, с трудом сдерживаюсь. Понимаю - все эти крики только во вред, теперь уж специально к чему-нибудь придерутся, стоять нам на этом разъезде до поздней ночи. И таможенники понимают - назревает скандал. Велят парню одеваться, берут под руки и выводят из вагона. В окно видно, как сжатый ими, парень, едва переступая ногами, не идет, а почти волочится по перрону. Что же мы за люди, не сумели вступить по-настоящему, лишь бы не нас. В вагоне шумные голоса. Все возмущаются. Поезд продолжает стоять. Проводница пытается объяснить - надо ждать пассажира, зря искать не станут, значит, была наводка. Ее никто не хочет слушать. Наконец длинный гудок, и застоявшийся поезд трогается. Место парня пустует. Проехали всего пару километров - и опять стоп. Литовская граница. Здесь все проходит много быстрее. Но опять ссаживают одного пассажира, он из Казахстана, ездил в наш город к сестре, у него нет транзитной визы. Я ничего не понимаю - как же он въехал в наш город. Мне объясняют - он не въехал, а прилетел. Здесь все понятно, ну а того-то парня на нашей границе за что? Темнеет, миновали туннель, скоро Каунас, разбираем постели, проводница разносит чай. Все успокоились, в каждом купе свои разговоры. Нагоним ли в пути опоздание - никто не знает. В вагон приходит старший проводник - бригадир, он в но-

венькой голубоватой форме, всем улыбается, шутит с проводницей. Кто-то спрашивает про парня из нашего вагона - как он теперь, бедолага, будет ехать, когда следующий поезд? «Не повезло нам с ним, - отвечает бригадир, - документы у него не те, а мы из графика выбились!»

И действительно, выбились, ночью стояли почти у каждого столба, белорусскую границу пересекли лишь под утро. Настроение у меня вконец испортилось. Надо было лететь самолетом - милое дело. И еще - корил я себя за то, что не вступился за парня. Какие еще документы понадобились? Ведь ему без загранпаспорта билет бы не продали. И почему он позволил безропотно так себя проверять. А впрочем, наверное, каждый из нас позволил бы. Запуганы еще с рождения. Кажется, и нет страха уже, а подойдет момент - он и вылезает...

В результате всех этих задержек приехал я в Псков лишь на следующее утро, никто меня на вокзале не встречал, хотя и договаривались мы с моим давним приятелем, что останюсь у него, да видно, не хватило ему терпения. Идти к нему домой - рано еще. Да и хотелось мне родную землю почувствовать. И вот прошел я длинной улицей от вокзала к реке Великой и в утренней дымке предстал передо мной белокаменный седой витязь - город, сохранивший и кремль свой и церкви свои. Давно я здесь не был - и почти ничего не узнавал. Будто попал я в какую-то сказку. Звонили колокола. Река открылась передо мной, наполненная синевой и почти недвижимая, и отражались в ней и купола церквей, и крепостные стены. И все здесь дышало прошлым - не только моим - забытым послевоенным, а тем, что уходило в века. Седым было здесь все - и серые стены домов, и строения монастырей. И облака, плывущие в высоком небе и отражающиеся в застывшей воде. И никого не было вокруг. Никто не мешал моему

свиданию с древним городом. И думал я, как хорошо, что не встретил меня друг. Долго сидел я на набережной, пока не стало припекать июльское солнце, и понял я, что, наверное, уже хватились меня, и пошел искать ту гостиницу, где и должен был проходить семинар...

А потом было много встреч и разговоров, и споров, порой полезных, а порой и бессмысленных. И узнал я, что почти все мои знакомые разъехались, что негде здесь работать, что многое пришло в запустение. И постепенно вытравливалась радость из души, и ждал я, чтобы поскорее все кончилось, и не дождался конца всем этим спорам, сел на пригородный поезд и поехал в свой родной город, где, как я понял, никого уже не смогу встретить - никого из родных и никого из школьных друзей. И уже не оставалось у меня времени на Михайловское - должен был я выбирать или город мой, или обитель поэта. Да и в Михайловском меня никто не ждал. Давно уж не стало хранителя усадьбы - Семена Гейченко, и некому уже было устроить меня в монастырскую келью. Потом корил себя за то, что миновал свое любимейшее место - когда еще представится возможность, бог весть.

И может быть, лучше было бы, чтобы не ездил я в свой родной город, а хранил бы его в памяти таким, каким был он в моем детстве. С рекой, которая казалась мне широкой, с высоким крепостным валом, нависшим над водой, с островом Дятлинка, где песчаный пляж, окруженный зарослями шиповника, был свидетелем моей первой любви, с просторным стадионом в Заречье...

Долго бродил я по узким улицам, несколько раз подходил к желтому в бурых пятнах дому, где когда-то жили мои родители, долго сидел в парке - здесь когда-то сажали мы деревья на пустыре, а теперь они разрослись, и казалось, ты не в центре города сидишь, а в густом лесу.

Была здесь где-то танцплощадка - место наших свиданий, теперь от нее остался полусгнивший настил. Цветной фонтан, лишенный воды, зарос лопухами. По узкой тропинке я вышел к реке моего детства, перебрался по деревянным мосткам на остров. Отсюда открывался вид на заречную сторону - поросший кустарником крепостной вал венчал шпиль памятника, вдоль набережной выстроились новые дома, блестели на солнце купола церквей - их тоже не было раньше. И стояла такая плотная тишина, что казалось - город этот давно покинули жители. И я не вернулся сюда, просто все это мне снится. И вдруг я заметил среди зданий, подступавших к реке, островерхую крышу, крытую красной черепицей, и было в этом видении что-то очень близкое для меня. Но это было уже не из моего детства, это в город детства переселился один из домов, столь привычных мне. Дом из города, где прожил я всю свою рабочую жизнь. Может быть он предназначен для меня? Но когда я покинул пляж и пошел по направлению к этому дому, он исчез за зеленью садов и сколько не искал, я не мог обнаружить его...

Зато возле драмтеатра я встретил одного из своих одноклассников. Бывший директор обанкроченного завода он теперь пел в церковном хоре, высохший, с длинной седой бородой он напоминал мне монаха-пустынника. Мы вспомнили всех наших друзей, сходили на заброшенное кладбище, где среди поваленных и полуразрушенных памятников я с трудом отыскал участок, на котором были похоронены мои родные. Мой одноклассник все время говорил о том, что завидует мне, что рад за меня, что могу я вот так почти беспрепятственно пересекать границы и ездить по европейским городам. Чему завидовать, сказал я своему однокласснику, виза требуется и мне, ты ведь зато можешь запросто хоть каждый месяц без визы бывать в

Михайловском, хоть каждый день ездить автобусом на Иван-озеро - и тебе не надо пересекать никаких границ... «Но ты ведь не хочешь жить здесь? Почему?» - спросил он. У меня не было определенного ответа. Я не стал объяснять ему то, что он хорошо знал. Мы оба, вернее наши семьи жили здесь сначала в землянках, потом в бараках. Впрочем, теперь это не причина - вокруг полно домов... Но ничто не заменит мне - море и дюны... Судьба подарила мне другой город и сроднила с чужими ландшафтами.

Вечером я слушал, как мой школьный друг поет на клиросе, один среди десятка пожилых женщин, среди огней оплывающих свечей, на фоне золоченого иконостаса - и опять мне показалось, что все это происходит в моем сне, и что все это я уже не раз видел, и так же пели и в Кельне, и в Любеке, и в Копенгагене...

## ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ

Парить над городом в одиночестве, так мы не договаривались. Где же твои обещания, возлюбленная? Узнаю ли я тебя среди других женщин, теснящихся в корзине, подвешенной к воздушному шару. Ты написала, что на тебе будет синяя шляпка. Но ее может сдуть. Это с утра тихо, а после полудня обещали усиление ветра. Я летаю кругами над городом в пустынном небе. Было объявлено в афишах: оригинальная подсветка, все цвета радуги. Я не увидел светящихся разноцветных шаров! Возможно, полеты отменены. И я один в небесах. Прогретый воздух дрожит в мареве городской дымки, верхушки деревьев сливаются с небом. Красные черепичные крыши едва угадываются вдали. Если сейчас немного спуститься и сделать круг над забытым городом, то увидишь выложенную плиткой кар-

тинку площади и золотистый блеск куполов. Трамваи покажутся улитками, вползающими под тени домов. На месте замка балаганное пространство времянок и каменный квадрат недостроенной громады. Деревья вместо разрушенных зданий на центральном острове. Мы сажали их на субботниках, долбя ломом каменистую землю. И лазали на уцелевшую башню Собора по винтовой лестнице, среди руин, свисающих балок и летучих мышей. Поцелуй в темноте на самой вершине кружил голову. Зарождение жизни в развалинах и в парках, бывших когда-то кладбищами. Где разыскать ту надгробную плиту, на которой были написаны наши имена, вернее почти наши. Все заросло. Дети и деревья растут быстро. Какие пышные кроны у каштанов. В этот сад мы сбежали со свадьбы, устав от наставлений всезнающих тетюшек. За кустами шиповника была наша скамейка и заканчивалась единственная освещенная аллея. Мне не разглядеть нашей дорожки между рядами деревьев, хотя я парю сейчас прямо над островом. Это совсем другой остров. В парке из-за кустов выглядывают скульптуры. Собор источник гордости и доходов протыкает шпилем низкие облака. Туристы медленно всасываются его входом, чтобы подняться по мраморным ступеням винтовой лестницы и обнаружить в самом верху подобие валенродтской библиотеки и бюст Канта. Они будут восхищенно молчать под застывшим взглядом маленького мудреца. Тебя нет среди них. Ты придумала встречу в облаках. Когда долго живешь в стране Монгольфье, становишься похожим на него. Вернее, на них, на двух братьев, придумавших полеты на воздушном шаре и для этого целыми днями жгущих бумагу под отверстием в льняном полотне. Сжечь все письма, чтобы наполнить шар теплым воздухом. Впрочем, не только письма, у них же была бумажная фабрика. Томление Икара пересилива-

ет все страсти. Это не страсть у тебя к небу, Икар здесь не при чем. Ты просто не хочешь, чтобы мы увидели друг друга, ты даже не хочешь, чтобы я услышал твой голос. Нас связывает только электронная почта. Но я знаю - теперь ты в городе. Займи очередь и жди...

Стоянка воздушных шаров скрыта каменными стенами собора. Тепло города рождает восходящие потоки. Чуткий планер ловит их крыльями. Продолжаю парить над человеческим муравейником. Ручку управления тянешь на себя, и сразу все внизу уменьшается. Замковый пруд и Верхнее озеро сливаются и кажутся зеркалом, забытым в траве. Собор превращается в дом, дома в спичечные коробки. Улицы сужаются, и машины уже почти невидимые застывают в извечной пробке. Никого не ищи внизу, говорю себе. Та, которую ты ищешь, заслонена кроной каштанов... Распорядитель полетов - усатый отставной полковник поясняет, как выглядит город, тыкая указкой в узкие улицы на макете...

Макет города не заменит того, что было. Поднимайся выше. Кёнигсберг в облаках. Причудливые клубы воздуха спешат навстречу стадом кудрявых белоснежных овец, пасущихся в голубоватых лугах, огражденных садами. Цветут яблони. За шапками белых крон скрыт королевский замок. Ты пролетаешь над ним и машешь элеронами. Бомбами можно разрушить и выжечь все, но только не воображение. Пока ты живешь, города могут возникать в твоей голове и прятаться в облаках. И если ты паришь над тем пространством, под которым когда-то был древний город - не исключено и то, что небо сохраняет память о нем. Ведь живут в твоей памяти те, которых ты любил. И ты можешь говорить с ними. Простите, говоришь ты, я ставил слово превыше любви. Теперь предстоит произнести слова покаяния среди облаков. Но кому дано услышать эти слова...

Важны не слова, а движения, простые движения - как поют с экрана. Это только кажется, что простые, даже прощальный взмах руки может означать не только прощание, а рука, останавливающая тебя, может одновременно притягивать. Раньше не понимал этого. И не удержал тебя от почти гибельного шага. Выходить на самодельную эстраду под взглядом сотен жаждущих тебя солдат, петь перед растленными войной и думать, что насилие можно усмирить сладкогласным сопрано - могла надеяться только ты. Афган подрубил тебя. Ты умчалась в Париж, где вместо театральных подмостков и первых ролей была дана в удел участь ресторанной певицы. Во всем этом виноват я, признаю. Я не знаю, какой ты стала, я все время вижу ту девочку, что бежала по каштановой аллее в белоснежном платье. И я в твоих воспоминаниях не сегодняшний неудачник, выпросивший планер в аэроклубе, а тот, кто умел выше всех взлететь к облакам над цветущей от водорослей водой залива. После соревнований мы сбегали в дюны. Звенел под ногами песок. Радостно кричали чайки. Шумели и пенились волны, разбиваясь об деревянный причал. И твой голос побеждал пространство. Все смолкало вокруг для меня. Был только этот голос, и я хотел привязаться к мачте парусника, чтобы почувствовать себя Одиссеем. Возможно, ты правильно сделала, не позвонив мне. Твой голос наверняка уже не тот. У меня ведь тоже - почти хрип вместо слов. Я слишком долго скитался по морям, и вернулся совсем в другую страну. Твои поклонники возвели дворцы на семи холмах, спускающихся к морю, и коттеджи среди дюн и сосен. Посмотри, сказала мне твоя мудрая мама, у тебя тесная комнатуха, а ты все еще строишь воздушные замки. Я не стал оправдываться. Но пойми, воздушные замки тем и хороши, что их не надо охранять, и они возникают там, где тебе хочется, чтобы они возникли.

Если ты вспомнила закат в дюнах, и Париж отторг тебя, я готов впустить тебя в самый роскошный из моих замков. Только бы продержаться в воздухе до твоего прилета. И ты наберись терпения. Это не Франция, здесь счет не на минуты, а на дни. Купленный билет ничего не значит. Отложат вылет. Перенесут на следующий год. Только не уходи...

Ты приняла мой сигнал, я чувствую... Ты дождалась, возлюбленная, уже завезли воздушные шары. Оболочки, похожие на туши уснувших китов, дремлют в ожидании инертного газа. А может быть шары, как и прежде, наполняют горячим воздухом. И пыхтят горелки, изрыгая синее пламя. Воздух врывается внутрь, оболочка шевелится, раздувается и вот уже встает над землей. И десятки канатов с трудом удерживают ее. Тебя как почетную гостью города приглашают в корзину первой. Ты элегантно движением двумя тонкими пальцами приподнимаешь юбку и перешагиваешь через канат. Троса натянуты. Сейчас их отпустят. Сладостный миг расставания с землей. Огромный желтый шар вырывается на свободу. Он величаво, словно нехотя, поплыл вверх. Вот оно торжество воздухоплавания! Только на планере и в корзине воздушного шара можно почувствовать всю прелесть полета, не оскорбленного ревом реактивных двигателей и вибрацией винтов. Божественная тишина, дарованная птице, теперь достается и тебе.

Цветные шары повиснут над городом, и люди будут раздавать друг другу букеты. И пить шампанское. В корзине воздушного шара охают женщины и придерживают рукой свои шляпки. Если до этого пиршества продержусь в воздухе или найду причал для воздушных шаров, то стану гидом того другого города, который хранят облака. Заиграют военные оркестры, и парашютисты, растопырив ноги, повиснут над многоголосой толпой. Задранные го-

ловы обращены к небу. Купола парашютов мешают разглядеть спящий в облаках Кёнигсберг... Один из парашютистов опускается в темные воды Преголи. Крещение пруссов продолжается. На воздушных шарах парашютов не хватает для всех, все разберут, пока ты будешь думать - взять или оставить другим...

У меня тоже нет парашюта. Планеристам не положено спасение. Привязанный ремнями к своему планеру составляешь с ним единое существо - гомолет, в отличие от гомо сапиенса ты не очень разумен. Родители всегда остерегали от полетов. Они знали, что найду в облаках город, в котором захочу поселиться. Выберу уютный коттедж где-нибудь на окраине, там, где кончаются кучевые облака этакий дом лесника, куда не так быстро можно добраться. Подальше от чужих любопытствующих глаз, еще подальше от людских расспросов. Никто не должен узнать про город в облаках. На земле полно гробокопателей. Заверяю всех: город в облаках лишен банков и золотого запаса. Эту весть несут воздушные шары.

Они мерно покачиваются в дымке и раздуваются от своего величия. В котором из них ты, возлюбленная? Разве я могу увидеть твою шляпку. Сегодня все женщины надели шляпки. Праздничный день. У меня предчувствие, что я вновь потеряю тебя. Порыв ветра повергает меня в панику.

Никто не расскажет, как лопаются воздушные шары. Кажется, небо с треском разрывают, как старую простынь. Сотни солдатских портянок можно надеть из облаков. И когда солдаты на свежие портянки натянут сапоги и влезут в брюхо десантных самолетов, тогда они первым делом захотят спалить город, притаившийся в облаках. Они захотят удивить горожан фейерверком. Тысячи огней равняются в небо. Пусть они погаснут, не долетев до облаков и не опалив стены воздушных замков...

Страшен и сладостен миг падения. В этот миг вмещается вся жизнь, которая казалась длинной, повторный сеанс мелькает быстрыми кадрами, не оставляя времени на покаяние. Я не хочу смотреть то, что существует во мне. Я прошу небеса спасти тебя. И ветер стихает. Твой шар уцелел, возлюбленная, ты совсем близко вальсируешь в корзине над замковыми прудами. Я поймал восходящий поток и устремляюсь к тебе. Я успеваю поймать тебя за руку. Я теперь не отпущу тебя ни в Париж, ни в Афган. Мы летим над городом, утратившим свое лицо и свое прошлое, а со всех сторон нас окружают воздушные замки. Ни один из архитекторов не смог бы придумать таких затейливых башен и стен, ни один из правителей не сможет обрести такие чистые просторные залы. Ни один собор не сможет звонить в такие мелодичные колокола. Невинно загубленные души воскресают, услышав этот звон. И мы летим на встречу с ними, пробиваясь сквозь белизну облаков. И когда слышим слова молитвы, в конце каждой еще не понятой фразы повторяем: аминь...

## МУЗЫКА

Улицы слишком узки для автомобилей. Они круто спускаются к морю. Ута шла, вскинув голову. Она никого не замечала. В ней начал звучать Реквием. Автомобиль длинный с тонированными стеклами просигналил несколько раз. Консул высунулся в окно и погрозил пальцем. У него сегодня выходной. Он приехал, чтобы продлить визу Уте. Снег таял, и обнаруживались красные крыши домов. Автомобиль был краснобагровым. Сосулька с грохотом разбилась о капот. В соседней улице завизжала кошка. На соборе заиграли карильон. Ута задумчиво улыбнулась и посторонилась, давая путь машине. Машина втянулась в улицу. Красная в белом. Совершалось насилие над древним городом. На главной площади собрались бродячие певцы. У каждого в руках было по две гитары. Ута увидела певцов и стала дирижировать. Соборные часы пробили десять раз. Певцы побросали гитары и смотрели вверх. Белые облака барашками курчавились в весеннем небе. Барашки были символом острова. Зачем искать их в небе? Стоят каменными изваяниями на дорогах, не пропуская машины. Пасутся на островных лугах. На площади цыгане торгуют жилетками из овчины. На Уте легкая шуба из барашка. Бродячие певцы завидуют ей. Она снимает шубу и бросает вверх. Шуба превращается в облако. Органист в соборе пробует первые ноты. Ута машет ему - терпение, сейчас я войду. Реквием полностью сложился в ее голове. Вот уже зазвучала музыка. Органист вытер платком лицо и изо всех сил нажал на клавиши. Не надо слез. Прощание должно быть торжественным. Душа уходит в небеса. Музыка обещает вечную жизнь. Плоть растворяется в море.

## ПОДЗЕМНЫЙ КЕНИГ

Смутен день седьмого ноября. В прежние годы был он поводом для демонстраций и пьянок. Теперь объявили: праздник примирения и согласия. Ветераны собрались на площади, потрясли портретами усатого злодея и полустершемя транспарантами, которые ветер быстро вырвал из старческих рук, и разбрелись в разные стороны. У памятника лысому вождю раздали друг другу листовки лимоновцы. Ветер усилился. Добрый человек собаку на улицу не выгонит. Праздновать надо не на площадях, а дома-самое милое дело. Благо выходной. Многие не помнят - почему такое благо. То ли царя скинули, то ли временное правительство. И кто с кем хочет примириться - без пол-литра не разберешь... Вот и sprыснуть это событие никто не отказывается. Грешен, я тоже пошел за бутылкой. Но пить в одиночку не умею. Жена плохой партнер, для нее даже одна рюмка - слишком большая доза. Колкий дождь хлестал в стекла окон. В такую погоду хорошо чувствовать себя защищенным бетонными стенами. На телефонные звонки можно не отвечать. Мой дом - моя крепость. Это в молодости мы жили открыто, двери нараспашку, а сейчас жалко тратить время на пустые разговоры. И всем сочувствовать - тоже не хватает сил. Путь жизненный не усыпан цветами. Он весь в терниях. Скольких моих друзей уже нет. Сколько спилось... Сколько лишилось крова... Все мы выросли под знаком желанного и призрачного слова - «свобода». Блеснула эта свобода метеором и застыла. Теперь наступили зимние дни. Сколько надежд на свободу, сколько иллюзий растворилось в тумане, нависшем над морем. Где укрыться от ветра...

Самое надежное - под землей. Один из наших поэтов давно уже спрятался там, где можно приткнуться к трубам теплотрасс и дремать в темноте. На старости лет он остался без квартиры. Сын выманил, наобещал обеспеченную старость, деньги нужны были проходимцу, чтобы открыть свое дело. Давно это было, в начале перестройки. Вдруг оказалось, что все мы вольны распоряжаться своим жильем. Я встречал много бедолаг, которые этим правом быстро воспользовались. Лежал я в больнице, оказался у меня соседом по койке - такой «несчастливцев». Продал свою квартиру по пьянке. Что же ты думал, спросил я его, как ты мог, и себя крыши лишил и для детей ничего не оставишь. У него были взрослые уже две дочери, жили в другом городе, жена умерла. Дочери и видеть меня не желают, объяснил мне он, захотел я людям праздник сделать, две недели весь наш поселок гулял. Цыгане приехали, плясали, ряженые на трубах играли, такой был сабантуй, тебе и не снился...

У поэта моего такого праздника не было, сын все изъясил подчистую. А потом свою квартиру на ключ и знать не знает батьку. Да и в наших литературных кругах скоро забыли того, без которого ни один поэтический вечер не обходился. Забыли или сделали вид, что забыли. Кому хочется принимать у себя человека подземелья. Один запах от него такой, что после приходится квартиру чуть ли не месяц проветривать. Жил он тут пару лет назад у одной женщины, тоже поэтессы. Та рассказывала, что не выдержала, когда увидела, как этот подземный поэт ее теркой на кухне мозоли с ног сводит. Имени поэта уже никто не помнит. Осталась только кличка Хохрик. Сам он от своих рассказов о подземной жизни эту кличку и приобрел. Да и не от одного его слышал я, что встречаются под землей такие мохнатые почти невидимые существа -

хохрики. Даже фотографии их приносили. Схожи по виду с нашим поэтом. Он тоже весь в волосах, борода спутанная, вся в клочьях и грива рыжая на голове. Однако всегда найдется женщина на земле для каждого, даже для такого Хохрика. Была у него и другая знакомая поэтесса. Псевдоним себе взяла - Козетта. Не на Козетту, а на козу неухоженную была похожа. А недавно она свое собрание сочинений издала за счет какого-то спонсора богатенького. Так вот эта Козетта даже искала Хохрика. Все время при встрече спрашивала: не видел ли я его. Отвечал я, что не видел и видеть не хочу. А эта поэтесса Козетта улыбалась своей кривой улыбочкой и каждый раз, томно вздыхая, протягивала: напрасно...

Вот выпивал я в тепле и одиночестве в день памятный седьмого ноября и вспоминал своих сподвижников, в том числе и бедного Хохрика. А он оказался легким на помин. Зазвонил дверной звонок резко, требовательно. Так всегда только внучка старшая звонит. Я обрадовался. Открыл дверь, не спросив, кто пожаловал. И дыхнуло мне в лицо таким смрадом, что я закашлялся. А гость мой, скинул с плеча брезентовый мешок, вплотную на меня надвинулся и стал обнимать, и с праздником поздравлять. Ну куда денешься, пришлось ему налить. Жена приоткрыла дверь на кухню, зашикала. А Хохрик достал из своего мешка блюдо фарфоровое и жене с поклоном протянул, а вдобавок еще картину небольшую и говорит, а это Дюрер - подлинник. Видишь, говорит, спаситель спускается в ад. Я усмехнулся. У поэтов всегда преувеличения. Откуда взяться у него Дюреру? А вот блюдо - красивое, глазурь - небо такое голубое, и на его фоне башни Королевского замка, а внизу множество людей гуляет по набережной. И надпись готическая, что-то о Боге и городе. Я плохой знаток языка, а Хохрик перевел так: «Храни Господь вечно Кенигсберг». А жена

поправила: не вечно, а в веках. Вижу, она хоть и морщит нос, но все же подает на стол закуску. Правда, отозвала меня и шепчет - ночевать не оставляй, ни в коем случае, весь дом провоняет... Я кивнул, хотя понимал, что в такую погоду, на ночь глядя, бездомного Хохрика никуда не дену... Прикончили мы бутылку, ожил Хохрик. Стал прежним, себя в великие зачислил, стал поучать: мол, неправильно все живут, и не ищут, где истина, а истина может открыться только под землей. И что недаром тела наши предают земле и то, что душа воспаряет в небо - это тоже утешительные выдумки, для душ тоже подземный мир раскрыт. Спорить мне с ним не хотелось. Я достал из буфета еще одну бутылку и принес на кухню, ощущая на спине осуждающий взгляд жены. Хохрик выпил и стал еще более хвастлив и разговорчив. И говорил он запальчиво: «Ты видишь только мир, доступный твоим глазам, ты видишь только поверхность мира, а знаешь - где его изнанка - она под землей. И большая часть города там. Вся история там! На земле Калининград, а под землей Кенигсберг. И город, и всю его многовековую историю пытались стереть с поверхности - и бомбами английскими и нашими бульдозерами, а она, история, затаилась в слоях подземных и ждет своего часа! Ты ведь не знаешь, а подземные переходы соединяют все форты, а самый длинный подземный ход ведет к замку на Бальге. Из этого перехода никто еще не возвращался! Там полно крыс - целые крысиные колонии. И на пути большое озеро и в нем водятся караси. Московским диггерам такое и не снилось! Читал об их жалких походах? А у нас под землей всем правили эсэсовцы, это до поры до времени, теперь внуки эсэсовские обитают! Я там везде свой. У меня там свой бункер есть, его для Коха строили, а я все подлатал и живу, туда никто дорогу не найдет! Такие лабиринты, из которых ни одна ариандова нить не выведет!»

Я его не перебивал, только наливал, да закуски подвигал. Ел он жадно, и непохоже было, что жизнь его под землей беззаботна, наверняка запасы продуктовые кончились, которые немцы еще заложили. О многом я и без Хохрика был наслышан. Еще в юности нашей вдосталь полазали мы по подземным ходам, искали там сокровища, находили галеты и консервы. Они нам тогда дороже всяких сокровищ были. В голодуху не до Дюрера! Потом я работал на верфи, раньше у немцев это была самая большая верфь, целый город у залива, да и под землей - цеха. Залили их немцы, когда отступали в сорок пятом, пытались мы воду откачать, но ничего не удалось сделать. Вытащили два сверлильных станка и баки с краской. Краска эта держалась на бортах так, что зубилом не соскоблишь. Еще там, в подземном заводе, спирт был. Его-то и искали. И немало было искателей, которые так из-под земли и не вышли. На их поиск целые спасательные партии снаряжались, но редко удавалось бедолаг спасти. Находили других, кто с войны еще по подземельям таился. Там все перемешалось - и наши солдаты скрывались, и фашисты, и евреи... Да уж много лет с тех пор прошло, теперь под землей совсем другая публика - бомжи, отверженные, спившиеся, все потерявшие, подобно моему Хохрику. Это он передо мной хорохорится: бункер Коха, знаем мы эти бункеры, спит где-нибудь в закутке у теплотрассы и отбросами питается...

И сказал я Хохрику, полно уж тебе в темноте подземелий ютиться, сходим вместе к нашему председателю, пусть выхлопочет тебе общежитие. А еще, вспомнил я, собирались ведь дом для престарелых работников искусства строить, там вообще прилично прожить можно будет - и кормежка и уход медицинский. «Ты за кого меня принимаешь! - обиделся Хохрик. - Чтобы я свою подземную свободу променял на пресную кашку! Я там, под

землей, говорю что хочу, иду куда хочу, и счастлив, что не обременен ни семьей, ни домом, ни вещами! Вот ты сидишь со мной, а все оглядываешься, все боишься, что, мол, жена скажет, а мне - никто не указ! Я сегодня самый свободный человек!» Я стал объяснять Хохрику, что нынче свободы и на земной поверхности предостаточно, хотя в душе не мог с ним не согласиться. Прельстили нас свободой. А пока мы дышали воздухом вольным, все без нас и поделили и опять построить хотят по ранжиру. И все же пока это не душное подземелье... А Хохрик не унимался, все хотел показать, что не опустился он на самую низшую ступень, а напротив, в отличие от других поэтов, возвысился. И стал он говорить, что не один такой, что даже есть под землей вольные типографии. И твой любимый Юркан там, он там король! Но свои книги издавать не хочет. Ждет, когда признание к нему придет, и народ лобызать его стопы будет!

- Юркан умер давно! - остановил я словесный поток Хохрика. - Ты что-то путаешь! Хохрик скорчил гримасу, вытер бороду и спросил: «А ты на его похоронах был?» И точно под дых ударил. Да, не успел я тогда на похороны, в столице свои дела решал, издаться возжаждал, приехал только на сороковины. Не видел я его усопшим. Ужели и на этот раз очередной перформанс друг мой устроил... Любил Юркан розыгрыши, всегда он старался всех эпатировать. Помню, первую его книгу выпустили без названия. Сообразил, в тоталитарные времена назвать свой сборник: «И как бы ни убивали... » Его все умоляли: сними название, а он ни в какую. Юркан он и есть Юркан. Неужели жив! Господи, да какая это светлая весть! Я расцеловать готов был Хохрика. Ведь не было у меня друга ближе Юркана, и когда его не стало, я опоры в жизни лишился. Как он верил в меня! Как защищал! Когда я со своей

первой книжкой в издательство, дурачок, сунулся, в писательской организации обсуждение моей рукописи было. Хвалили все мои рассказы. И вдруг один кондовый старый большевик стал критиковать. Тут Юркан завелся. Этого старика быстро осадил. Вам, говорит, коллега, учиться писать надо, вы язык русский сначала освойте. И этот лауреат цэковский, который, кстати, пост большой занимал, говорит Юркани: Вы кто такой, чтобы мне замечания делать. А Юркан и отвечает: Я Леонова правил. Тут у всех челюсти отвисли: самого Леонова! Никто не поверил. А я после смерти моего друга в архиве его нашел письмо: благодарил классик соцреализма Юркана за замечания дельные и правку своего знаменитого романа «Русский лес». Но почему Юркан не предупредил меня, что решил всех обмануть. Неужели не мог весточку послать, через того же Хохрика, который часто из-под земли вылезает. И обидно мне и так захотелось Юркана увидеть, нет сил сопротивляться желанию. Пошли, пошли, согласился Хохрик и бутылку со стола в свой рюкзак. А на мне жена повисла, куда ты такой пьяный, заметут в милицию с твоим носом. Опасения ее имели основания. Похож я на лицо кавказской национальности. Волосы черные, нос с горбинкой. Всегда паспорт с собой приходится носить. Показывать, что свой я, местный... Но если пьяный что задумал - ему перечить тяжело. Отодвинул я жену, накинул куртку кожаную с капюшоном и дверь ногой открыл. Хохрик за мной едва поспевал, а позади причитания слышались, словно оплакивала нас моя Ярославна.

Ноябрьский дождь хлестал на улице, но я его почти не замечал, только почувствовал холод за шиворотом, да и трезветь стал. Один раз поскользнулся и чуть не упал. Хохрик во время поддержал. Кричал он мне, стараясь перекрыть шум дождя, о том, что главный вход под королев-

ским замком, но это далеко, что здесь он знает запасной вход через тепломагистраль. И точно свернули мы за угол и около аптеки нашли нужный люк, приподняли его, и Хохрик ввинтил свое тело в черноту отверстия, а я полез за ним. Пахнуло в лицо затхлостью и вонью, хоть нос затыкай. Осторожно нащупывал я ногами скользкие металлические скобы и спускался вслед за Хохриком все ниже и ниже. Уже не слышно стало шума дождя, его сменило тихое журчание сточных вод, стал и воздух чище, но темнота, хоть глаз выколи. И наконец там, внизу, Хохрик разорвал темноту вспышкой света. Я спрыгнул на ровную площадку. Хохрик повозился с каким-то кабелем, и теперь вокруг засветились десятки ламп. «Вот и добрались до первого моего схрона!» - констатировал мой проводник. Потом он повернул задвижки на большой кованой двери, и мы очутились в помещении, бывшим очевидно вещевым складом. Чего здесь только не было. И при таком обилии вещей Хохрик выходит на поверхность экипированный как последний оборванец! Заметив, что я с удивлением рассматриваю стеллажи с одеждой, Хохрик пояснил: «Все на строгом учете. Мы, когда на землю поднимаемся, все сдаем и получаем вонючую рвань. Если наденешь на себя что-нибудь чистое, тогда не сдобровать. Узнают, что под землей есть такой склад - от воров не отобьешься! Где ты видел такие куртки? В рейхе их выдавали летчикам-ассам по особому талону, подписанному самим Герингом!» Хохрик достал две куртки, переделался сам и мне сунул одну. С трудом я натянул на себя кожаную куртку на толстой подкладке. Хохрик объяснил, что такая куртка необходима, потому что не везде есть освещение, придется подолгу идти в темноте и наткаться на разные преграды. И еще подобрал он мне резиновые сапоги с длинными голенищами, да заставил перевязать веревкой эти го-

ленища. Затем нагрузил рюкзаки для себя и для меня, положил туда инструмент, респираторы, даже маски для подводного плавания. Тяжесть почти неподъемную пришлось взвалить на себя. Мы выпили по баночке пива из его запасов и тронулись в путь. Поначалу дорога была легкой. Мы шли по рельсовому пути, семена со шпалы на шпалу. Хохрик объяснил, что раньше, сразу после войны, здесь еще ходили поезда, было два направления - одно вело в ставку фюрера «Волчье логово», а другое на Пиллау. Никто из наших властей не поверил, что такое возможно, хотя докладные в обком поступали. Мощные насосы нужны были. Подходы к этим путям и все туннели немцы залили водой, осушать никто не собирался. И вот только года два назад догадались бомжи спустить воду и называют теперь эту подземную дорогу - «большой рельсовый шлях». Мы шли по этому шляху часа два, а потом втиснули свои тела в металлическую трубу и заскользили вниз навстречу тьме и неизвестности. Вышли мы в большой сводчатый тоннель, освещенный лампой, вделанной в глубокую нишу. И я мысленно обругал Хохрика, с какой стати нагрузил он меня таким тяжелым рюкзаком, ничего нам не понадобилось и наверняка не понадобится, а дороги здесь поровней, чем на поверхности, да и освещенность получше. Знал я, что остался под землей после немцев целый город, но чтобы так все сохранилось - даже не мог и подумать. Мы все жалели Хохрика, думали - мучается, бомжует, а у него здесь настоящий рай... Наверное, Юркан знал, что здесь можно безбедно существовать, вот и придумал собственное исчезновение. Каким он теперь стал? Узнает ли он меня? Прошло ведь более десяти лет со дня его «похорон»...

- Теперь собери все силы, - сказал Хохрик, - чтобы к Юркану пройти, нам придется еще на уровень спуститься, а там крыс полно, вынь из рюкзака битую на всякий слу-

чай... Здесь водятся не простые крысы, а крысы мутанты и учти - у них, у стаи, общее сознание, они могут мгновенно принять любое решение, не угодишь ты им - загрызут... И упаси тебя господь, встретить крысиного короля, он чужих не терпит!

Крысами он меня решил напугать, это все бомжатские выдумки, чтобы никто не лез под землю, еще и крысиного короля Хохрик приплел, этим королем только детей пугать, читал я, что так называют несколько крыс, у которых срослись хвосты, но ни разу я не встречал людей, видевших так называемых крысиных королей...

- Да здесь крыс меньше, чем у мусоропровода в нашем доме, там постоянно шныряют, такие здоровенные! А здесь я еще ни одной не встретил! Это ты своих друзей-бомжей пугай, а не меня! - сказал я Хохрику.

Хохрик не стал спорить, он молча шел впереди. Справа послышалось шуршание, оно усиливалось. Я разглядел десятки вентиляторов. Работали всего несколько. Из вентиляционного отверстия что-то метнулось под ноги. Держись правее, крикнул Хохрик, видишь, впереди освещена бетонная площадка, здесь у крыс нечто вроде ристалища. Хочешь посмотреть их поединки. Только постарайся не шуметь.

Я сделал несколько шагов и тогда разглядел мечущуюся тень. Подошел, вернее, подкрался поближе и теперь увидел двух крыс. Одна была побойчее и напала на ту, что почти замерла. Нападающая крыса со вздыбленной шерстью яростно щелкала зубами. Вторая крыса опрокинулась на спину и тяжело дышала. Мне показалось, что я увидел слезы в ее глазах-бусинках, слезы и испуг. И вдруг мгновенно эти бусинки стали неподвижными.

- Все, конец представлению, пошли, пока нас не заметили, - сказал Хохрик.

Я стал расспрашивать, что это за ритуальный танец был у двух крыс.

- Обыкновенное убийство, - ответил он.

И стал объяснять, что только крыса может убить другую крысу, даже не дотронувшись до нее, более сильная воздействует психически на своего противника и с такой силой, что у слабой крысы останавливается сердце. И он стал торопить меня, сказав, что мы идем параллельно дороге крыс, смотри под ногами следы помета. Я ничего не разглядел. И подумал: поэты, даже став бомжами, продолжают сочинять свои фантазии, наделяя разумом даже крыс... Какой у них может быть разум? Издавна их люди презирали, недаром называли собачками дьявола...

Справимся с любыми крысами, крикнул я Хохрику, но на всякий случай биту достал, она могла и клюшкой служить и в темноте помочь нащупать препятствие. Хохрик предупредил, что пойдем в абсолютной тьме, фонарик есть, но надо беречь аккумуляторы. И опять мы опустились по металлической трубе и выскользнули в такую густую тьму, что, казалось, она сжимает наши тела. Хохрик включил фонарик, мы стояли почти по колено в маслянистой воде, пахло фекалиями. Вот его подземный рай! Утроба города, куда все спускают отходы! Настоящая преисподняя... Я старался идти за Хохриком почти вплотную, боясь в темноте потерять его. Никаких крыс на пути нам не попало, да и шли мы не очень долго, вскоре открылся перед нами освещенный проход, который вывел в просторную галерею. Свод из старого обожженного кирпича сохранил смутные фигурки ангелов, стены были тоже расписаны многочисленными фигурами, краска потемнела, и трудно было что-либо различить, но понял я, что изображены баталии рыцарских времен. «Только не дотрагивайся ни до чего, - предупредил меня Хохрик, - все на-

столько здесь прогнило, что почти мгновенно превращается в труху, а за порчу картин здесь могут и прибить, да и от Юркана получишь по полной программе... » Чудак Хохрик, пусть он Юркана боится, а мне то своего друга не стоит опасаться? Книгу его я выпустил, надо было захватить с собой - пусть посмотрел бы, порадовался. Детей у Юркана не было, жен своих он всех разогнал. Сидит теперь под землей тихо, негде ему здесь витийствовать. Зря он скрылся от всех, мог бы сейчас большой пост занять... Болтологи нынче в цене...

После галереи снова нас окутала мгла, но она уже несколько меня не страшила, я был уверен: мы близки к цели. Идти приходилось по пояс в воде, но сапоги мои воду не пропускали, и я чувствовал, что у меня достанет сил преодолеть любую преграду. Мое радужное настроение вмиг оборвалось от истошного вопля Хохрика. Я включил фонарик, свет его вырвал из тьмы желтоватую поверхность воды, я поволил фонариком из стороны в сторону - Хохрика нигде не было. И тут я почувствовал, что вода стремится затянуть меня, что она заметно прибывает. Я кинулся к стене, нащупал крюк и схватился за него. Крюк был не один, вся стена была усеяна ржавыми крючьями. Я стал кричать, звать Хохрика. Эхо повторяло мои напрасные крики. Я понимал, что без него отсюда не выберусь. Вода начала проникать в мои сапоги. Я раскрыл рюкзак, надо было достать трос, привязаться к крюку. В это время позади меня что-то захлопало, я обернулся: существо в маске двигалось ко мне. Я приготовился к схватке, и уже решил, что нападение лучшее защита и надо бить первым, когда существо это сбросило маску, и к моей радости я увидел совсем рядом моего Хохрика. «Пришлось нырять, - объяснил он, - искать кабель, черные крысы, наверное, перегрызли, они враждуют с серыми - пасюками, делают

все назло... Насосы перестали работать, а может быть кому-то очень не нравится, что мы здесь бродим. Вход остался под водой. Мы сейчас в районе Королевского замка на глубине, я думаю, метров в пятьдесят. Крюки здесь вдоль стен. У немцев здесь был особый следственный отдел, пытали людей, а потом, как туши оставляли висеть на крюках и пускали воду. До входа к Юркани будем под водой добираться... » Я отдернул руку от крюка. Так вот чем хотел спастись... Меня передернуло. Я достал маску, хотел уже ее натягивать и приготовился погрузиться в грязную и холодную воду, когда увидел, что вода буквально на глазах начала спадать. Обрадованный Хохрик даже подпрыгнул, обдав меня брызгами. Это Юркан все наладил, догадался я, он ждет меня. Он ведь и Хохрика специально ко мне подослал...

Лаз оказался совсем рядом, отверстие было узкое, облепленное слизью, мы скользнули в него и очутились сразу на довольно-таки широком пространстве, похоже, что у эсэсовцев здесь был плац, вдали угадывалась сторожевая вышка, и одинокий фонарь над ней почему-то мерно раскачивался, хотя никакого даже намека на ветер не было. И вдруг зазвучала торжественная несколько приглушенная музыка, я прислушался, это был Бетховен, любимый композитор Юркана, значит, обрадовался я, сейчас появится и сам Юркан. Прошло столько лет, узнаем ли мы друг друга... Я сделал несколько шагов вперед, навстречу глухим аккордам, и в этот момент лампа над вышкой погасла, и плац погрузился в полную темноту.

«Приветствую тебя, друг мой», - раздался голос, идущий откуда-то сверху. Юркан, позвал я. Ответа не последовало. И снова голос откуда-то с высоты: «Я рад, что ты спустился под землю!» Готов поклясться, голос принадлежал Юркани, небольшая картавинка и раскатистые глас-

ные, от давней привычки постоянно читать свои стихи вслух. И в то же время были в этом голосе незнакомые мне механические нотки. Столько лет он под землей, можно было вообще голоса лишиться в этой сырости, стать хрипуном. А сейчас говорит отчетливо резко. Юркан, крикнул я, иди же ко мне, где ты, Юркан? И почему такая тьма? «Под землей свои законы и здесь замедляется время», - продолжал голос Юркана. Такое было впечатление, что он не слышит меня. И действительно - ни одного слова не было обращено непосредственно ко мне. Он громил все и вся, как и в прежние времена, он не допускал и доли компромисса. Он трактовал свои истины: «Только под землей сохранился древний Кенигсберг, в котором человек обретает истинную свободу. Только здесь каждый может стать королем! Мы можем только здесь обрести единое сознание, такое, каким обладают крысы. При таком сознании можно предугадать любые события. Можно покинуть корабль задолго до того, как он начнет тонуть. Можно спастись от любого землетрясения и цунами. Единое сознание и выход на один уровень с крысами - вот выход для всех нас. Среди праха и отходов произрастает новая личность, для которой интересы собственные перестают быть главными. Утописты всех времен и народов хотели равенства, а получали взамен еще больший террор, чем тот, против которого восставали. Подземелье вместит прах всех тех, кто не сомневался в своем величии и бессмертии и всех тех, кто старался прокрасться по жизни незамеченным. Только здесь стихи звучат с той силой, с которой они никогда не звучали на земле! Сюда никогда не доберутся сегодняшние приватизаторы культуры. Здесь создается новое общество единого сознания. Мне уже не нужно будет говорить и сочинять, все ресурсы моего мозга доступны другим обитателям подземелья. И те, кто был низве-

ден в ранг бомжей, еще долго будут смеяться над жалкими усилиями надземного мира... » Он говорил еще долго, иногда замолкал и тогда слышалось причмокивание и скрип, словно в перерыве между словами он грыз что-то... Во многом с ним можно было согласиться, многое я не воспринимал всерьез. Я слишком хорошо знал Юркана. Он всегда стремился к вождизму, он придумывал себе цели и обосновывал их выдуманными фактами, а потом твердо верил в то, что все, выдуманное им, несомненно произошло в действительности. Он принадлежал к пассионариям, которых не так уж много на нашей земле, он был в списках тех, которых отстреливают в первую очередь. Он сам пожелал расправиться с собой, инсценировав свою смерть. Новым в его словах была для меня лишь его вера в коллективное сознание, слышать это от него было странно, он сам был индивидуалист, каких поискать! Мне хотелось прервать поток его речей, спустить его с котурн, охладить его словотворчество, я крикнул: «Кончай, Юркан! Я не затем пришел сюда, чтобы стоя в темноте выслушивать твои речи! Разве так мы встречались с тобой на земле?»

Никакой реакции на мои выкрики не последовало. Тогда я стал звать Хохрика, но мой проводник исчез, растворился в темноте, а возможно, получил приказ Юркана покинуть место встречи. Однако время шло, а настоящая встреча так и не намечалась. Я заметался в темноте, натываясь на металлические столбы, которых я раньше не заметил. Помещение стало наполняться синеватым газом, трудно стало дышать, я потянулся к рюкзаку, чтобы достать респиратор, но движения мои стали тяжелыми, руки уже не слушались меня...

Очнулся я в тесном закутке, довольно-таки теплом и, как показалось мне, весьма уютным. Лежал я на груди изоляционных плит, застеленных старыми ватниками, под

боком у меня проходила паровая труба, от нее то и шло тепло, я понял, что попал в типичное прибежище бомжей, а значит, мой Хохрик где-то рядом, я окликнул его, но вместо голоса Хохрика вновь услышал слова Юркана, он произносил их размеренно, словно они были выверены давно и заучены, как полюбившиеся стихи. «Плодами любой революции пользуются мародеры. Фашисты и коммунисты легко приходят к власти. Необходима независимость суждений. Надо менять не систему, а мышление. Необходимо коллективное сознание» В темноте я не мог разглядеть выражения его лица, но отчетливо представил, как он в своей обычной манере кривит губы. «Юркан, пришла пора твоя, надо тебе возвращаться, - перебил я его. - Столько мы с тобой натерпелись и от цензуры, и от местных идеологических царьков, а тут свобода пришла! И о каком коллективном сознании ты говоришь, быть как все, разве об этом мы мечтали, разве мы стояли за то, чтобы подавлять отдельного человека, это было задачей большевиков. Ты же ненавидел их! Ты бы сейчас мог быть директором издательства, мог стать народным избранником, в тебе всегда была такая мощь, такая сила, что же ты, Юркан! Ведь сам боролся за приближение нового времени, сам торопил его. Сейчас на земле настало твое время, время перемен, ты так хотел его, помнишь, наши ночные споры. Ты обязан вернуться. Надо организовать передачу народу всех сокровищ, спрятанных в подземном городе, надо восстановить наш ганзейский город», - я протянул руку в ту сторону, где по моему предположению стоял Юркан. Ответного движения с его стороны не последовало.

«Ты всегда был слишком доверчивый, - сказал Юркан, почему-то голос его стал тонким, почти женским, - тебя, как и всех наших друзей-либералов, просто надули ново-явленные большевики! Они с удовольствием примут все

сокровища подземного города. Все, что веками копилось рыцарями и рейхом, они спустят за пару лет на французской ривьере! Зачем им твой город? Они продолжают твердить о том, что здесь был рассадник фашизма! Они славят тех, кто разрушал здесь древние замки и разорял кладбища. Теперь на месте этих кладбищ они открывают дискотеки и возводят для себя аляповатые особняки. Они завели себе охрану и бегающих вдоль высоких заборов сторожевых собак, чтобы ты не лез к ним за спонсорскими подачками! Ты всего лишен на земле, тебе ничего не досталось. В их руках все издательства, твои книги уже никому не нужны! Никаких реальных перемен не произошло!» - «Ты что, Юркан, только слепой может не увидеть эти перемены, ты верно от долгой жизни в темноте ослеп! Разве можно не замечать перемен! Магазины из полупустых превратились в переполненные. Никто уже не стоит в очередях. Все женщины узнали, что такое стиральные машины. Частные автобусы на всех улицах. Ведь раньше было не проехать в трамвае или в троллейбусе, тебя так сдавливали, что ты еще долго после поездки приходил в чувство!» Мои слова прервало его хихиканье. «Ты еще скажи, что перестройка принесла памперсы и прокладки, что это ее заслуга. И компьютеры тоже ее заслуга!» - совсем уж пискливым голосом произнес он. Тут он был, конечно, прав, технический прогресс не остановим и при любом строе, где быстрее, а где медленнее, он приносит свои плоды. И все же в той империи, где мы провели большую часть жизни, никто не брал в расчет отдельного человека. Все это я долго пытался объяснить Юркану. И о том, что такое демократия я тоже долго говорил. И снова ответом мне было хихиканье, перемежаемое кашлем, а потом почти выкрик: «Демократия! Это пародия на демократию! Такие романтики, как ты, способствовали приходу к власти

бандитов! Народ наш совершенно не готов к демократии, народ от крепостного рабства лишь недавно освобожден, народ просит плеть, а ему суют свободные выборы и народ выбирает самых вороватых паханов! И ты хочешь, чтобы я вернулся на землю. Поучись у крысы! Ты увидишь, как здесь все устроено и будешь просить, чтобы тебя оставили здесь! Ты никогда не вернешься на землю!»

Голос его все время усиливался, теперь этот голос уже без всяких сомнений принадлежал моему другу, и я понял, что звучит он откуда-то сверху, что, возможно, никого Юркана рядом со мной нет. И не исключено, что со мной говорил не только Юркан, возможно там была и его очередная пассия. Я ущипнул себя, чтобы определиться - сплю ли я или это происходит наяву. Голова моя была слишком тяжелой после того, как я надышался газом. Я понимал, что мне не переспорить Юркана и к тому же я не люблю спорить с тем собеседником, лица которого я не вижу. Я закричал: «Хватит меня дурачить! Юркан, включи свет! Ведь здесь же есть электричество... » Мой крик породил лишь эхо. И все смолкло. Юркан больше не хотел со мной разговаривать. Я стал в темноте исследовать помещение, теплые трубы - значит здесь проходит паровая магистраль, были еще трубы, но более тонкие, возможно, для телефонных линий, и вокруг полно тряпья. И такое впечатление, что здесь не один я нахожусь, что все это - широкая единая кровать для тех, кто ищет приюта под землей. Подняться в полный рост было невозможно, я ползком пробрался к противоположному краю, там тоже были трубы, опутанные паутиной. Мне долго пришлось счищать паутину с рук. Сколько времени я провел здесь, я не мог определить. Понятия я не имел, который сейчас час. Часы я в спешке забыл надеть. Да здесь, наверное, и не нужны никому часы... Что день, что ночь - все едино. И чем бо-

лее ты углубился под землю, тем менее притяжение, а значит и время замедляется. Как вести отсчет? Сколько я здесь пробыл: сутки, двое, а может быть, всего несколько часов. Дома жена наверняка распаниковалась, подняла всех на ноги. А у меня и мобильного нет, так бы позвонил, успокоил. Давно пора было приобрести мобильный телефон, все откладывал, откладывал его покупку, сам себя убеждал, что можно обойтись и обычным телефоном. Надо поскорее выбираться отсюда. Раз Юркан не хочет по-человечески встретиться, что мне здесь делать. А если он решит не выпускать меня? Как вырваться? И куда подевался мой Хохрик, где его носит? Мне без него не выбраться... А впрочем, я должен найти выход, если меня специально не замуровали. Надо идти, придерживаясь паровой магистрали, и наверняка придешь к разводному колодцу, к выходу на землю.

Я решил, что надо собираться в путь, не ожидая Хохрика, когда услышал, что кто-то тяжело вздыхает слева от меня. Я протянул руку и понял, что рядом кто-то лежит. Поданная мне навстречу рука была гладкой и теплой. Хрипловатый, но приятный и очень знакомый женский голос прозвучал так отчетливо, словно был усилен микрофоном. «Уверена, ты забыл меня, я - Шахиня!» Господи, да разве мог я забыть ее, до сих пор являющуюся в мои сны. Сколько раз я пытался отыскать ее, и все было бесполезно. Казалось, все, что касается ее жизни, было планомерно убрано из всевозможных документов. «Только не включай фонарь... Прошу тебя, не включай, обещаешь?» Я придвинулся ближе к ней, теперь я ощущал знакомый запах ее тела - желанный и терпкий. Конечно, я обещаю. Мне очень хотелось увидеть ее всегда удивленно распахнутые глаза, но тогда бы она увидела и меня. Прошло столько лет, свет фонаря не должен отобразить у

нас того образа, который сохранен в воспоминаниях. Она могла ничего не объяснять, я сразу понял, что Юркан забрал ее с поверхности земли и уничтожил всякую память о ней. И она в подтверждении моей догадки сказала: « Я давно хотела увидеть тебя, я хотела все объяснить, но даже если я выберусь отсюда, на земле мне нет места. Я ничем не смогу доказать, что я - это я. Ни в одном архиве, ни единой бумажки. В интернете тоже все стерто. Сегодня я человек без имени. Для людей поверхности обычная бомжиха, для людей подземелья - бывшая любовница Юркана. Уж лучше бы я была крысой. У них заботятся все о стариках, приносят старым лучший корм, никто ничем не обидит... И детей они не бросают, у них есть и ясли, и крысы-воспитатели, они никогда не лишили бы меня дочки... » Она надолго замолчала, а я не мог найти слов утешения. Наверное, я был во многом виноват, но не во всем. Она сама выбрала между нами двумя, Юрканом и мной, того, кто казался ей более сильным и надежным. Юркан умел очаровывать женщин, он сам писал стихи, читал наизусть чужие стихи, а главное, он был высоким и сильным. Сила зачастую порождает жестокость, об этом не догадывались его многочисленные пассии. Стоило ему кивнуть и они, простив все, вновь впрыгивали к нему в постель. Шахине для этого не потребовалось преодолевать большие расстояния. Мы тогда снимали квартиру вместе с Юрканом, я жил в маленькой комнате, он в большой - проходной. Была весна, очень бурная наша весна, комнаты были завалены ветками черемухи, не пол, а снежная постель из лепестков, и этот сводящий с ума запах цветения. Ночью Шахиня перешла из моей комнаты к Юркану. Под утро вернулась, я сделал вид, что не заметил, а когда рассвело, вновь проснулся от жаркого шёпота, Юркан стоял на коленях перед нашей кроватью и обещал Шахине

все немыслимые и фантастические горы счастья, которые, по его словам, не мог дать я. И вот его обещания — ночи подземелий. Но оказалось, что и этих ночей давно нет, и это тоже было в духе моего друга. Он умел ухаживать за женщинами, он умел обольщать, но на долгое время его не хватало. Зачастую все кончалось скандалами. Одной своей любовнице он прижег грудь сигаретой, другую голую выставил на лестничную площадку, а третьей, от которой никак не мог отвязаться, он насильно сделал татуировку с оскорбительной для нее надписью. Всякое бывало, и в то же время в оправдание Юркана могу свидетельствовать, что мог он в решающие моменты защитить женщину, даже рискуя собой. Помню, целый год он провалялся в многопрофильной больнице с травмой черепа, ему раскрыли голову кастетом, когда он в заброшенном парке, услышав крики, бросился спасать женщину, которую насиловали трое отмороzków. Человеку, обладающему большой физической силой, всегда достается больше, чем слабосильному. Сильный человек жаждет власти. На поверхности ничего не удалось сделать, и вот теперь все пришло к нему в подземном городе - и власть, и возможность распоряжаться человеческими судьбами. И часто тот, кто хочет освободить другого, сделать его счастливым, толкает человека из одного рабства в другое. Что он задумал сотворить со мной, какая роль отведена мне - я мог только догадываться. Возможно, ему нужен верный помощник, но ведь он не спросил меня - хочу ли я остаться под землей...

Шахиня говорила монотонно, будто вставлена в нее была кассета, которая время от времени повторялась. Оказывается, она давно не видела Юркана, а когда попыталась силой прорваться к нему, он пригрозил ей, что бросит в подвалы, где все принадлежит крысам. «Наверное, он грозил тебе тем, что отдаст крысиному королю?» - спро-

сил я и даже в темноте понял, что она задрожала. «Никогда не говори о крысином короле! Понял — никогда!» Ладно, пообещал я и сказал: все вы здесь с ума посходили. И предложил Шахине - давай уйдем, зачем тебе эта подземная жизнь. «И куда ты меня собираешься привести, у тебя, небось, жена и дети... » Я подтвердил: жена и дочка. «У меня тоже дочка, - сказала, сглатывая слезы, Шахиня, - у меня тоже дочка, но у нее даже нет имени... » Я подумал, что дочка недавно родилась, и спросил: сколько дочке лет. Она ответила, что пятнадцать. Большая, а без имени, что это за фокусы, опять выдумки Юркана? Ровно пятнадцать лет назад мы расстались с Шахиной. Я хотел подробнее расспросить Шахиню обо всем, но в это время, шумно дыша, словно он спасался от преследователей, вполз в наше теплое убежище Хохрик. «Не включай фонарь!» - крикнула Шахиня. «А я об этом вас хотел попросить, - преодолевая одышку, ответил Хохрик - есть хочу, помираю!» Шахиня протянула ему сухарь. Он захрустел и зачмокал. «Ты как крыса, - сказала ему Шахиня, - той нужно все время что-нибудь грызть, чтобы стачивать зубы, иначе они во рту не поместятся!» Я протянул Хохрику термос с чаем, он сделал два глотка и сказал: надо уходить отсюда. А потом объяснил, что кто-то открыл задвижку на стоках и вода с Верхнего озера заполняет подземные проходы. Я вспомнил, как в дни моего детства, мы с большой радостью встретили весть о том, что в Верхнем озере в один из летних дней исчезла вода. Чего только не было найдено на илистом дне - и монеты разные, и фляжки, и даже пистолет, кому как повезло... Теперь радоваться нечему. Хохрик пояснил, что ищут того, кто открыл задвижку. Поначалу грешили на крыс, но Юркан уверен, что те не враги себе, что все это проделки новоявленного пьяного бомжа, а возможно и того, кто еще не знаком с законами

подземелья. Этим незнакомцем мог быть и я. Поймают, потом докажи, что ты не верблюд. Надо срочно уходить. На этом настаивал и Хохрик. Шахиня идти с нами отказалась. Сказала, что сил у нее нет, и попросила меня, если я встречу дочку, вывести ее на поверхность. Я спросил, как я ее узнаю. Шахиня ответила, что дочка сама, если захочет, найдет меня.

Мне ничего не оставалось, как положиться на Хохрика и довериться ему. Он решил вывести меня на поверхность через полужасыпанный проход, который уводил к подвалам Королевского замка, где должен быть работающий лифт... Он объяснил мне, что там место сбора оборотней-скинхедов, но вряд ли они в праздник туда спускаются. В одном подземелье еще в войну фашисты замуровали еврейских женщин. Он пробовал туда пробиться, но такая мощная энергетика вокруг-лом гнется. Изнутри камни летят! «Я там сознание потерял, - сказал Хохрик - и, наверное, конец бы мне, если бы не очнулся от пения, это молитву кто-то читал и таким ясным голосом, чистым и проникновенным, что никогда я в жизни такого не слышал. А однажды меня кто-то за ноги вытянул из пролома, я застрял там и тоже с жизнью прощался. И самое страшное в заброшенных ходах-это попасть в угарный тупик, можно задохнуться в занорыше с углекислым газом, все стараются сбросить под землю отходы и нечистоты. Дренажные и сточные системы давно никто не чинил. Иногда попадаешь в такую черную жижу, в такое зловоние, что не продохнуть. Хорошо, что у нас с тобой есть противогазы...»

Все это он бормотал себе под нос, и я с трудом разбирал слова, и все время мне казалось, что хочет он меня запугать. Я не очень-то и боялся за свою жизнь. Убегать, так и не повидав Юркана, не выполнив просьбу Шахини, было бы не совсем достойно того кодекса чести, по кото-

рому, изобретенному мной самим, я пытался жить. И еще одна мысль вдруг обожгла меня - дочке пятнадцать лет, она может быть и моей дочкой, своей дочке Юркан не позволил бы жить без имени, он хочет сделать из нее маленькую рабыню, подобную той молодой Шахине, которая была готова на все ради своего кумира. Я окликнул Хохрика с намерением уговорить его не спешить на поверхность. Я стал объяснять, что смогу обо всем договориться с Юрканом. Ведь он же говорил со мной, и в его словах было многое из того, что и меня волнует. «Не выдумывай, Юркан многолик! Каждый слышит от него те слова, которые сам ждет. Ты ничего не понял!» - выкрикнул Хохрик, резко схватил меня за руку и увлек в полутемную нишу. Все нарастающие писк и зловещее верещание заглушили дальнейшие мои вопросы. Да и не до вопросов уже было...

В полумгле я увидел ошеломившее меня зрелище: крысы выскакивали из вентиляционной трубы одна за другой и шлепались на бетонную площадку, их было так много, что вскоре все вокруг заполонила серая копошащаяся масса, а они все продолжали выскакивать из отверстия в стене, словно бесконечный воздушный десант. Я был в шоке и не мог даже вымолвить ни слова. Вот мы и попались, теперь-то уж нам точно не уйти. Это Юркан направил их сюда или тот, кто притворился Юрканом, - мелькнула запоздалая догадка. Крыс становилось все больше, теперь они бегали по спинам тех, кто выпрыгнул первыми. Крысы беспокойно обнюхивали воздух, махали длинными лысыми хвостами. Вставали на задние лапы, пытаясь что-то разглядеть в глубине перехода. Теперь все это мне напоминало огромный котел, в котором варилась каша для солдат. Серая каша кипела и вздрагивала. И вдруг, словно по волшебству, эта бурлящая каша застыла. Усатые мордочки повернулись в

нашу сторону. Они почуяли нас, это конец, я сжал битую в руке и приготовился отстаивать свою жизнь. Хохрик вцепился в меня. Мы хотели бы вжаться в холодную бетонную стену, хотели бы стать невидимками. Но не мы интересовали крыс. Буквально в метре от нас навстречу крысиной массе двигалось неторопливо огромное существо, вернее не само двигалось, а несколько огромных крыс поддерживали его со всех сторон. Когда страх прошел, я рассмотрел, что у этого существа несколько усатых голов. Я насчитал семь. Крысиный король, понял я и почувствовал, что холодный пот проступил на моей спине. Ну конечно это он, вслед за головами волочился по бетону серый комок, величиной с футбольный мяч. Это были сросшиеся хвосты семи крыс, ставших одним существом, одновременно беспомощным и могущественным. Крысиный король, который самостоятельно не в силах был сделать и шага, обладал энергетикой токов семиголового мозга. И мгновенно смолкло все вокруг. Ни одна из массы крыс не смела ни пискнуть, ни пошевелиться. Такое напряжение повисло над нами, что, казалось, вот-вот произойдет смертельный взрыв. Конечно, крысы раньше других узнали о затоплении подземелья, крысиный король собрал их, чтобы спасти, им никакого дела нет до нас. У нас одна и та же цель, но мы- то хотим с Хохриком вдвоем спастись, а крысиный король заботится обо всех своих сородичах.

И в наступившей почти звенящей тишине мы неожиданно услышали голос Юркана:

*Вперед, растворитесь во мгле  
Под взглядом крысят, как под дулом!  
О чем перед смертью подумал?  
Забывает Кенигсберг на земле!*

Очевидно, эти стихи предназначались мне, в далекой нашей юности нечто подобное ходило по рукам, стихи

считались крамольными, потому что тогда всякое упоминание о Кенигсберге было запрещено. Крысы восприняли эти слова по-своему, возможно был вложен в них иной смысл, а возможно было и продолжение, недоступное нашему слуху. И крысы стали строиться, как солдаты на плацу. Они образовывали крысиные фаланги и строем проходили мимо крысиного короля, повернув в его сторону остроносые мордочки и вытягивая перламутровые уши. И мне почудилось, будто звенит в воздухе пронзительная мелодия флейты. Словно ожил крысолов из Гаммельна и невидимый повел за собой крысиные фаланги. Несомненно, это играл Юркан. Я помню, у него была старинная деревянная флейта, которой он очень гордился и даже умел выдувать на ней несколько мелодий. И когда последняя крыса исчезла из моего поля зрения, я сложил руки рупором и стал звать Юркана. Хохрик со зловещим шипеньем накинулся на меня и попытался заткнуть рот, я оттолкнул его, он замахнулся и наверное ударил бы, но в это время позади нас зазвучал завораживающий женский голосок. Мы разом обернулись. Первое - что бросилось в глаза - на девушке было длинное белое платье с большим декольте. И она была похожа на мою дочь Ольгу, только, пожалуй, была старше года на три. Я спросил ее - как тебя зовут невеста? Она ответила, что пока у нее нет имени и что она хотела бы получить имя цветка - Ия.

Я не знал такого цветка, но понял, что только это имя и подойдет ей. «Бежим, скорее, пока свободен проход!» - торопил нас Хохрик. Я протянул руку Ие. Она отстранилась и стала объяснять, что завтра у неё свадьба, что она не только получит имя, но и станет королевой. Твой жених Юркан? - догадался я. Она кивнула. Это носит на земле определенное название - инцест. Отец не может быть женихом. «А кто тебе сказал, что он мой отец?» - спросила

Йя, и не ожидая ответа, прошептала мне на ухо - мама сказала, что настоящий отец появится на моей свадьбе». «Не будет никакой свадьбы!» - почти выкрикнул я. «Скорее! - торопил Хохрик. - Что вы там спорите, скоро сюда хлынет вода и нам всем уже не выбраться!» Он тянул в одну сторону, Йя - в другую. «Да что вы паникуете!» - крикнула она. «Я должен тебя спасти, - сказал я, - теперь, когда я вдруг обрел тебя, и сразу потерять, я дал слово твоей маме, что выведу тебя из подземного города!» Йя отбежала от нас, крутнулась, завальсировала впереди и опять мне послышалась незримая флейта - на этот раз звучал Шопен, увлекаая нас нарастающей мелодией. «За мной, за мной! - радостно закричала Йя, не переставая вальсировать.- Не бойтесь! Никто не затопит подземный город! Крысиный король повел своих ратников к шлюзам! Идемте, вы увидите, что такое настоящая жертвенность!»

Крысиному королю дал команду Юркан, догадался я, невидимый Юркан внушил ему эту идею - жертвенность - он всегда говорил о ней с пылом, его героем был Ян Палах, совершивший самосожжение на Вацлавской площади Праги, протестуя против вторжения. Белое платье Йи мелькало впереди, теперь она была похожа на цветок, единственное светлое пятнышко во мгле холодного подземелья. Она совсем не чувствует холода. Она быстро бежит и, как и всякая невеста, сгорает от нетерпения, она не понимает, какому риску подвергает себя. Я поспешил изо всех сил вслед за ней. Возвращаться без нее я не имел права! Становилось все холоднее. Все явственнее слышался шум стекающей воды. Под ногами тоже была вода, мы уже шли по щиколотку в холодной воде. Вместо того чтобы спастись от потопа, мы устремлялись навстречу ему. Теперь к шуму вод прибавился писк, переходящий в отчаянные стоны. Еще каких-то двести метров пробежки по уз-

кому коридору и нам открылась странная картина. Я не сразу понял, что происходит.

Казалось, схлестнулись в полумгле два потока - воды озера, устремившиеся сверху, и серо-черный верещачий слой какого-то живого вещества. На возвышении, у отверстия, из которого хлестала вода, я увидел крысиного короля, окруженного крысами-телохранителями. Уподобясь маршалу, он молча наблюдал гибель своих подданных, своих солдат. Поток воды на глазах ослабевал. Все решетки около задвижки были забиты захлебнувшимися в воде крысами. Живые крысы карабкались по мертвым, чтобы лечь на решетки и умереть, наглотавшись воды. Часть крыс неожиданно отступила и вновь появилась у отверстия, толкая перед собой чугунную задвижку. Через несколько минут все было кончено. Шум воды прекратился. Груды мертвых крыс застыли мокрой шерстяной горой там, где низвергались совсем недавно воды Верхнего озера.

Крысиный король застыл без движения, словно оцепенел. Ия тихо всхлипывала. Я положил руку на ее вздрагивающее плечо. «Это все Юркан, - сказала она, - ему никого не жалко! Он всегда говорит, что новых нарожают!» Хохрик услышал ее слова и вступился за Юркана, он сказал, что, во-первых, повел на гибель крыс их король, а во-вторых, Юркан прав, пять-десять приплодов в год у каждой самки, каждый раз по десятку крысят, их сейчас вдвое больше чем людей! «Не слушай его, - сказала Ия, - каждый хочет жить, да и трудно под землей различить, где крыса, а где человек... » Я согласился с Ией, все живое может перерождаться, не жалеть жизнью других даже во имя великой цели, оправдано ли это. Мы уже это проходили...

Теперь, когда опасность затопления миновала, казалось, можно было не спешить, но Хохрик продолжал торопить меня, он был убежден, что надо уходить немедленно пока

всем не до нас. Буквально через час могут начаться поиски виновного, того, кто отодвинул затворы, падет подозрение на нас - и тогда можем попасть в пыточную. Он сказал еще, что не выносит физической боли. И опять воспротивилась Йя, она говорила горячо, буквально захлебывалась словами. На мои возражения сразу находила неопровержимый ответ. Она не хотела отступать, она ждала свадьбы, и даже если жених Юркан - она и с этим смирится, она не может бросить мать, которую могут отдать на съедение крысам, она не может бросить и крыс, обозленный Юркан начнет уничтожать и правых и виноватых. «Да видела ли ты Юркана? И что ты знаешь о нем!» - перебил я ее доводы. Оказалось, что она не видела Юркана, что здесь в подземелье стараются не всматриваться в лица. «А вдруг, он и есть крысиный король!» - бросил я последний довод. «Даже если это и так, - ответила Йя, - я тогда буду королевой и смогу всех спасти!»

Она была очень наивна и честна моя Йя, мы все не стояли и ее мизинца, она всех хотела спасти. Прикоснувшись к моей щеке, она резко отпрянула и в одно мгновение исчезла в бетонной нише, которую я раньше не замечал, я бросился за ней, в нише было узкое отверстие, при всем желании я бы не смог ввинтить в него свое тело. Хохрик тянул меня сзади за край куртки и что-то кричал. Я отступил от лаза и услышал голос Юркана, вернее теперь я понял, что это был вовсе не его голос, слишком много в этом голосе было механических звуков, словно проворачивался где-то под землей огромный несмазанный подшипник. «Награждаются посмертно», - вещал голос, а потом шло длинное перечисление имен и сообщение о создании пантеона. «Если мы не хотим лежать в этом пантеоне, надо спешить!» - торопил меня Хохрик, а я продолжал выкрикивать короткое имя цветка, но не было и не могло мне

быть ответа. Хохрик стянул с меня геринговскую куртку и напяливал какие-то провонявшие лохмотья, я не сопротивлялся. Потом он стал шарить по стене, пока не нашел заветного тумблера. Один поворот и он втокнул меня в узкий ящик из красного дерева. Места здесь хватало только на одного. Резко щелкнули дверцы. И я почувствовал, что меня возносит вверх с большой скоростью, виски сдавило, все внутри словно опустилось, живот налился тяжестью, и я потерял сознание...

Очнулся я на краю неглубокой ямы, слева сияли огни гостиницы, сыпал мелкий дождь, небо было темное и мрачное, я стал искать лаз, чтобы возвратиться в подземелье, исползал все вокруг, выпачкался и все напрасно. Здесь было много ям - на этом месте когда-то стоял Королевский замок, а теперь велись раскопки. Я нашел большую лужу, вымыл руки и почистил одежду. Потом я долго шел по ночному городу, пока наконец не добрался до дома. Оказалось, что я отсутствовал недолго, и особого скандала мое отсутствие не вызвало. «Где ты шлялся всю ночь! - ворчала жена. - Связался с этим бомжем, от тебя несет затхлостью, будто ты сам, как и бомжи, живешь под землей!» Говорить ей правду, рассказывать все, что со мной произошло, было бесполезно. Я ушел в другую комнату и заснул, как только прикоснулся к подушке.

Всю следующую неделю меня мучило сознание того, что я бросил там под землей и Ию, и Шахиню, и Хохрика, спасся сам и ничего не сделал для их вызволения, я тщетно искал возле нашей аптеки тот лаз, через который попал в подземелье. Не смог я попасть и на то место, где выбрался на землю. Все здесь было перекопано и огорожено высоким забором. Говорили, что здесь начали строить новый рынок. Я пытался рассказать местным краеведам о подземном городе и крысином короле, я говорил

с учеными из нашего университета. Никто не хотел мне верить. И в конце концов, я сам стал думать, что все это лишь пригрезилось мне. Неожиданно для меня во все поверила моя жена и даже стала чаще нужного ходить в аптеку, надеясь отыскать в аптечном дворе заветный лаз. И все время она спрашивала: когда же появится Хохрик. На то были свои причины. Ибо жизнь наша стала улучшаться. Картина, подаренная Хохриком, оказалась хотя и не работы Дюрера, но все же учеников его школы. Ее оценили в пять тысяч долларов. Блюдо же с видом Кёнигсберга мы не стали продавать, оно до сих пор висит у меня над кроватью, хотя я и понимаю, что место ему в музее. Я вглядываюсь в нарисованные фигурки людей, фланирующих по набережной Прегеля, и мне кажется, что женщина в белом - это Йя, и что она спешит на свою свадьбу. И я не могу остановить ее.

## ОЗАРЕНИЯ

Озарения приходят к человеку в полудреме ранним утром. Иногда он не успевает их удержать. Обиженные озарения покидают дом. Тяжело уходить зимой. На дорогах гололед. У стариков кости после перелома не срастаются. Большинство озарений молоды и не боятся гололеда. Они как вспышка молнии. В темноте они светятся. И за ними начинается погоня. Нельзя выделяться из толпы. Такое не прощается. Все молча идут к проходной завода, и никто не собирается светиться. И тогда озарения тоже перестают светиться и находят тихий уголок на вещевом складе и там засыпают. Спящее озарение никого не тревожит. И никто их не трогает. А утром они, наскоро умывшись, перелезают через высокий забор, заводской охранник их не видит, потому что озарения невидимы. Они доезжают без билета на втором троллейбусе до кафе «Москва». Там сижу я, угрюмый и печальный и красный, словно пролетарское знамя. Меня невозможно не заметить, потому что в кафе в такую рань никто больше не сидит. Я их не вижу. Но вдруг чувствую, как голова становится почти воздушной, в ней поселяется немыслимый простор и яркий свет, идущий от нее, образует нимб. Официантки, которым нечего делать, удивленно смотрят на меня. Они думают, что я святой. Н не хотят брать у меня деньги за те двести грамм коньяка, которые в это холодное утро согрели меня. Они зовут директора, чтобы и он пораздовался вместе с ними. Директор, почесывая пейсы, изображает из себя Станиславского. Не верю, говорит он. Тоже мне святой. Что это у тебя? Я улыбаюсь — а вы не догадались: это озарения! Впрочем, мне не до разговоров, я должен удержать у себя озарение...

## ТУМАН В НИДЕ

Вот уже третьи сутки Нида окутана слоями тумана. Поселок, и до этого тихий, впал в какое-то первозданное состояние. Безмолвие повисло над ним. Кажется, все вымерло. Лишь птичьи крики да прерывистые сигналы на-утофона. Лучи маяка не в силах пробить мглу, и настойчивые гудки призывают к невидимым судам, предупреждая о близости береговых отмелей. Из белой пелены проступают островерхие крыши домов, и эти крыши, и верхушки деревьев, внизу скрытые белизной, будто повисли в небе и вот-вот стронутся с места и поплывут над тобой. Ни ветерка. Кроны сосен застыли, словно вылепленные из воска. Твои шаги глухо отдаются в напряженном воздухе. Одежда пропиталась сыростью и стала тяжелой.

Глубокая осень. Грибная пора. Из парной, набухшей земли проклевываются маслянистые головки. Надо только нагнуться, припасть к самой земле - и тогда они возникнут перед тобой - желанные овалы рыжиков, застенчивые подберезовики, скрытые в песке зеленушки, лоснящиеся маслята. Грибы не интересно собирать одному. Не перед кем похвастаться своей находкой. Раньше я всегда вытаскивал в лес своих друзей, я заражал их страстью к грибной охоте. Никто из них уже никогда не придет сюда. Грибной запах не поселится в комнатах, где наперебой стучали пишущие машинки. Иные люди с беззвучными компьютерами сменяют нас. Они не могут отличить сыроежку от поганки. И не выходят из комнат в такой туман. Да и кому придет в голову собирать грибы в такую погоду?

Это опасно. Углубишься в лес и сразу можешь стать разрушителем границы. Как распознать - где ее невиди-

мая черта? Не вертится в ее существование - она обозначена лишь таможней и будками на главной дороге, но уже строят что-то грандиозное - стену или железный занавес - кто их разберет. Лес и залив не имеют границ. А если бы и были разделения - туман отменил бы их. Туман охраняет лес от праздных туристов и грибников. Теперь здесь слишком сыро. От обильной росы становишься сразу мокрым, тяжелеют ботинки, и стараешься уйти к дороге, найти эту дорогу. И тут при отсутствии солнца теряешь всякие ориентиры. Где Нида? В какой стороне ее уютные дома? Стоишь и вслушиваешься - откуда идут сигналы наутофона? Звуки не застревают в тумане, не теряются - они приобретают главную реальность. Нет ничего - только клочок земли вокруг тебя, все остальное неизведанная белая мгла. И только спасительные звуки. Они не повторяются - звуки без эха. Попробуй крикни - и нет тебе отклика. Может быть, ты уже десятки раз нарушил границу, может быть, бредешь вдоль нее. Никто не окликает тебя. За все это время не проехало ни одной машины. Границы рисуют на картах самолюбивые политики: это мое, говорят они, и делят землю. Для тумана и волн залива не существует границ.

Вслушиваясь в тишину, вдруг обнаруживаешь дальний плеск. Пробираешься навстречу ему. И вот идешь вдоль залива, сопровождаемый убаюкивающими вздохами прибоя. Море, спасающее от тоски и скованности берега. Но сегодня и его ширь поглотил туман. Я вижу только узкую темную полоску. Песок скрипит под ногами. Выходишь к пристани - застыли в воде безжизненные яхты с обвисшими парусами, притоплены у берега мшистые заброшенные баркасы. Можно вычерпать воду, столкнуть их на ленивую вздрагивающую гладь залива. Можно уплыть на них навстречу туману, но одному это не под силу.

Ржавый амбарный замок на дверях яхтклуба. Свернутые рыбацкие сети засыпает песок. Сезон кончился. Забыто время путины. Далеко в залив уходит мол - причал, одетый камнем. Узкая взлетная полоса. В солнечные дни хорошо идти по ней навстречу водному простору. Сейчас же, в тумане полоса обрывается, бредешь по ней - и не видно конца, вокруг только вода и пелена спрессованного влагой воздуха. Можно представить себя где угодно. Может быть, на иной планете, безликой и всеми покинутой, может быть, на рыбацком сейнере, затерявшемся среди тумана - приборы не работают, определить координаты невозможно - и надо уповать на небеса и терпеливо ждать, когда развеет белую стену...

Белый цвет вмещает все другие цвета и оттенки, их надо только уметь различить, уметь посмотреть на мир своими глазами. Придал же Моне сиреневый цвет лондонским туманам. Никто не хотел ему верить. И годы спустя лишь уверовали - он прав. Я вглядываюсь в туман над Нидой, в нем, пожалуй, лишь немного голубизны. Он остается для меня только белым. Он затягивает меня в свои бездны, он испытывает мое терпение. Он вытягивает из меня извечные вопросы. Что же дальше, куда плыть, где твой оставленный берег? Где обретешь ты надежный причал? А если плыть - то зачем? Кто ты есть в этом призрачном мире? Разумно ли его начало...

И почему не развеивается туман? Наверное, переполнилась чаша наших грехов, терпение Всевышнего кончилось. И туман никогда не рассеется. Он - преддверие потопа. Но никто не предупрежден заранее, не осталось ни одного праведника на Земле, и новый Ной еще не родился. И потому никто не построит ковчег, и нет голубя, который, выпущенный на разведку, вернулся бы с масличным листом в клюве. В дни такой тишины, проникающей в тебя,

понимаешь, как призрачно и кратко твое существование на земле, и как глупо использовал ты часы, отпущенные тебе. Ты давно уже заблудился в тумане. Зачем же тогда продолжаешь метаться? Писать после Освенцима? Мыслимо ли... Слово было вначале. Теперь оно истерлось, покрылось сукровицей. Ты не поводырь и не аптекарь. У тебя нет рецептов. Чайки надрывно плачут, сочувствуя тебе. Добытки легкой пищи, скорые на подъем - белые баблони волн. Может быть, в их криках заключена тайна невысказанных слов? Была же убежденность у поэта: «Солнце останавливали словом, словом разрушали города...». У поэта, не сумевшего словом остановить пулю. Дано ли словом развеять мглу? Другой поэт, получая Нобелевскую премию, недаром усомнился в силе слова. Если бы так было, сказал он, я писал бы постоянно всего одно слово - мир, мир, мир... И все же - ищите и обрящите, кричите - и ответится...

Вечером в пустом кинотеатре фильм - сентиментальный и бездарный, ты почти один в зале. На полотне талантливые актеры гибнут в бездне слов. О потрясающие времена немого кино - где вы? Смотреть и не слушать. Выдумать новые диалоги. Еще десять дней назад в этом зале было полно зрителей. Шел традиционный осенний съезд фотографов, людей, стремящихся остановить мгновение. И специально для них - шедевры мирового кино - «Земляничная поляна», «Красная борода», «Голод». Но тогда светило солнце - и грешно было уходить в темноту и жить в выдуманном мире. Но сейчас и этого нет. Пусты санатории и пансионаты. Конец сезона. И не только сезона. Цены в «баксах». Для «новых русских» и для иностранцев. Ты здесь в последний раз...

Иные люди в писательском доме. Раньше вокруг были друзья. Теперь - один. Днем, в попытке убежать от себя,

прогулки по городу, надежды на встречу. В тумане женщины всегда загадочны, ты видишь только силуэт - и значит, не испытываешь никакого разочарования. Безликие немые тени. Чужая страна. Все реже услышишь здесь родную речь, да и нужны ли тебе чьи-нибудь слова...

Скорее назад, в уютную теплую комнату с письменным столом, настольной лампой и кипой белой, как туман, еще неисписанной бумаги. Можешь выдумывать свою судьбу... На бумаге оживить мир, наполнить его друзьями, любимыми женщинами, рассеять туман, поверить словам, невольно ввергая в обман и себя, и других... И снова встают перед глазами давние картины рыбацкого промысла, и дни, когда сомнения не овладевали тобой...

## ЧИСТЫЙ ЛИСТ

На шведском острове Готланд, в библиотеке, я взял книгу Виктора Кривулина и узнал из нее, что нет уже среди живущих на Земле Бориса Понизовского. Весть эта словно обожгла мою кожу, и я долго бродил по вечернему засыпающему шведскому городку, а потом сидел на берегу моря, и в шуме волн мне слышались голоса из прошлого и очень явственно его рокочущий раскатистый голос. И казалось, он взывает ко мне из небытия, из небесных Афин; и виделся в темных тучах, едва подсвеченных заходящим солнцем, сонм греческих богов, и я не мог никак отличить его среди многих. Был этот человек моим первым литературным наставником в годы, когда я учился в Ленинграде в корабелке и писал стихи, и даже написал первую в своей жизни повесть. Все это были довольно-таки неумелые опыты на ниве литературы. Я искал рецепты и пытался постичь некие тайны мастеров, а тут судьба послала мне

знакомство с человеком, который все знал и который почему-то уверовал в меня. У него были лоб Сократа и мускулы Геракла. Он был очень сильным человеком. Лишенный обеих ног, он не чувствовал себя обделенным судьбой. Он умел бурно радоваться жизни. Его любили женщины. И красивые женщины. Его оценки пересказывали друг другу начинающие поэты. В его небольшой комнате в коммунальной квартире всегда было полно людей. Сидели на полу, на книгах. Диван, на котором восседал Понизовский, был тоже сделан из книг. Обилие книг поражало. Но еще более поражали его знания, его умение войти в чужой текст, отыскать там нужный поворот, убрать лишнее слово. И завораживали его фантазии. Он на наших глазах сотворял их. Главной его страстью был театр. Он жаждал создать свой необычный театр. Помню, в одном из проектов такого театра сцена помещалась посредине зрительного зала. Это, по замыслу Понизовского, давало возможность использовать публику. Актеров требовалось совсем немного. Одной половине зала другая половина казалась участвующей в действии. То это были воины, то участники митинга или иного массового действия. Такой театр он не создал. В те годы, когда мы были знакомы, созданием театров занималось государство. Потом, когда я уехал, через десятки лет он все-таки занял свой театр в Кургане, и еще я слышал о его экспериментальном театре в Эрмитаже.

А в период нашего сближения Понизовский опекал молодых поэтов и любил открывать таланты. Он дал мне рукопись стихов Лени Аранзона, так до сих пор и неизданного по-настоящему поэта, покончившего с собой. И эти стихи на долгое время стали для меня эталоном настоящей поэзии. У Понизовского я познакомился с Виктором Соснорой, который только что вернулся из Моск-

вы, где был обласкан Асеевым и даже получил с плеча известного поэта роскошную шубу. Слишком роскошную для учащегося в фабричном училище. Соснора тогда читал меня своими стихами, они были напевны и казались мне верхом поэтического совершенства. Наверное, от Понизовского я перенял чувство неподдельной радости при каждом открытии нового таланта. Надо было видеть - с каким восторгом читал нам Понизовский стихи какого-нибудь очередного гения. От него я услышал впервые стихи Кушнера. От него я узнал о поэтах серебряного века. И когда он прочел «Поэму конца» Цветаевой, я был так поражен стихами, что не ушел от него, пока не выпросил на ночь этот текст, сделанный на машинке с очень плохим шрифтом. И всю ночь в общежитии я переписывал стихи. И слезы наворачивались на глаза. Это были слезы счастья - счастья от того, что слово может получать такое взрывное звучание.

Я, как и все приходившие к Понизовскому, был уверен, что он пишет сверхгениальные тексты... Он всегда отказывается читать свое, потому, думал я, что просто не хочет подавлять нас своим мастерством, очевидно, у него есть свой особый круг ценителей, на суд которых он и выносит свои рассказы. Именно рассказы, потому что все говорили, что он пишет точеную короткую прозу. Однажды мы все-таки упросили его почитать свой рассказ. Он сдался. Ровным голосом без всякой запинки он явил нам образец словотворчества. Я сейчас не помню сюжет, но слышу его голос и вижу, как он, окончив фразу, отрывается от листа, задирает курчавую бороду и обводит нас рассеянным взглядом. Он видит восторг в наших глазах. И читает дальше, и язык рассказа становится все филиграннее. А когда он, закончив чтение и выслушав комплименты, заковылял на кухню, кто-то случайно обронил с дива-

на листки, по которым он читал свой текст. Я бросился их собирать. Никакого текста на них не было. Они были абсолютно белыми.

Тогда я понимал Понизовского. Никто из нас не хотел печататься. Мы были уверены, что печатают только ложь. Истинные тексты не нужны тоталитарному режиму. Понизовский пошел дальше нас - он не только отвергал издательства, он вообще не считал нужным отдавать текст бумаге. Сегодня вся эта наша фронда видится мне несколько иначе. Я бы очень хотел перечитать тот незаписанный рассказ. Я бы очень хотел хотя бы еще один раз услышать Понизовского.

## ОТЗВУКИ

*Все новости начинаются так: из-за штормовых ветров и снегопада сообщение с островом прекращено. В плотной темноте услышишь удар колокола, значит ты не один в сердцевине морей. Лишенный газет и телевидения ты вновь и вновь пролистываешь книгу своей жизни. Непонятно, что связывает тебя с людьми. И если наладят сообщение, и полетят самолеты, и пойдут паромы, они не для тебя. Все последние дни, даже годы ты живешь в ожидании чего-то. Вот все обустроится, вот прекратится ветер и придет вдохновение. И слова польются из тебя и это не будут слова-пустышки, за каждым будет стоять свой образ. Ты будешь выкрикивать эти слова на берегу успокоившегося моря. Ты будешь Адамом, дающим имена всему существу на земле. Создатель первого словаря. К тебе придет будущая Ева и скажет: назови меня ветром. И Лилит - ее вечная соперница захочет быть солнышком. Плодитесь, размножайтесь, - какая сладкая заповедь. Она помогает исключать слова, заменив их всхлипами. В них все будущие симфонии мира. Музыка всегда была и будет превыше слова. Ты потребуешь посадить тебя в кресло соборного органиста. Сверху видны кружки лысин. Трубы органа сияют, как зимние луны. Такой же орган есть и в твоём городе - гордость собора. И здесь и там сейчас зазвучит один и тот же Реквием. Но здесь звуки его сливаются с шумом волн. А там - все остается под сводами собора. Звук ищет выхода. Мелко подрагивают стены, напоминая о недавнем землетрясении. В электронной почте сообщение: взлелеянная тобой не поднимает трубку. Ты должен звать ее, взойдя на самую высокую гору острова. Твой крик пронесется над Балтикой и ухоженными земля-*

*ми немцев, его услышат голосистые итальянцы. И только та, которой предназначен зов, ничего не почувствует. И тогда в тебе, с каждым мигом все нарастая, зазвучит мелодия. Музыка прорвется там, где не было дороги слову.*

*В далекой и пустынной стране предков две девицы вдруг замрут на месте и каждая почувствует приток крови и необычайное волнение.*

## АЛФАВИТ

События живут в тебе одновременно. Восходящие потоки, улавливаемые крыльями планера, и бурлящие струи за кормой - недолговечные следы кораблей - пока еще не разделены линией горизонта. Мальчик, преодолевающий страх и вдруг почувствовавший, что его планер отделился от земли, и бесшабашный и хмельной механик, прыгающий с борта на борт в океане, это один и тот же человек. И этот же человек с трудом поднимается по лестнице. Стареет тело, уже не столь подвижны ноги, и опасно переходить улицу, но в тех временных пространствах, которые наслоились в тебе, возможны и свободные парения и прыжки над водной бездной. Там в дисках памяти все время приходится доказывать, что твое появление на свет не было вызвано цепью случайностей, и тебя не напрасно оставили в живых. Доказательства никому не требуются, они нужны только тебе. Ты пытаешься сохранить все эпизоды. Услужливая память стирает то, что не совсем устраивает тебя. Внутренний редактор старается отлакировать действительность. За ним все время нужен глаз, да глаз. Позволь ему взять верх и придет полное спокойствие.

Если ты был всегда прав, тебе не в чем каяться и не надо ни у кого вымаливать прощение. И тогда исчезает разница

между святым и грешником, между жертвой и героем. Библейский Авраам, ведущий на заклание своего сына, и услужливый Павлик Морозов, предающий на смерть отца, могут обнять друг друга и восседать в раю. Палач из заградотряда и убийца из зондеркоманды произносят тосты за павших в большой войне. Ты сидишь в уютном ресторане на берегах Рейна и молча наблюдаешь за братанием убийц. Они делятся опытом пережитой войны. Вспоминают, как дети, сбрасываемые в ров, кусали руки. Ты тоже мог стать жертвой, а значит, они вспоминают и о тебе. Ты был слишком мал и никого не мог бы уберечь. И когда в послевоенном голодном городе вдруг в одну ночь исчезли все самовары, ты не задумался - почему? Все были уверены, что их отправили в госпитали. О Соловках вслух никто не говорил. Самоварами называли увечных, вернувшихся с войны без ног и без рук. Они катались на самодельных тележках по улицам твоего детства. Ты кормил одного из них, обладателя пушистых усов, с ложечки, как совсем еще недавно кормили тебя. Он ненавидел немцев. Пленные немцы разбирали развалины и методично укладывали кирпичи. Они тоже все время хотели есть. Ты вместе с другими пацанами мочился в их котелки и кричал: Ганс, зуппе! Война ведь не только убивает тех, кто надел мундиры. Она убивает и детей, которые выжили. Твой одноклассник Петя Крюков выковыривал тол из артиллерийского снаряда и взлетел на воздух. Ты тоже хотел пойти с ним, чтобы потом глушить рыбу на Мытнинском озере. И тогда не было бы твоих рассказов, и не было бы двух внучек - двух девиц, смущающих мир своей красотой. И никто бы этого не заметил. Человечество быстро заполняет пустоты. Выживший ты должен все запечатлеть в слове. Тебе хочется жить без мучений, как все... Но приходится все проходить дважды. И предстоит еще обо всем этом написать, а значит еще раз пережить...

Пробираясь в толпе себе подобных, говоря на ходу по мобильнику, просматривая свежую газету по диагонали в ожидании чашки утреннего кофе, начинаешь еще один зимний день, и хочешь жить в нем обыденной спокойной жизнью. Как и все.... Суета сует и всяческая суета вокруг. Крыши города смыкаются над тобой. Не видя звездного неба над головой, как ощутить бесконечность. Как осознать свое место в общем круговороте. Опыт накопления земных забот завершен. Свои чувства и воспоминания ты закутал в слова, в надежде, что их прочтут и определяют тебе тютчевское признание: «И нам сочувствие дается, как нам дается благодать...»

Слова могут пролежать в бумаге и быть невостребованными. В интернете у слов тоже мало шансов. Кириллица не популярна в европейских компьютерах. Надо было учить английский. Кто же знал, что империя рухнет. Казалось все таким незыблемым, границы всегда на замке, и на высоких берегах Амура и на низких берегах Немана «часовые родины стоят». И на всех вышках - тоже стояли. В необозримом пространстве сибирских снегов. Где теперь эти вертухай? Тихо сидят в своих квартирах и вздыхают с тоской о прошлом. Усатый убийца в их балладах становится полководцем и создателем сильной державы. Миллионы расстрелянных, миллионы замученных в лагерях, десятки миллионов убитых войной давно уже растворились в бездонной тьме вселенной-о них и «помнить даже не пристало». И не только о них. Но и о тех, кто испытал липкий страх смерти в Афгане и Чечне. Обезображенные лица мертвецов покрывает дорожная пыль. Испуганные лица заложников-детей Беслана, отданных на заклятие, в смертный миг смотрят на тебя с экрана. И потому ты тоже соучастник...

Надо любить свою историю, надо гордиться прошлым - так учат новые цезари. Они ведь тоже скоро будут про-

шлым - им хочется посмертной славы и памятников на площадях городов. Примиримся и согласимся. Нам же ничего не надо. Есть слабая надежда на генную память. Ты существуешь в твоих потомках. Твои воспоминания заключены в них. Но твои потомки не захотят жить чужими воспоминаниями, ты не пожелаешь жить в чужом теле. Вот и повод для новой трагедии. Операции по извлечению чужих воспоминаний из генов. Эдипов комплекс на новой ступени развития, - куда же от него деться! Все это дано наблюдать беспомощной душе, которая не имеет права вмешиваться в естественный ход событий. Только смотреть. Как в кино. Что захочет режиссер, то и будет. Самое трудное быть режиссером своей жизни еще при жизни. Вырядить ее в костюмы, создать нужные ситуации. Если бы ты один командовал: «К запуску! Мотор!» - но ведь рядом с тобой столько закручено судеб. Все пересекается. Тебя хотят использовать в качестве статиста, а ты задумал свое Бородино. И вот уже свищут ядра, льются потоки обличений. Стенка на стенку. Хорошо, если по-честному. А если свинчатка в кулаке, да нож за пазухой. И что осталось тебе? Свобода, которая «приходит нагая и рвет под ногами цветы». Такой ее увидел Хлебников, претендовавший на роль председателя Земного шара и никогда не имевший своего пристанища. Я ни на что не претендую. Особняки, дачи, машины - это не для меня. «Дом в сердце моем. - Словесность» - повторяю цветаевское. Мне достаточно слов. Алфавит - самый надежный причал. Целая армия слов - ведь, это так много! Из тридцати трех букв рождаются миры со своей мелодией, со своим цветом и со своим запахом...

И как спасительную молитву твержу: «В начале было слово...»

## СОДЕРЖАНИЕ

Обретенные причалы.....	3
Дом.....	6
Морской мотив.....	73
Возвращение.....	75
Цена воды в конских широтах.....	84
Морской учитель.....	96
Госпожа удача.....	103
Сирена.....	106
Крик петуха.....	114
Ночной замет капитана Тирхова.....	116
На живца.....	120
Кораблики рыбацкого флота.....	122
Ионы.....	128
Камнепад.....	129
Я уехал за моря.....	165
Слишком биллих.....	166
Пути паромов.....	169
Висбю.....	197
Капкан для Зуя.....	198
Жертва.....	240
Выпустивший Джека.....	242
Муравьиный взлет.....	248
Пробежка.....	276
Покушение на любовь.....	276
Совместимость.....	297
К. и Анна.....	301
Мои города.....	323
Пересечение границ.....	325
Воздушные замки.....	334
Музыка.....	341
Подземный Кениг.....	342
Озарения.....	373
ТуманвНиде.....	374
Чистый лист.....	378
Отзвуки.....	382
Алфавит.....	383

**Олег Борисович Глушкин**

## **Обретенные причалы**

Рассказы. Эссе.

**Художественное оформление - В. Лебедев-Шапранов.**

**Технический редактор - Л. Фролова.**

**Редактор-корректор - И. Головки.**

**Издательство «Кладезь».**

**236000, Калининград, ул. Дм. Донского, 7.**

**Тел./факс (4012) 57-88-97.**

Формат А5, печать офсетная,  
бумага офсетная, гарнитура Times  
Тираж 1000 экз.

Ц. 99р

Отпечатано в типографии: DRUKARNIA «MISIURO»  
Polska, 80-518 Gdansk-Brzezno, ul. Gdanska 29,  
tek/fax (58) 342-26-18, 342-89-37.  
www.misiuro.pl, e-mail: biuro@misiuro.pl



*"... Тишину нарушают лишь крики чаек и корабли, призывно гудящие вдалеке... Отсюда, с берега, их почти не видно, они вязнут в пелосе тумана, лишь вздымая иногда на фоне моря солнечный зайчик, это луч падает на корабельный иллюминатор. Морно плещет море, чайки задумчиво слоняются на пыльном берегу, склонив клювы. Замолкает вдали корабельные гудки, - и наступает безмолвие. И тогда голоса звучат во мне, голоса, оборванные морем, голоса, просящие о спасении..."*

Олег Борисович Глушкин родился в 1937 году в городе Великие Луки Псковской области.

В войну эвакуирован с семьей на Урал. После возвращения из эвакуации окончил в Великих Луках среднюю школу. Закончил Ленинградский кораблестроительный институт. В Калининград приехал по распределению. Работал на заводе "Янтарь" докмейстером, инженером на предприятиях рыбной промышленности, ходил в море на рыболовных судах.

В 1962 году были опубликованы первые рассказы. Повести и рассказы публиковались в московских и ленинградских журналах и альманахах, а также в переводах на польский, литовский и немецкий языки в зарубежных изданиях. Выпустил четырнадцать книг.

Руководитель литературного объединения Балтфлота. В 1990 году был избран председателем Калининградской региональной организации российских писателей.

Основал журнал "Запад России" и был его главным редактором по 1996 год.

Реализовал русскую часть проекта Антологии произведений писателей, живших и живущих на территории бывшей Восточной Пруссии. Книга издана на четырех языках.

За вклад в расширение контактов между российской и европейской культурами получил

Диплом Канта и звание лауреата VI Артиады народов России. Удостоен премий "Вдохновение" и "Признание". Награжден золотой медалью "За полезное" и медалью М.Шолохова. Состоит в Союзе российских писателей и ПЕН-центре.

Издательство "Кладезь"

Калининград

2005